Ю. Семенов

СЕМЕНОВ



Приказано выжить

Приказано выжить

Юлиан Семёнович Семёнов

Аннотация
Юлиан Семенов. Приказано выжить
Начало последней игры
«Но все-таки, каков смысл? Зачем?»
«Да, именно так — я действительно вас подозреваю...»
Информация к размышлению — I (ОДЕССа)
Душное ощущение кольца
Вот как умеет работать гестапо! — I
Опоры будущего реванша
Бедные, бедные женщины... — I
Необходимость, как правило, жестока
Информация к размышлению — II (ОСС)
Последняя игра
Лидер и те, кто его окружает
Информация к размышлению — III (Снова ОСС)
И тем не менее каналом дезинформации надо уметь дорожить...
«А как же я?! Мне нужны контакты на Западе!»
Бедные, бедные женщины... — II
Информация к размышлению — IV (Директор ФБР Джон Эдгар Гувер)

Фактор случайности
Необходимость кардинального решения
Звенья заговора
Информация к размышлению — V (Гесс)
Вот как умеет работать гестапо! — II
Информация к размышлению — VI (Снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер)
Хорошо информированный человек значительно реже совершает ошибки
Информация к размышлению — VII (Генерал Гелен)
Вот как умеет работать гестапо! — III
Последняя попытка
Информация к размышлению — VIII (Есть ли пророк в своем отечестве?)
Информация к размышлению — IX (Максим Максимович Исаев)
Трагическое и прекрасное умение понять правду (12 апреля 1945 года)
Удар Красной армии. Последствия — I
Вот как умеет работать гестапо! — IV
Уж если делать спектакль, так зрелищно!
Удар Красной армии. Последствия — II
Информация к размышлению — X (Шелленберг)
Информация к размышлению — XI (Снова полковник Максим Максимович Исаев)

Пауки в банке — I
Вот как умеет работать гестапо! — V
Пауки в банке — II
Удар Красной армии. Последствия — III
Информация к размышлению — XII (И снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер)
Информация к размышлению — XIII (Еще раз о Максиме Максимовиче Исаеве)
Пауки в банке — III
Исход

Аннотация

Март 1945 года. Дни «Третьего рейха» сочтены. Советский разведчик Исаев-Штирлиц по распоряжению Центра возвращается в Берлин. Но теперь все изменилось, шеф гестапо Мюллер обладает неопровержимыми доказательствами того, что Штирлиц работает на Москву. Начинается последняя игра: «красный» должен быть перевербован.

Текст электронной публикации соответствует изданию: Семенов Ю. С. Приказано выжить // Семенов Ю. С. Позиция. М.: Международные отношения, 1986. Кн. 1.

Юлиан Семенов. Приказано выжить

Начало последней игры

— Поедем в «Майбах-3», — сказал Мюллер шоферу. — И, пожалуйста, побыстрее, Ганс.

«Майбах-3» был кодовым обозначением здания, где в Потсдаме размещалось разведуправление «Иностранные армии Востока» генерального штаба рейха во главе с Геленом; здесь же, в сосновом лесу, дислоцировались ставки фельдмаршала Кейтеля, начальника штаба Гудериана, оперативное управление генерала Хойзингера и мозговой трест вермахта — аппарат генерал-полковника Йодля[1].

Мюллер сидел на заднем сиденье. Ганс возил его последние три года, был предан, как пес. Особенно любил сына группенфюрера, Фрица; несмотря на запрет отца, подвозил мальчика из школы домой; ежемесячно отправлялся к себе в деревню и привозил оттуда с фермы отца отбор-

---

1 Примечания: 1

Через полтора года Кейтель и Йодль будут повешены по приговору Нюрнбергского трибунала; через пять лет генерал фюрера Хойзингер станет командующим силами НАТО в Западной Европе; генерал Гелен будет назначен начальником разведки Федеративной Республики Германии, а Гудериан — главным военным теоретиком бундесвера (здесь и далее прим. авт.).

ные, истинно деревенские окорока для Мюллера.

...Два месяца назад на прием к группенфюреру записался начальник районного отделения гестапо, которое *вело* школу, где учился Фриц, и положил на стол рапорт осведомителя, внедренного в учительский коллектив, о том, что Фриц, сломав карманную расческу, сунул ее под нос, смахнул челку на лоб и, став похожим на американского ублюдка Чаплина, изобразившего фюрера в клеветническом фильме «Диктатор», начал выкрикивать голосом Гитлера святые для любого национал-социалиста лозунги: «Каждый немец имеет право на землю!», «Каждый ариец будет обеспечен работой!», «Каждый подданный великой римской империи германской нации — самый счастливый человек в мире и готов защищать свою свободу до последней капли крови!». Однако Фриц Мюллер ко всем этим святым лозунгам сделал комментарии: к первому — «в количестве одного метра на кладбище!», ко второму — «в лучшем концлагере!», к третьему — «а если откажется, то мы его быстренько повесим на столбе!».

Начальник районного отделения был молодым еще человеком, не до конца искушенным в законах *общения*, принятых ныне в Германии.

Поэтому он наивно решил, что информация, напечатанная в одном экземпляре (он подчеркнул это в самом начале своего доклада), не может не помочь ему в стремительном продвижении вверх по служебной лестнице.

— Спасибо, дружище, — сказал Мюллер, почувствовав, как похолодели кончики пальцев и *прижало* в солнечном сплетении. — Вы поступили как настоящий товарищ по партии... Другой бы решил — из уважения ко мне — убрать осведомителя, а рапорт его сжечь, все шито-крыто, концы в воду... Но ведь это значило бы загнать болезнь вовнутрь; неизвестно, что выкинет молодой сукин сын, разбаловавшийся в доме отца, отдающего все свое время нашему с вами национальному делу... Наша религия: правда, только правда, ничего, кроме правды, когда речь идет об отношениях между людьми братства СС... Я назначаю вас заместителем начальника гестапо Кенигсберга, поздравляю с внеочередным званием и благодарностью в приказе СС обергруппенфюрера Кальтенбруннера...

— Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер, дружище, хайль Гитлер... И попрошу вас об одном — в данном случае чисто по-дружески...

— К вашим услугам, группенфюрер!

Мюллер усмехнулся:

— Ну, это понятно... Не будь вы «к моим услугам», небось ложились бы спать в страхе... А вам снятся хорошие сны; наверняка часто видите птиц — бьюсь об заклад, лебедей над тихим осенним озером в Баварии.

— Что-то лебедей я не помню, группенфюрер... Вообще я плохо запоминаю сны. Когда просыпаюсь, в памяти держится что-то радостное, но потом наваливаются заботы дня, и я совершенно забываю ночные сновидения...

— Дневных сновидений не бывает, — заметил Мюллер. — Дневная дрема — от сытости, а на полный желудок видятся кошмары... Так вот, пожалуйста, сделайте *сегодня же* так, чтобы мерзавец Фриц был вызван в районное управление фольксштурма и отправлен на восточный фронт. Я не желаю более видеть его у себя в доме, ясно? Я никому не прощаю бестактности в адрес великого фюрера германской нации, творца всех наших побед на фронте и в тылу. Потом вы позвоните мне — адъютант Шольц соединит вас — и скажете, по какому шоссе, в какое время и в какую часть отправлен Фриц. Вы понимаете меня?

— Да, группенфюрер!

Когда он, щелкнув каблуками, повернулся, Мюллер вздохнул: голова начальника районного отделения гестапо была точно такой же, как у шофера Ганса — стриженая под скобку; шея очень длинная, но толстая; *вытянутость* какая-то, а не череп... А ведь ему когда-то нравилась голова Ганса. И он специально садился на заднее сиденье, чтобы смотреть на шофера...

...Он поручил ликвидировать сына Рихарду Шапсу. Мюллер держал «в резерве» не только старых друзей из крипо — криминальной полиции Мюнхена, где он начинал работать в двадцатых годах, — но и трех уголовников, специалистов по налетам, — Рихарда Шапса, Роберта Грундрегера и Йозефа Руа; он *провел* их через четвертый отдел крипо как специальных агентов, работавших и с арестованными в камерах, и на свободе, осведомляя РСХА[2] о готовившихся преступлениях особо крупного масштаба.

...Мальчик был убит неподалеку от Одера; это гарантировало сообщение о героической смерти Мюллера-младшего, павшего в борьбе за дело великой Германии на фронте борьбы против большевистских вандалов.

---

2 Примечания: 2

РСХА — главное управление имперской безопасности.

(Начальник районного отделения гестапо будет ликвидирован в Кенигсберге, это сделает Йозеф Руа; осведомителя, написавшего рапорт о Фрице, а также трех его ближайших друзей, к которым могла уйти информация о том, что позволил себе сын, уберет Грундрегер; соседа Фрица по парте, Питера Бенеша, — после того как он выйдет из больницы, где сейчас находится, — устранит Шапс.)

«Если ребенок после пятнадцати лет не стал твоим другом, — сказал себе Мюллер, — если он не *бредит* отцом, он чужой тебе; вопрос крови пусть занимает Геббельса; повиснуть на дыбе в камере за молодого ублюдка, который, как оказалось, лишен охранительного разума — а по новому закону фюрера меня могла ожидать именно эта участь, — предательство той мечты, которой я живу. Если бы Шелленберг узнал об этом, меня бы уже сегодня могли пытать в подвале. Если бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Бог наказал Фрица. Не я».

...Выходя из машины возле двухэтажного краснокирпичного здания, где помещалось разведуправление «Иностранные армии Востока», Мюллер кивнул Гансу на пластмассовую коробочку:

— Съешь бутерброд, сынок, славная колбаса и совсем недурственный шпиг, хоть и не из твоего любимого Магдебурга... Я — недолго, можешь не загонять машину в бомбоубежище...

— Добрый день, господин генерал.

— Хайль Гитлер, группенфюрер! — ответил Гелен, поднявшись из-за стола навстречу Мюллеру.

Мюллер усмехнулся:

— Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?

Гелен пожал плечами:

— Вы — избыточный немец, а потому все явления жизни стараетесь привести к единой формуле порядка. А он невозможен, ибо, когда логика отделена от эмоций, начинается хаос.

— Не вижу связи, — ответил Мюллер, усаживаясь в кресло напротив Гелена.

— Это комплимент. Если бы вы умели сразу видеть мои *связи*, не сидеть бы мне здесь, а — в лучшем случае — мерзнуть в блиндажах на восточном фронте.

— Напрасно вы считаете меня своим главным врагом, — ответил Мюллер. — У вас есть враги куда могущественнее, чем я, и вам это известно,

но ваше знание России — самый ваш надежный гарант, а отнюдь не *связи*. Валяйте, валяйте, растолкуйте все-таки наивному крестьянину вашу логическую хитрость.

— Извольте, — улыбнулся в свою очередь Гелен. — Эмоции человека — это врожденное, логика — благоприобретаемое. Когда две эти ипостаси соединены воедино, начинается *работа*, обреченная на удачу. А мы последние годы живем словно бы разрубленные надвое: эмоции говорят нам одно, а логика — то есть обязанность подчиняться указаниям и выполнять приказы — уводит совсем в другую сторону. Согласны?

— Безусловно.

— Вот видите... Вы — как избыточный немец — безуспешно норовите совместить несовместимости и впадаете в алогизм, который чреват горем...

— Во-первых, я баварец, а не немец. Во-вторых, я далеко не всегда разрубаю нашу нынешнюю нелогичную логику с эмоциями, поэтому, видимо, и жив пока что. Но я до сих пор не понял, отчего вы завернули про «избыточного немца»?

— Потому что вы норовите навязать себя, свою манеру мышления собеседнику... Не спорьте, я тоже не до конца чистый немец — примесь прус-

сака не может не давать себя знать... Вы мыслите прямолинейно: раз группенфюрер или генерал, — значит, в глазах врагов ты полнейший злодей, а лейтенант — всего лишь полусукин сын. Так?

— Так.

— Вам, конечно же, горше, чем мне. Вас ненавидят и на Востоке и на Западе. Что же касается меня, то яростная ненависть Кремля в определенной мере компенсируется алчным интересом к моему делу финансовых еврейчиков на Западе, особенно в Америке.

— Вот теперь я все понял, — вздохнул Мюллер. — Это вы к тому, что вам, генералу, еще можно как-то продаться, а такую старую потаскуху, как меня, папу-Мюллера, — пусть даже я переделаюсь в лейтенанта, — поставят к стенке и русские, и американцы?

— Нет, вы никакой не баварец, вы немец, стопроцентный немец, и ваши предки наверняка родились в Бранденбурге или Ганновере, мне жаль вас. Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собою не что-нибудь, но *память* рейха. Моя память обращена против Кремля, ваша — как против Кремля, так и против Даунинг-стрит, Белого дома и Елисейского дворца, — нас грешно стрелять.

— Нет. — Мюллер покачал головой. — Нет, генерал. Вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам... Гудериан отказался передать нам копию вашей «Красной библии». Почему?

— Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.

Он знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр «Красной библии». В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров — словом, на всех тех, кто являл собою костяк власти; это досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренной в Россию, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных (он провел два месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в «библию», и добавляя новое, что принес с собою изменник).

«Красная библия» была одним из *шансов* Гелена; никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб; ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен;

бригадефюрер забыл или, возможно, не понял, что настоящая разведка закладывает мины замедленного действия *впрок*, на многие годы вперед; впрочем, ему можно было сострадать — он работал под Гиммлером, который торопился доложить фюреру очередной *успех*; армия рейха, однако, жила по закону резерва: даже во время победы надобно думать о возможных поражениях и загодя готовить реванш, контратаку, новый сокрушительный удар...

— Вас могут неверно понять, генерал, — сказал Мюллер. — Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.

Гелен покачал головой:

— Группенфюрер, не обольщайтесь: сейчас у Гитлера лишь одна надежда — мы, армия. Вы были самым грозным институтом рейха еще год назад, даже полгода. Теперь вы не можете без нас *ничего*. Теперь меня не отдадут вам. Я не боюсь вас более.

— Ну-ну, — сказал Мюллер. — Это вы молодец. Люблю храбрецов. Это у меня с детства — сам-то был трусом, именно трусы и льнут к тайной полиции — реальное могущество, чего там, власть над другими... Только срочно отправьте в Тюрингию, на вашу виллу, к жене и детям пару взводов сол-

дат, пусть охраняют вашу семью как зеницу ока: сейчас время страшное, удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей...

Сказав так, Мюллер медленно, тяжело поднялся и пошел к двери.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Гелен. — Вы сошли с ума! Вернитесь!

Мюллер послушно повернулся, снова сел в кресло — теперь уже увесисто, по-хозяйски, — миролюбиво заметил:

— Хоть бы кофе предложили, право.

Гелен совладал с собою, ответил:

— Я угощу вас кофе, но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья, жена и сын, не так ли?

— Была, — ответил Мюллер. — Сын погиб на восточном фронте, а женою я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?

— Зачем вам «Красная библия»?

— Для того, чтобы пригласить вас в долю.

— То есть?

— Все очень просто: у меня появился канал связи с Москвою; ваша «Красная библия», будучи переброшенной Кремлю, вызовет там такую бурю, такой *ужас*, такую манию подозрительности, что последствия трудно предсказать. Запад будет

в высшей мере удивлен событиями, которые могут разразиться в Москве. У вас, как я слыхал, подтасованы такие данные на Жукова, Говорова, Рокоссовского, наркома авиации Шахурина, которые мы преподнесем соответствующим образом. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно, истинный сплав логики и эмоции, попытка *подтащить* всех чистых под себя, грязного; предательство — категория любопытная, изменник хочет оказаться третьим, он всегда ищет — в оправдание себе — первых и вторых... Я готов поработать с вашей «библией» здесь, в кабинете, если вы боитесь — и правильно, кстати, делаете, — что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собою...

— Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь?

— О! Совершенно верно изволили сформулировать, генерал, экая точность в слове!

— В таком случае вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.

— Им занимается Кальтенбруннер. Лично.

— Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии... и фюрера, — добавил

Гелен неожиданно даже для самого себя, — есть ваши люди. Они ведь могут *все*.

— Логика, генерал! Логика! Где ваша логика?! Только что вы заметили, как ныне всемогущественна армия, а мы, бедное гестапо, в полнейшем загоне, и тут же противоречите себе, утверждая, что мои люди могут *все*...

Мюллер глянул на Гелена и понял, что перебрал: тот может закусить удила, прусская кость, армейская каста, ну его к черту...

— Хорошо, — сказал он, — давайте уговоримся так: я гарантирую, что родственники казненного фельдмаршала Вицлебена и генерала Трескова не будут ликвидированы, как это предписано фюрером... Я обещаю вам, что семья фельдмаршала Роммеля, покончившего с собою по приказу фюрера, не будет отправлена в лагерь, как это санкционировано Гиммлером... Что же касается судьбы несчастного Канариса, я *постараюсь* выяснить, что его ждет. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?

Гелен снял трубку телефона, попросил адъютанта принести два кофе и, открыв сейф, молча, как-то брезгливо, но в то же время жалостливо

протянул Мюллеру книгу.

Тот пролистал первые страницы, улыбнулся:

— Товар, а?! Просто-таки товар!

— Это не товар, это будущее...

...Когда адъютант принес кофе, Мюллер спросил:

— Какие-то страницы можно будет фотокопировать?

— Какие-то — да, весь материал — нет.

— Пропорция?

— Четвертая часть.

— Договорились. У вас есть ко мне еще какие-нибудь просьбы?

— Есть.

— Пожалуйста.

Гелен хмыкнул:

— Влюбитесь в какую-нибудь девку без памяти, в вашем возрасте это вполне распространенное явление, а я позабочусь о ней в таком смысле, в каком вы намеревались позаботиться о благополучии моей семьи...

Мюллер покачал головой:

— Я почитываю Маркса, генерал. Его формула «товар — деньги» вполне приложима к утехам стареющих мужчин: определенность, никаких эмоций...

— Ваш кофе остывает...

— Вообще-то я кофе не пью, просто приучил себя подчиняться общим правилам и люблю, когда их соблюдают окружающие...

...Вернувшись к себе на Принц-Альбрехтштрассе, Мюллер попросил Шольца заварить крепкого чая, спросил, какие новости, выслушал ответ адъютанта, несколько недоуменно пожал плечами, потом устало улыбнулся чему-то и начал кормить рыбок.

Недоумевать и радоваться было чему: Штирлиц возвращался в Берлин, хотя Мюллер ставил тысячу против одного, что тот не вернется; оснований считать так было у него более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью доказывала ему, именно ему и никому другому, связь штандартенфюрера СС с секретной службой русских.

«Но все-таки, каков смысл? Зачем?»

Штирлиц поднялся с земли, устланной ржавыми дубовыми листьями. Кое-где пробивалась яркая, изумрудная зелень; ему отчего-то стало за нее страшно — словно девочка-подросток, право; Марика Рокк пела последний куплет своей песни о семнадцати мгновениях весны, о том, как деревья будут кружиться в вальсе, и чайка, подхваченная стремниной, утонет, и никто не сможет помочь ей; голос Рокк, чуть хрипловатый, а потому какой-то особенно нежный, доверительный, достиг своего предела; последний аккорд; шершавая тишина; диктор начал читать последние известия с фронтов; тон — победный, возвышенный; «героизм танкистов, победы рыцарей люфтваффе, грозные контратаки непобедимых СС»...

Штирлиц подошел к машине, выключил радио, сел за руль и поехал в Берлин...

Он не гнал сейчас, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему.

Он не хотел, а скорее, не мог представить себе то, что предстоит ему через три часа, когда он вернется. Он ехал медленно, стараясь заставить себя ни о чем не думать; полное расслабление; однако, чем настойчивее он приказывал себе не думать, тем настойчивее звучали в нем вопросы, а вопрос — это стимул мысли, начало начал действия, предтеча поступка.

Тогда Штирлиц решил похитрить с самим собою: он заставил себя вспомнить лицо Сашеньки; оно постоянно, с далекого двадцать второго года, жило в нем, однако это воспоминание стало сейчас до того тревожным, безвозвратно далеким, что Штирлиц даже на мгновенье зажмурился, пропустил очередной столбик, но сказал себе: «Это был двести тринадцатый километр, не гони, все будет хорошо, точнее говоря, все *обязано* быть хорошо, иначе случится несправедливость, ты не заслужил этого. А разве несправедливость — категория, отмеченная печатью «заслуженного»? Несправедливость — высшее проявление нелогичности бытия: она обрушивается как раз на тех, кто не заслужил ее, кто старается жить по неписаному кодексу добра... Ишь, как ты хвалишь себя, — усмехнулся Штирлиц, — не впрямую, но вполне однозначно... Страсть как любит человек,

когда его хвалят. А если похвалить некому? Что ж, как говорят, своя рука владыка... Наверное, фюрер в молодости очень часто слышал гром оваций и свое имя, многократно повторяемое тысячами людей. Интересно, а примут ли когда-нибудь немцы такое решение, чтобы подвергать своего лидера анализу психиатров? Так, мол, и так, вы — параноик, милостивый государь, вам не народом править, а отдыхать в санатории, укреплять нервную систему; можете заниматься рисованием, акварель очень успокаивает нервную систему; допустимы упражнения в поэзии, читайте свои стихи массам, тоже будут овации, девицы падки на сладкоречивую рифму... Хотя нет, поэзия — это святое, к ней нельзя подпускать параноиков... Страшная фраза: «Нельзя подпускать к поэзии»... Стыдно, Исаев, ты сейчас дурно сказал: поэзия отторгнет сама по себе все то, что не отмечено печатью морального здоровья...»

Он вспомнил тот праздник, который был у него осенью тридцать седьмого, когда командование разрешило ему переход фронта под Гвадалахарой, тщательно залегендировав для Берлина «необходимость встречи с агентурой СД, внедренной в республиканскую Испанию». На «окне» его встретил Гриша Сыроежкин, они подружились в

двадцать первом, когда Дзержинский отправил Исаева в Таллин — по делу о хищении бриллиантов из Гохрана, а Гриша был на связи с ним и Шелехесом-младшим, резидентом ЧК в Эстонии.

...Сыроежкин привез его в маленький особняк близ Валенсии, там уже собрались Владимир Антонов-Овсеенко, Михаил Кольцов, Родион Малиновский, Хаджи Мурат Мамсуров, Яков Смушкевич и Роман Кармен. С каждым из этих людей Максима Исаева связывала дружба с тех давних и прекрасных лет Революции, когда Антонов-Овсеенко часто заходил к Дзержинскому; Родион Малиновский был у Василия Блюхера, который переправлял Исаева во Владивосток; с Яковом Смушкевичем, нынешним советником республиканской авиации, его дороги пересекались в Китае, когда там были Блюхер и Михаил Бородин, — помогали создавать революционную Красную Армию...

Он пробыл у друзей всего лишь одну ночь. Никто не сомкнул глаз. Вспоминали тех, с кем дружили: Павла Постышева, Якова Петерса, Николая Подвойского, Михаила Кедрова, Григория Петровского, Николая Крыленко, Артура Артузова.

Потом Исаев вышел в маленькую комнату

вместе с Антоновым-Овсеенко — тот был генеральным консулом в Испании, отвечал за *все*.

— Максим, — сказал Антонов-Овсеенко, закуривая, — я знаю, что ты захочешь сейчас написать рапорт об отзыве на Родину, я знаю, что силы твои на исходе, я понимаю все, мой товарищ... Но я не стану передавать твой рапорт в Центр, оттого что борьба с фашизмом — а он многолик, как оборотень, — только еще начинается, и это будет долгая и кровавая борьба.

Антонов-Овсеенко тяжело затянулся, долго, изучающе посмотрел на Исаева, потом, вздохнув, странно улыбнулся:

— Знаешь, мне, как человеку военному, — как-никак прапорщик с пятого года, тридцать два года стажа, — известны все военные приказы... Но есть один, которого нет в уставах: «Приказано выжить»... Понимаешь?

— Понимаю, — ответил тогда Исаев. — Но отдают ли там, дома, себе отчет в том, что...

Антонов-Овсеенко перебил его:

— Максим, там отдают себе отчет во всем. Ясно? Во всем.

«Приказано выжить», — повторил себе слова Антонова-Овсеенко Штирлиц. — Но лишь по закону совести. Иначе следует исчезнуть. Жизнь,

купленная ценою бесчестья, — не жизнь, а существование...»

Он вспомнил, как в двадцать седьмом, в Шанхае, получил приказ Менжинского внедриться в движение национал-социалистов. Ему казалось тогда — чем глубже он вникал в идеи Гитлера, — что Центр заблуждается, считая, что этот фанатик опасен, что он сможет прийти к власти. Лишь в тридцать третьем году он понял, как был прав Вячеслав Рудольфович, когда предполагал самое страшное еще за шесть лет перед тем, как оно, это страшное — приход нацистов к власти, — свершилось.

До сих пор Штирлиц — сколько ни думал о причинах, приведших к власти фюрера, — не мог объяснить себе этот феномен. Да, рознь между социал-демократами и коммунистами, отсутствие общего фронта не могло не помочь правым ультра одержать победу, но почему Гитлер?! Были серьезные силы в Германии начала тридцатых годов, стоявшие на консервативных, устойчиво антикоммунистических позициях: армия, в первую очередь; «Стальной шлем»; «Немецкая национальная партия». Отчего не этот блок пришел к власти, а Гитлер? Игра на прекрасном термине «социализм», на его притягательной

силе для рабочего класса? Выдвижение — наряду с термином «социализм» — примата его национальной принадлежности? То есть в пику Москве — не Интернационал, не счастье всем, но лишь избранной расе господ, нации немцев? Неужели одержимый национализм, то есть преклонение лишь перед *самими собою*, столь могуществен и слеп в начале своего пути, что может застить зрение исторической памяти? Ни одно национальное движение, построенное на идее примата расы, никогда не одерживало и не сможет одержать окончательной победы, это ясно каждому. Тогда каким же образом Гитлер смог одурачить народ Гёте, Вагнера, Гегеля, Гейне, Бетховена и Баха? Неужели народу, целому народу, было угодно, чтобы вину за то, что в стране нет хлеба и маргарина, возложили на евреев, цыган и интриги Коммунистического Интернационала? Может быть, людям вообще угодно переваливать вину за существующее на других? Спасительные козлы отпущения? Значит, Гитлер и разыграл именно эту низменную карту, обратившись к самому дурному, затаенному, что существует в человеке, особенно в слабом и малообразованном! Но ведь это более чем преступление — делать ставку на низменное и слабое; это только на первых порах

может принести дивиденды; конечный результат предсказуем вполне: общий крах, национальное унижение, разгром государственности...

«А какое фюреру до всего этого дело? — подумал Штирлиц. — Он всегда жил одним лишь: субстанцией, именуемой «Адольф Гитлер»; он действительно постоянно в мыслях своих то и дело слышал овации и рев толпы, многократно повторяющей его имя... Нет, политика надо проверять еще и на то, какова в нем мера врожденной доброты, ибо добрый человек поначалу думает о других, лишь потом о себе...»

Штирлиц ощутил усталость, огромную, гнетущую усталость. Вдали показался Берлин; он угадал столицу рейха по скорбным, крематорским дымам, струившимся в высокое светлое небо: налеты англо-американской авиации были теперь круглосуточными.

«Если я снова остановлюсь, — вдруг отчетливо понял Штирлиц, — и выйду из машины, и сяду на землю (машинально он отметил, что здесь, севернее, на обочинах еще не было зелени и языки снега в лесу были покрыты копотью, потому что ветер разносил дым пожарищ на десятки километров окрест), то я могу не устоять, не удержать себя и поверну назад; приеду в Базель, пересеку

границу и лягу спать в первом же маленьком отеле — он примерно в двухстах метрах от Германии, прямо напротив вокзала, улица тихая, спокойная, хотя слышно, как гудят паровозы; но ведь это так прекрасно, когда они грустно гудят, отправляясь в дорогу; папа водил меня на маленькую станцию под Москвою, — кажется, называлась она Малаховка, — и мы подолгу слушали с ним, как проносились поезда, стремительно отсчитывая на стыках что-то свое, им одним понятное... Тебе нельзя останавливаться сейчас, старина... Езжай-ка к себе, прими душ, выпей крепкого кофе и начинай работу...»

Не доезжая трех поворотов до дому, Штирлиц резко притормозил: дорогу перебежала черная кошка со смарагдовыми шальными глазами.

Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит: в Бабельсберге почти не осталось машин — все были конфискованы для нужд фронта, а те, которые не годились для армии — деревянные горбатенькие «дэкавушки», — стояли в гаражах — бензин был строго лимитирован; он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где промахнула кошка, ждать придется долго: люди выходили из домов только во время бомбежек, чтобы спрятаться в убежи-

ще; все ныне жили затаенно, локоть к локтю, в ожидании неминуемого конца — это теперь было понятно всем в рейхе, всем, кроме великого фюрера германской нации, который фанатично и беспощадно держал народ в качестве своего личного, бесправного и бессловесного заложника.

«Я подожду, — тем не менее сказал себе Штирлиц, выключив мотор. — Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо, во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад — штука паршивая, как бы там ни говорили...»

Вторым слоем сознания он понимал, что черная кошка была лишь поводом, который позволил первому, главному, холодно-логическому слою сознания приказать руке повернуть ключ зажигания: каждый человек многомерен, и в зависимости от уровня талантливости количество этих таинственных слоев в коре мозга множится тяжким грузом мыслей и чувств, сплошь и рядом прямо противоположных друг другу.

«Просто-напросто мне надо еще раз все продумать, — сказал себе Штирлиц. — Я встрепан с той минуты, когда дал согласие вернуться. Я понимаю, что этим согласием я, видимо, подписал себе смертный приговор... Но ведь только

больной человек лишен чувства страха... Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. В чем я могу быть засвечен? Во всем... Это не ответ, старина, это слишком просто для ответа, не хитри с собою. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки *вычислят* и возьмут в гестапо, мне не будет прощения. Это раз. Их, конечно, трудно, практически невозможно вычислить, документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы, но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а он погиб... А сам пастор? Могут ли гестаповцы нанести ему удар? Вряд ли... Они не смогут выдернуть его из Берна, силы у них уже не те... Хотя всех их сил я не знаю... А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет: «Каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом?» Я должен продумать линию защиты, но я не могу собраться, а сейчас дорогу перебежала кошка, и я поэтому имею право посидеть и подождать, пока кто-нибудь перешагнет эту чертовину первым... Хорошо, а если пограничная служба ввела очередное подлое новшество с тайным фотографированием всех, кто пересекает

рубежи рейха? И Мюллер сейчас рассматривает портрет Кати и мой?.. Что я отвечу? А почему, собственно, он должен меня сразу об этом спрашивать? Он наладит слежку и прихлопнет меня на контакте с теми связниками, которые переданы мне в Потсдаме или Веддинге, дважды два».

Штирлиц устало поднял глаза: в продольном зеркальце была видна пустая улица — ни единой живой души.

«Ну и что? — возразил он тому в себе, кто успокоился оттого, что слежки пока не было. — В этом государстве вполне могли вызвать трех соседей и поручить им фиксировать каждый проезд моей машины, всех машин, которые едут ко мне, всех велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов... И ведь безропотно станут фиксировать, писать, сообщать по телефону... Но я отвожу главный вопрос... И задаст его мне Шелленберг... Со своей обычной улыбкой он предложит написать отчет о моей работе в Швейцарии в те дни, когда я засветил Вольфа. Он попросит дать ему отчет прямо там, в его кабинете, — с адресами, где проходили мои встречи с пастором, с номерами телефонов, по которым я звонил... А в Берне они вполне могли поставить за мною контрольную слежку... Я ведь был убежден, что получу разрешение вернуться

домой, и я плохо проверялся. Ты очень плохо проверялся, Исаев, поэтому вспомни, где ты мог наследить. Во-первых, в пансионате «Вирджиния», где остановился Плейшнер. Очную ставку с тем, кто привез мою шифровку на конспиративную квартиру гестапо «Блюменштрассе», обещал мне Мюллер... Плейшнер не дал ему этой радости, маленький, лупоглазый, смелый Плейшнер... Но тот факт, что я интересовался им, приходил в пансионат, где он остановился, — если это зафиксировано наружным наблюдением, — будет недостающим звеном в системе доказательств моей вины... Так... А что еще? Еще что? Да очень просто: Шелленберг потребует вызвать пастора. «Он нужен мне здесь, в камере, — скажет он, — а не там, на свободе». «Это целесообразно с точки зрения дела, — отвечу я, — мы имеем в лице Шлага прекрасный контакт для всякого рода бесед в Швейцарии». Сейчас без десяти двенадцать. До боя часов у нас еще есть какое-то время, стоит ли рвать все связи? Не говори себе успокоительной лжи, это глупо, а потому — нечестно. Шелленберг не станет внимать логике, он — человек импульса, как и все в этом вонючем рейхе. Бесы, дорвавшиеся до власти, неуправляемы в своих решениях: их практика бесконтрольна, их не

могут ни переизбрать, ни сместить по соображениям деловой надобности, они уйдут только вместе с этой государственностью. Между прочим, то, что я затормозил и стою посреди дороги уже пять минут после этой проклятой кошки, работает на меня: так может поступать лишь открытый человек; по разумению Мюллера, ни один разведчик не стал бы привлекать к себе внимания... Ай да Штирлиц! Интересно, я с самого начала придумал «кошачью мотивацию» или мне это пришло в голову только сейчас? Я не отвечаю себе, и это форма защиты... Я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу, я должен заставить их спрашивать... А этого я могу добиться только одним: первым человеком, которого я увижу, должен быть Борман. Я ему передам пленку, которую добыл пастор, о переговорах Вольфа с Даллесом... Почему бы нет? Как это у римлян? Разделяй и властвуй... А из моего дома Борману звонить нельзя... А почему я думаю, что мне позволят звонить оттуда, если Мюллер уже посадил *там* своих костоломов?»

Он включил зажигание, посмотрел — чисто автоматически — в зеркальце и заметил, как по тротуару бежал мальчик с собакой; он бежал испуганно, втянув голову в плечи, видимо, ждал

налета; лицо его было пергаментным и морщинистым — такое бывает у стариков незадолго перед смертью, когда уши делаются несоразмерно большими, мочка обвисает, становясь серо-синей, восковой.

Штирлиц медленно переключил скорость, притормозил на мгновение, улыбнулся мальчику ободряюще и только после этого развернулся и поехал в центр — там, возле метро, кое-где еще работали телефоны-автоматы. Наверняка можно позвонить из кабачков на Фишермаркте — от «Грубого Готлиба» звонить нет смысла, там все разговоры записываются районным гестапо, да и сам Готлиб ухо держит востро. По имперскому закону от седьмого июня тридцать четвертого года каждый владелец ресторана, гостиницы, вайнштубе, бара, кафе, пивной был обязан сотрудничать с властями и сообщать обо всех гостях, поведение которых хоть в самой малой малости может показаться подозрительным. Если человек, пришедший к тебе выпить пива, небрит, неряшливо одет или, наоборот, чрезмерно изысканно, особенно в иностранном костюме (английский и американский стиль заметны сразу же), если гость плачет или же слишком громко смеется — словом, если он хоть в чем-то разнится

от *массы*, о нем следует незамедлительно сообщить в отделение гестапо. Поскольку цыганам и евреям вход в рестораны, кафе и гостиницы был запрещен — недочеловеки, подлежащие уничтожению, — а после начала войны посещение общественных мест было так же запрещено французским рабочим, пригнанным в рейх, «остарбайтерам» из Польши, Югославии и Советского Союза, то репрессивная система тотальной слежки обрушилась на тех, кого фюрер столь патетически называл «расой господ»; именно они, «господа», и оказались заключенными в том гигантском концлагере, именовавшемся «великим рейхом германской нации», где «права каждого имперского подданного на свободу и достоинство» ежедневно и ежечасно повторялись пропагандистским аппаратом доктора Геббельса.

...Штирлиц притормозил возле станции метро «Адольф Гитлер Плац», обошел свой пыльный «хорьх», подумал, что машину надо срочно помыть, иначе полицейские немедленно сообщат по цепи (номер его машины служебный; каждое сочетание букв отдано тому или иному рейхсминистерству, так легче следить за передвижением на улицах; спецсообщение о поездках бонз

«среднего калибра» каждый день исследовалось особым сектором дорожной полиции, а затем донесение о тех маршрутах служебных машин, которые казались *нестандартными*, отправлялось в гестапо).

Опустив в телефонный аппарат две монетки по десять пфеннигов, Штирлиц подумал: «Но ведь, позвонив Борману первым, я сразу же восстановлю против себя Мюллера. Как он ликовал, когда говорил мне: «Видите, Штирлиц, как легко я вас перевербовал — десять минут, и все в порядке!» Не надо мне сбрасывать его со счета. В том, что мне предстоит сейчас, все-таки именно он будет стоять под номером «один»... Я должен позвонить его Шольцу и сказать, чтобы он доложил шефу о моем возвращении, назначил время аудиенции, ибо у меня есть чрезвычайно важная информация... А уж после этого я позвоню Борману... Молодец, Штирлиц, ты вовремя внес крайне важную коррективу. А говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется... Дудки, еще как меняется... Но я все же не зря отталкивал от себя тот проклятый вопрос, который мучает меня с той минуты, когда парень в баре передал мне приказ вернуться в рейх... Ну да, конечно, не приказ, просьбу, ясное дело... Я боюсь задать

себе этот вопрос: «Почему я должен вернуться?» Может быть, в Швейцарии, читая наши русские газеты, я просто-напросто не смог понять, что дома знают куда как больше о том, что может произойти в рейхе, чем знаю я, сидящий здесь? Но что? Что же?!»

...Встретившись с Борманом — как и в прошлый раз, в его машине возле Музея природоведения, — Штирлиц в какой-то мере понял, отчего Москве было выгодно его возвращение...

«Да, именно так — я действительно вас подозреваю...»

— Здравствуйте, Штирлиц, необыкновенно рад вас видеть. Садитесь, — сказал Мюллер, и быстрая продольная гримаса свела его левую щеку. — Хотите выпить моей домашней водки?

— Хочу.

— А попробовать настоящего магдебургского сала?

— Тем более.

Мюллер достал из холодильника, вмонтированного в книжный стеллаж, запотевшую бутылку баварского «айнциана», деревянную досочку с тонко порезанным бело-розовым салом, банку консервированных мидий, поставил все это на маленький столик в своей комнате отдыха и сказал:

— Если не можете не курить — курите.

— Спасибо. — Штирлиц усмехнулся.

Мюллер быстро глянул на него:

— Чему смеетесь?

— Памяти... Я когда-то читал книгу еврейского писателя Шолом Алейхема... У него там была

занятная строка: «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

— Замечательно, — сказал Мюллер и поднял свою рюмку. — За ваше благополучное возвращение, за то, что вы блистательно выполнили свой долг, и за ваши филологические способности.

Штирлиц выпил, закусил салом — оно действительно было отменным, — поинтересовался:

— А почему «филологические способности»?

— Потому что мне знакомы списки всех тех евреев, книги которых издавались в Германии. Шолом Алейхема среди них не было. Его издавали только в России.

— Верно. И еще его трижды издавал Галлимар в Париже.

— Да черт с ним, с этим Алейхемом, я бы не отказался сейчас обнаружить среди своей родни какого-нибудь еврея, вскорости это очень сгодится, когда сюда понаедут жидочки из Америки, а Сталин пришлет своим наместником Илью Эренбурга... Ладно, рассказывайте о беседе с Борманом... Вы не писали ее?

— Нет. И впредь этого делать не стану.

— Почему?

— Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свое отношение к вам... Вы

же были у него после того, как я рассказал ему о вашей безграничной преданности?

— Он уведомил вас об этом?

Штирлиц пожал плечами:

— А кто еще мог меня об этом уведомить?

— Ваш шеф и мой друг Шелленберг, например...

— Мой шеф и ваш друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами...

— А кого представляет Шлаг? Разве за ним кто-то стоит? Он связан с нами? Или с партией? Он был и остался изменником, Шелленберг знал, кого отправлять в Берн... Меня, во всяком случае, Шелленберг пока еще не просил заняться вами — в качестве «пособника врагов»...

— Попросит.

— Вы сказали об этом Борману?

— Конечно.

— Как он отреагировал?

— Сказал, что подумает... Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода...

Мюллер налил еще в рюмки, посмотрел свою на свет, покачал головою:

— Какого черта всех нас потянуло в политику, Штирлиц?

— Какие мы политики? Шпионы...

— Истинными политиками на этом свете являются именно шпионы: они знают две стороны медали, то есть абсолютную правду, а политики извиваются, словно змеи, дабы отчеканить орла и решку на одной стороне, что, согласитесь, невозможно.

— Именно поэтому их работа будет потребна во все века, как-никак иллюзия, а люди на нее падки...

— Борман действительно попросил меня обеспечить вашу безопасность, вы снова угадали... Спалось в Швейцарии хорошо?

— Так же, как здесь.

— Но там нет бомбежек, тишина...

— А я не реагирую на бомбежки.

— Вы фаталист?

— Вы до чего угодно доведете, — вздохнул Штирлиц.

— Это — да, умеем, — согласился Мюллер добродушно. — Ну, выкладывайте, о чем он говорил?

— О том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое, в Стокгольме.

— И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?

— Да.

— Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать?

— Именно так.

— И Мюллер-гестапо, добрый старый папа-Мюллер, должен помочь вам в этом?

— Должен.

— А как он это сделает? Что он, семи пядей во лбу? Я не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я ломаю голову второй день и ничего не могу придумать. Давайте выкладывайте ваши соображения, Штирлиц, вы умный и хитрый... Смело говорите все, что взбредет на ум, я стану вас корректировать...

— Группенфюрер, если уж вы не знаете *как*, то я, даже со всей моей хитростью, вообще ничего не придумаю...

— Штирлиц, я не люблю кокетства... Да вы и не умеете кокетничать, слишком для этого умны... Расскажите мне весь ход операции по Вольфу... С самого начала... Англичане не так уж были неправы, когда решили — в судебных разбирательствах — жить по закону аналогии. Я слушаю...

Штирлиц понял: началась проверка. «Он хочет послушать, как я буду излагать ему свою версию всего дела... А он станет перепроверять ее, основываясь на донесениях агентуры, расшифровке моих телефонных разговоров, рапортах службы наблюдения... Сейчас он должен подняться и отойти к шкафу или куда-то еще, где у него есть кнопка включения записи... Вряд ли он решится на то, чтобы, сидя напротив меня, шарить рукою в кармане по рычажкам диктофона, он слишком большой профессионал, он *рассчитывает* контрагента заранее...»

Мюллер, однако, не встал с кресла, он просто-напросто пододвинул к себе маленький пульт, лежавший на столе, нажал кнопку и сказал:

— Я запишу вас, потом послушаем вместе, если какой-то узел будет непонятен, вернемся к нему и проанализируем заново. Согласны?

— Конечно, — ответил Штирлиц и снова, в который уже раз, подивился этому человеку, его совершенно особенной логике. — Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа — в случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей или же сведения о них дойдут до фюрера... Я работал со Шлагом

не без интереса: это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше... У Шлага довольно широкие связи среди движения пацифистов, имя его известно Ватикану, с экс-канцлером Брюнингом его связывает давняя дружба... По легенде он должен был вступить в контакт с Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире, ибо он — по словам агентов Даллеса — не имеет в рейхе опоры на те реальные силы, которые смогут удержать в стране порядок и не позволить Германии сделаться поживой для русских — в полной мере, а не так, как было решено в Ялте. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Но и это не все: Шлаг — и это самое главное, с чем я к вам приехал, я не сказал об этом Борману, цените мою верность — высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в генеральном штабе и министерстве иностранных дел...

— Факты? — закашлявшись, спросил Мюллер.

Штирлиц понял, что тот специально закашлялся, не хочет, чтобы его голос присутствовал

на пленке, кашель меняет голос до неузнаваемости, однако, отметил Штирлиц, на его пассаж про генштаб и дипломатов Мюллер клюнул, сразу же потребовал факты. «Ну что ж, я дам тебе факты, только плохо, что я не рассказал об этой моей идее пастору, они, я думаю, станут сейчас к нему подкрадываться... Надо сделать все, чтобы Мюллер, именно Мюллер, поручил мне поездку в Швейцарию. Я должен так повести себя во время *допроса*, а это допрос, ясное дело, чтобы оставить нечто такое на донышке, что сделалось бы совершенно необходимым Мюллеру... Нужен крючок, только б не переторопить дело, только б *повести* мне, только б разбудить в этом уставшем человеке фантазию... А как ее разбудишь? Интересом, личным интересом, он умный, он понимает, что думать сейчас надо только о себе самом, все проиграно. Но ведь и он заложник у Гитлера. Они все заложники, трусливые, маленькие заложники в руках больного, трясущегося маньяка... Вот ужас-то! Отчего такое возможно? Верно говорят: «не сотвори себе кумира». Они думали, что кумир приведет их к мировому могуществу, положит им под ноги человечество... Малая интеллигентность, отсутствие подлинного знания всегда рождают доктрины именно такого рода, а ведь

учиться не все любят, детей же просто принуждают читать историю, штудировать иностранные языки... Доктрина национал-социализма рассчитана на лентяев, на тех, кто больше всего любит спортивные игры, развлекательные программы по радио и кружку пива вечером, после того как *отсидел* работу...»

— Факты любопытны, — сказал Штирлиц. — Хотя Шлаг мне далеко не все открывает — он многое держит в резерве, для торга, — но строй его логики в данном случае абсолютен. Вот его схема: почему Вольф был смещен в конце прошлого года с поста начальника личного штаба рейхсфюрера? Ведь это — крах, падение, нет?

Штирлиц посмотрел на Мюллера, ожидая ответа; тот молчал. Штирлиц, явственно представив, как медленно и шершаво тянется пленка в диктофоне, насмешливо спросил:

— Группенфюрер, вы не хотите, чтобы ваш голос был на одной пленке с моим?

Мюллер молча кивнул.

— Хорошо, я понял. Слово «Группенфюрер», которое я только что произнес, легко уберется, пленка, видимо, шведская, хорошо склеивается, рывка при прослушивании не будет... Продолжаю... Так называемое «падение» Вольфа было

первой фазой операции, задуманной здесь, в Берлине, в этом здании... Следующей фазой было подключение генерального штаба, который обязан был дать согласие на назначение Вольфа заместителем командующего группой войск в Северной Италии. Армия — за подписью генерал-полковника Гудериана — дала такого рода согласие. Нормы протокола требовали, чтобы факт приезда Вольфа в Италию был обговорен по дипломатическим каналам с правительством Муссолини. Переписка по этому вопросу хранится в архиве министерства иностранных дел. Черный мундир СС, наш с вами, столь тенденциозный, Вольф ловко сменил на зеленый френч — военный человек, каста *служивых*, во все времена генералы враждующих армий время от времени садились за стол переговоров... И произошло все это еще накануне нашего наступления против союзников в Арденнах. Значит, комбинация действительно готовилась загодя? Более того, Шлаг считает, что, когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один, без свидетелей, адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом, и, если бы не моя... нет, скажем, наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка

могли бы закончиться полным успехом... Вы просили меня изложить факты; я изложил вам строй логического размышления пастора — это, если хотите, факты. Их только нужно тщательно проверить: кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана? Шелленберг наверняка действовал через свои личные связи, а возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он, Гелен?

Мюллер выключил запись, приблизился к Штирлицу, спросил:

— Имя Гелена вам назвал Шлаг?

— Нет.

— У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?

— Нет... Допуск.

— Хитрите?

— Открыт как дитя.

Мюллер вдруг испугался; страх был неожиданным, ибо — в который уже раз! — он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от

всех задумал. Раньше, до того еще как он получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание *занимало* группенфюрера, но теперь он ощутил ужас оттого, что — впервые в жизни — осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался из-за проклятого австрийского психа.

«А если сейчас спросить о его контактах с русскими в лоб? — подумал Мюллер. — Он дрогнет. Я увижу воочию его страх, и мне не будет так ужасно, как стало только что. Нет, — сказал он себе, — ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ею любого туза. Но игра предстоит кровавая, и, если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш».

— Ну хорошо, это любопытно — с Геленом, спасибо, Штирлиц. Вы оговорили связь с пастором?

— Да.

— Двустороннюю?

— Да.

— Отдадите мне его адрес?

— Конечно.

— Теперь вот что... Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, но с дамой. Это верно?

— Нет. Неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирштайн, но и двух ее детей.

— Кто она?

— Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец... Погиб... Она стояла на дороге, только что кончился налет варваров...

— Каков возраст детей?

— Грудные... Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте... Они очень пищали...

— Где она вышла в Швейцарии?

— В Берне.

— Возле отеля?

— Да.

— Название?

— «Золотая корона»...

Мюллер пожал плечами:

— Почему республиканская Швейцария так любит королевские названия, связанные с атрибутами тиранической власти?

— Я думаю, у нас вскорости названия всех отелей станут, наоборот, избыточно республиканскими... Каждый с обостренным интересом

относится к тому, чего лишен сам.

— Хм, вероятно. В Берлине наверняка появятся отели «Русский двор», «Калинка» и «Самовар»...

— А в Мюнхене «Уолдорф Астория» и «Пансильвания», — добавил Штирлиц.

Мюллер кивнул, потянулся устало, спросил:

— А кого вы искали в пансионате «Вирджиния»?

— Вы следили за мной в Швейцарии?

— Я прикрывал вас.

— В таком случае отвечаю: в «Вирджинии» я искал профессора, который контактировал с пастором.

— Почему пастор сам не пошел в «Вирджинию»?

— Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор... я запамятовал его имя... не пришел к пастору на встречу... Весьма информированный человек, представлял какую-то группу в рейхе, глубоко законспирированную... Отчего-то покончил с собой...

Мюллер достал из кармана френча — ленивым, медленным жестом — маленький листочек, положил на стол перед Штирлицем:

— Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру эту шифровку. Помните, я

показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки, очаровательной молодой мамы...

«Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо, — подумал Штирлиц, разглядывая свою шифровку. — Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил, сообщи ему Мюллер о своих подозрениях».

— Вы подозреваете меня, группенфюрер?

— В определенной мере.

— И какова эта мера?

— Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете ли, «минивольфиада»... А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять — в нашем государстве «национальной общности» каждый сейчас думает только о себе.

— А если я действительно веду такую игру? — медленно спросил Штирлиц. — Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне: с кем мы станем уходить?

Куда именно? Каким образом? Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так трепетно и аккуратно вел себя с пастором.

— И так лихо упрятали куда-то его сестру с ублюдками, что бедный Айсман чуть не повесился? Где она?

— В Швеции.

— Не лгите.

— Тогда не спрашивайте.

— Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?

— Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.

— В чем она будет заключаться?

— В том, чтобы он, Шлаг, сделался фигурой, представляющей реальные силы в рейхе. Он, а не Шелленберг.

— Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа, — ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты... Я — фигура устрашения, дураку ясно.

— Но вы в силах организовать такие материалы

на людей в штабе армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в *наше* дело... А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.

— Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?

— Вы уже знаете...

— Его аппарат нами пока что не прослушивается.

— В девятнадцать тридцать.

— Найдите возможность задать ему вопрос: «От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?»

— А у вас есть такого рода данные?

— Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. Это все...

— Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?

— Убежден. Я не убежден в том, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге, вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера... Да, да, шофера, у вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину, скажете об этом Шелленбергу... — Мюллер нажал на одну из кнопок в панели, в дверях тут же появился Шольц. — Где Ганс?

— Ждет.

— Пожалуйста, пригласите его.

Вошел шофер.

— Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека, — сказал Мюллер. — Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме, на первом этаже, ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе; мой знакомец не имеет права рисковать собою, ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне и моему несчастному мальчику. Тебе ясно все?

— Мне ясно, группенфюрер.

Информация к размышлению — I (ОДЕССа[3])

Идея создания этой тайной организации принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте сорок пятого, не конституировать предприятие. Лишь *если* идею утвердят, можно будет финансировать создание надежных путей отхода эсэсовцев в Латинскую Америку, Испанию, Португалию и монархические арабские страны пронацистской ориентации. Покупать через подставных лиц особняки, автомобили, яхты, маленькие отели на побережье Средиземного моря, для того чтобы там *стали* опорные базы СС; вербовать иностранцев, которые будут работать на организацию; готовить надежную агентуру на границах, в полицейских аппаратах, в железнодорожных, авиационных и океанских компаниях мира.

Мюллер имел осведомителей, тесно связанных

---

3 Примечания: 3

ОДЕССа — глубоко законспирированная организация членов СС, функционирующая поныне.

с Ватиканом, и знал, что сын Бормана двадцатилетний Алоиз был накануне принятия сана священника, что противоречило духу нацистской морали. Однако он не отступничал, а получил санкцию Гитлера на такого рода шаг; Мюллер предполагал, что рейхсляйтеру удалось мягко *убедить* фюрера в том, что мальчик «жертвует светской карьерой» для того, чтобы внедриться в круги клерикалов, близких к папе, во имя идеи национал-социализма, но никак не вопреки ей.

И лишь в начале марта до Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДАП, полагая, что для этого он сможет использовать связи с некоторыми священниками Ватикана из тамошнего ведомства иностранных дел, которые контактировали с Берлином начиная с тридцать третьего года, когда Гитлер еще только пришел к власти.

Мюллер пытался выяснить, как Борман строит свои потаенные каналы перемещения, но рейхсляйтер умел хранить тайну. Тем не менее Мюллеру удалось получить данные, что ряд функционеров НСДАП, аккредитованных при посольствах в нейтральных странах, ведут

активную работу, связанную с возможностью нелегальных перемещений по миру всех тех, кто мог быть объявлен военным преступником.

И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.

— Ну и что? — спросил рейхсляйтер, не поднимая на Мюллера глаза. — Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении? В своекорыстии? Они утаивают от меня факты? Лгут?

«Когда же он начнет говорить со мною откровенно? — подумал Мюллер. — Он постоянно недоговаривает, постоянно опасается чего-то, никому не верит... Тогда зачем он пригласил меня быть с ним во всех его начинаниях? Зачем он — после встречи со Штирлицем — говорил о необходимости постоянного сотрудничества, чтобы координировать общие действия? Когда он поймет, что нельзя не верить друг другу? Когда он начнет говорить правду?»

— Я никого ни в чем не подозреваю, рейхсляйтер, особенно когда дело идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами — даже когда речь идет о таком важном узле, как судьба функционеров

НСДАП. Техника — удел техников вроде меня, а не политиков... Ваши недоброжелатели — узнай они об этом — не преминут обвинить вас в пораженчестве; подчеркнут, что существует отдел заграничных организаций НСДАП во главе с Боле, зачем же создавать дублирующую организацию; большевики будут разбиты под Берлином, победа близка, и все такое прочее... А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам — в случае трагического исхода битвы — спасти сотни тысяч верных бойцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира; такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей; необходимо срочно бросить за рубеж моих людей, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки... Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные про то, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки; это, я думаю, заинтересует фюрера — наступательный аспект, а ему это сейчас словно бальзам на раны...

— А что? — Борман почесал мочку уха. — Хоро-

шее предложение. Составляйте меморандум, я постараюсь убедить фюрера в разумности предложения такого рода. У вас есть прикидки?

— У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром; в портах Латинской Америки стоят яхты без хозяев, их можно приобрести за полцены у дальних родственников... У меня все готово, но мне нужна санкция на действия; вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга, следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос: «с какой целью? для кого? кто санкционировал?».

— Ну, а если два первых вопроса из упомянутых вами трех поначалу задам я?

— Отвечаю... Вам — отвечаю... В моем распоряжении сейчас семьдесят тысяч великолепных документов — паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства — из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Египта, Сингапура, Чили... Проведены беседы с семью тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы: активны, умны, молоды, оборотисты... Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру: отправил одного

из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.

— Кто у вас в Ватикане? — тяжело спросил Борман.

— Я готов передать вам списки, я путаюсь с итальянскими фамилиями.

— Спасибо. Мне будет интересно посмотреть, я совершенно не информирован по Ватикану, — заметил Борман. (И Мюллер снова подумал: зачем постоянно лгать? Какой прок? Ведь на Ватикан замкнут сын Алоиз.) — Продолжайте, — попросил Борман. — Я слушаю.

— Я предупредил этого человека, — вздохнув, сказал Мюллер, — что в случае провала — случись он в рейхе ли, в Швейцарии, или Италии — я ему помощи не окажу, отрекусь, *предам*, все должно быть приближено к боевой обстановке...

Мюллер пошарил по карманам, достал смятый бланк международной телеграммы, протянул Борману.

— Что это? — спросил тот.

— А вы посмотрите... Он уже прислал мне весточку из Буэнос-Айреса... На текст не обращайте

внимания... Расшифровывается это так: «Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэнья». Могу приобрести два дома в пустынном районе возле Пунта Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требуется сорок тысяч долларов. Готов внедрить трех коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально».

— Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?

— В России — вряд ли, — хмыкнул Мюллер. — А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.

— Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?

— Пять месяцев.

— Следовательно, уже в ноябре прошлого года вы думали про то, как спасать ваших людей — после поражения? Не слишком ли рано вы стали хоронить рейх?

— Я понял, — жестко ответил Мюллер, — что рейх ждут похороны уже в феврале сорок третьего, после Сталинграда.

— Вы смеете говорить мне такое?!

— Рейхсляйтер, но ведь ваши люди начали работать в этом же направлении еще раньше...

— Мои люди были, есть и будут верны фюреру, который убежден в победе!

Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладошкой:

— Я теряюсь, когда ощущаю недоверие... По-моему, время неискренности кончилось... Пора бы говорить друг другу правду...

Борман поднялся, походил по кабинету, потом остановился возле окна, прижался лбом к стеклу и, не оборачиваясь, сказал:

— Изложите мне структуру организации. Из каких подразделений она состоит. Как и через кого будут поддерживаться контакты с иностранцами. Количество привлеченных — сейчас и в последующем. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов. Каков статут членов их семей. Форма связи между членами организации в разных регионах мира. Где будет дислоцироваться штаб. Его структура. Кто будет отдавать приказы. Их форма...

Мюллер снова кашлянул, подумав, что главный вопрос — о штабе и его структуре, то есть, говоря языком нормальным, о том, кто станет во главе тайной организации, — Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное, хотя ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего.

Приняв, однако, игру рейхсляйтера (поди не прими!), Мюллер начал отвечать в той последовательности, которую предложил Борман.

— Структура организации видится мне двухслойной, на первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум, призванный — в случае необходимости — обеспечить спасение офицеров СС, которые — согласно декларации Сталина, Рузвельта и Черчилля — признаны военными преступниками, все скопом, без разбора, за то лишь только, что служили в главном управлении имперской безопасности и армии. Поскольку *исчезновение* моих людей невозможно в Германии — все они были на виду, а мы знаем, какой разгул предательства возникает после государственного краха, — речь может и обязана идти о передислокации наиболее ценных борцов СС за границу. Однако второй, истинный строй структуры организации состоит в том, чтобы уже сейчас заложить наши опорные пункты во всех регионах мира для продолжения нашей борьбы в будущем. Контакты с верными нам иностранцами закрепят те офицеры, которых мы передислоцируем немедля; пропаганда Геббельса работает отменно, издали все видится иначе, чем вблизи. К тому же грамотных, к счастью, немно-

го. Люди больше верят слухам, поэтому сейчас еще есть возможность работать в обстановке наибольшего благоприятствия в Аргентине и Парагвае, в Испании и Португалии; мы еще до конца не использовали возможности наших японских боевых союзников в Сингапуре и Индонезии, в Бирме и на Борнео. А ведь именно там традиционно сосредоточены крупнейшие торговые точки, связанные с Лондоном и Канадой, — прекрасный путь для внедрения в Америку и Европу... Думаю, вы простите мне несанкционированное своеволие: я уже проговорил с моими друзьями из наших автомобильных, химических и авиационных концернов некоторые аспекты перспективного плана создания в тех регионах Азии своих филиалов... Союзники, конечно, поначалу не откажут себе в удовольствии полютовать, возможны санкции против наших промышленников, но экономика сильнее эмоций, куда Западу деться без Германии?

— Концерны представили вам соображения в письменном виде?

Мюллер улыбнулся:

— Разве они пойдут на это, рейхсляйтер?

— А почему бы и нет?

— Да потому, что они боятся ваших предста-

вителей в правлениях. Если бы они получили санкцию, тогда другое дело — развернутые предложения будут составлены за неделю...

— И потом станут известны союзникам... А те будут приятно удивлены, отчего этим перспективным проектом так интересовался человек по фамилии Мюллер... Все, что происходит, то происходит — так или иначе — к лучшему.

— Ну уж и все, — вздохнул Мюллер. — Не все, рейхсляйтер, хотя в данном случае вы снова правы — я недодумал возможность утечки информации.

— Значит, не всегда ошибается Борман? Иногда и у него бывают не совсем бесполезные мысли? — усмехнулся рейхсляйтер. — Дальше, пожалуйста.

— Что касается числа привлеченных в тайную организацию СС, то я сейчас затрудняюсь назвать точную информацию, но по предварительным подсчетам у меня получается что-то около тридцати тысяч...

— Каков принцип предварительного подсчета?

— Опять-таки, если бы я позволил себе признаться, что этот подсчет был по-настоящему необходим уже пару лет назад, если бы мы взяли за непреложное правило допускать в начале предприятия возможность проигрыша, а не

только победу, я бы продумал систему, и, поверьте, это была бы неплохая система... А сейчас мне пришлось пойти по весьма примитивному пути: я начал с того, что вспомнил пару сотен людей из моего аппарата, которые просто-таки обязаны быть спасены... Все руководители моих референтур по русскому, украинскому, польскому, французскому, еврейскому, испанскому секторам, все те, кто осуществлял надзор за промышленностью и банками, те, кто курировал вопросы идеологии, церковь, молодежные организации, те, кто осуществлял руководство работой в концентрационных лагерях, обязаны — если, конечно, вы одобрите мою задумку — начать уже сейчас подготовку к передислокации в заранее подготовленные центры... Опорные базы я берусь наладить в Базеле, Асконе, Милане, Ватикане, Пальма де Мальорке, Барселоне, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Асунсьоне...

Борман посмотрел на карту мира, заметив:

— Вполне конкретная линия... Неплохо...

— Что касается принципа отбора, то здесь, конечно, возможны определенные издержки, опять-таки из-за фактора времени... Далеко не все руководители отделов гестапо — мои люди: Кальтенбруннер часто назначал своих протеже

— тех, кому он патронировал... Так что я не могу полагаться на абсолютную компетентность всех моих подчиненных в областях... Но в Гамбурге, Мюнхене, Осло, Ганновере, Любеке, Копенгагене, Фленсбурге, Бремене, Вюрцбурге, Милане, Веймаре, Дрездене у меня сидят вполне надежные люди, я им верю абсолютно, они думают так же, как я. Если разрешите, я поручу именно им составить списки. — Мюллер хмыкнул. — Конечно же устно, никак не фиксируя это в документах... Что касается утверждения кандидатов, то доверьте мне провести предварительный отбор, а уж вы благословите его окончательно. Что касается членов семей будущей организации СС, то они должны быть поначалу убеждены, что кормилец погиб... Только так, хоть и жестоко... Иначе начнут искать... А за их поиском будут наблюдать враги, и это приведет к расшифровке всего дела. Что касается форм связи между будущими региональными группами, то этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне... Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность — специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, — тогда предприятию была бы придана та весомость, которая

позволит провести всю необходимую работу в максимально короткий срок. Понятно, такого рода должность, — Мюллер улыбнулся, — также не должна фиксироваться в документах, во всяком случае пока что...

— Вы забыли фамилию моего друга Гиммлера... Его пока еще никто не смещал с должности рейхсфюрера СС...

— Сместят. Надо, чтобы сместили, — спокойно ответил Мюллер. — Вы же понимаете, что одиозность рейхсфюрера не позволит ему жить в подполье... Да и потом...

— Что?

Мюллер пожал плечами, вздохнул.

— Договаривайте, пожалуйста, — сердито сказал Борман, — это невежливо — обрывать мысль на полуслове.

— Он — ваш враг, рейхсляйтер, зачем же брать его в расчет? Его надо выводить из расчета.

— А Кальтенбруннер? — задумчиво спросил Борман. — Почему бы ему не стать фюрером организации, а вам — его начальником штаба и заместителем?

— Потому что я не верю Кальтенбруннеру, — ответил Мюллер.

— У вас есть к этому основания?

— Есть.

— Изложите.

Мюллер покачал головой:

— Не стану, рейхсляйтер. Пожалуйста, простите меня, но я не стану этого делать... Я никогда не был доносчиком, увольте... Вы сами можете убедиться в правоте моих слов, проверив Кальтенбруннера...

— Каким образом? — деловито осведомился Борман.

— А вы попросите его поработать с Канарисом...

Борман удивился:

— Почему именно с Канарисом?

Мюллер ответил жестко:

— Я сказал вам то, что счел возможным сказать, рейхсляйтер...

Борман пожал плечами, снова поднялся, походил по кабинету, потом спросил:

— Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?

— По первым буквам: ОДЕССа... И огромное вам спасибо за то, что вы назвали ОДЕССу *нашей* организацией...

— Разворачивайте работу, Мюллер... И как следует продумайте, чтобы трасса *нашей* ОДЕССы

начиналась из Берлина, отсюда, из рейхсканцелярии... Оборудуйте запасные штабы этой трассы здесь, в Берлине, потому что грядут уличные бои, да, да, именно так... Подвалы, метрополитен, подземные коммуникации — все это обязано стать знакомо вам так, чтобы вы ориентировались в этом лабиринте, как поп в Ветхом Завете...

Душное ощущение кольца

— А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, штандартенфюрер? — спросил Шелленберг, положив свою мягкую, женственную руку на плечо Штирлица. — Гарантирую отменные похороны.

— Я — логик, — ответил Штирлиц. — Люди моей породы боятся переторопить события: шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым...

— Мне-то как раз вы значительно более выгодны мертвым.

— Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?

Шелленберг вздохнул:

— Конечно... Ну, выкладывайте, о чем говорили с Мюллером...

— Об операции в Швейцарии.

— Признайтесь честно: на чем он взял вас?

— На знании. Он знает больше меня. Он знает все.

— Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Он

знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп... И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то что вы провалили дело?

— Не я.

— А кто?

— Мы. Все мы. А в первую очередь Вольф.

— Вы думаете, что говорите?

— Думаю, думаю, постоянно думаю... Так почему же вы продолжаете быть со мной откровенным, несмотря на то что я провалил дело?

— Потому что вы отдаете себе отчет: связывать себя с Мюллером накрепко — безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, — обречен на то, чтобы утонуть... Вы действительно уже побывали у него?

— Да.

— Он вызвал вас? Не поставив меня в известность?

— Вы же все прекрасно знаете, бригадефюрер... Я думаю, офицер пограничной стражи на нашем «окне» возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером, как-никак это «окно» было вашим личным, по материалам

гестапо оно не проходило... Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили «хвост», в Швейцарии пока еще сильны позиции баварца; в объекте интереса пастора оказался — согласно нашему с вами плану — Даллес. Тот вывел его на Вольфа; молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало — *засветилис*ь. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает. Но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить... Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.

— И не я... Что вы ему отдадите из нашего разговора?

— То, что вы позволите...

Шелленберг поднялся, походил по кабинету, остановился возле книжного шкафа, достал книгу в старинном переплете (сафьян с золотым обрезом), открыл нужную ему страницу (была заложена красной тесемочкой) и зачитал:

— Отец иронии и юмора Свифт уже в молодости предсказывал, что его ожидает помешательство. Гуляя однажды по саду с Юнгом, он увидел вяз, лишенный на макушке листвы. Свифт сказал Юнгу: «Я точно так же начну умирать с головы».

До крайности гордый с высшими сановниками, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил дни и ночи в обществе картежников, бандитов и потаскух. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили: «Прежде чем дать ему сан епископа, его следует заново окрестить». А сам про себя он написал так: «Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный». Непоследовательность его была поразительна: он был в отчаянии, когда умерла Стелла, его любимая женщина, но, чтобы успокоиться, писал комические «Письма о слугах». Через несколько месяцев после этого Свифт лишился памяти, но язык его был по-прежнему острым как бритва. Потом он провел год в полнейшем одиночестве, затворившись в комнате, ничего не читая и не сочиняя. Он отказался от мяса и впадал в бешенство, когда слуга появлялся на пороге. Однако, когда он покрылся чирьями, разум его просветлел, и Свифт начал постоянно повторять: «Я — сумасшедший». Потом он снова впал в состояние полнейшей прострации, но порою ирония вспыхивала в нем с прежней силой. Когда за несколько месяцев до смерти в его честь была устроена иллюминация, Свифт заметил: «Пусть бы эти сумасшедшие не сводили с ума

окружающих». Незадолго перед кончиной он написал завещание, отказав одиннадцать тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Он также сочинил эпитафию, которая служит выражением ужасных нравственных страданий, постоянно его мучивших: «Здесь похоронен Свифт, сердце которого уже не надрывается более от гордого презрения»... — Шелленберг поставил книгу на место, резко обернулся к Штирлицу: — Вы понимаете, зачем я прочитал вам это?

— Видимо, хотите помочь мне понять подлинный психологический портрет Мюллера?

— Мюллер работает на рейхсляйтера Бормана, и вам это прекрасно известно.

— На Бормана этот отрывок не проецируется, бригадефюрер.

— Сердце бедного Бормана уже давно разорвалось от гордого презрения к окружающим, Штирлиц. Он продолжает жить с разорванным сердцем...

«И этот планирует меня для какой-то комбинации, — понял Штирлиц. — Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня *играют*, и если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно? Обменялись

суждениями? Видимо, да, слишком точен и тот и другой в вопросах, никаких повторов. Но это — в мою пользу. Их подводит страстная тяга к порядку, они расписали свои роли; им бы следовало спотыкаться, повторять друг друга, быть самими собою... «С кем протекли его боренья, — в который уже раз вспомнил он стихи Пастернака, он прочел их в журнале, купленном им на парижском развале осенью сорокового года, — с самим собой, с самим собой!»

— Что ж, — сказал наконец Штирлиц. — С разорванным сердцем можно поскрипеть, если хорошо работает печень, сосуды, почки и мозг. Если человек, сердце которого порвалось от «гордого презрения», имеет в голове такое, что иным и не снилось, тогда он может существовать...

— Оп! Умница! Вы — умница, поэтому я прощаю вам то, чего не простил бы никому другому. Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю, мы не бурши, чтобы пугать друг друга словесами перед началом драки... Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф, рейхсфюрер, о чем мечтает преемник Гитлера рейхсмаршал Геринг, о чем

говорят между собою Гудериан, Типпельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратуры прослушивания, то ни я, ни вы не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, не находите?

— Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.

— Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА кумиром национал-социализма Эрнстом Ремом и участвовал в его убийстве, он был неразделим с фюрером нашей партии Гессом и предал его, пока петух вообще еще даже и не кукарекал... Вы понимаете, отчего я так открыто говорю с вами? Я ведь раньше никогда так обнаженно не выявлял затаенную суть проблемы... Понимаете?

— Нет.

— Жуков вот-вот начнет штурм Берлина, Штирлиц. А это — конец, хотя на Зееловских высотах мы можем на несколько дней остановить их танки... Гелен доложил фюреру этой ночью, что силы русских превышают наши в пять раз. Вот так-то. Я это слышал своими ушами. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного

здания? Я — нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу — так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем... Или втроем...

— А кто будет третьим?

Шелленберг долго молчал, потом ответил вопросом:

— А если третьим будет Мюллер?

— Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?

— С ним невозможны добрые отношения. Но с ним возможны деловые отношения. А его дело — это жизнь. И за это дело он готов подраться.

— А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?

— Нас, — поправил его Шелленберг. — Нас, Штирлиц. Не сепарируйтесь, не надо. Мюллер полон такой информацией, которая нам с вами и не снилась. Он занимался «Красной капеллой» русских, я подключался лишь к заграничным операциям, он вел расследование лично, здесь, в Берлине. Он оставил кое-что про запас, он никогда не сжигает все мосты, он — я убежден — бережет какие-то точки опоры, ожидая новых гостей из Москвы...

«Может быть, радисты, переданные мне, кото-

рые были внедрены в Веддинг и Потсдам, тоже ждут гостей? — подумал Штирлиц. — Почему нет? И первым гостем окажусь я».

Шелленберг закурил свой «Кэмэл», внимательно проследил за тем, как догорела провощенная спичка, положил ее в пепельницу дирижерским жестом правой руки и продолжил:

— Он вел дело особо законспирированной группы русской разведки, на которую я вышел в конце сорокового года, вы, верно, помните эту работу...

— Помню, — ответил Штирлиц. (Еще бы не помнить — провал той группы чуть не стоил ему головы: один из участников подполья не выдержал пыток, сломался, дал показания; к счастью, Штирлиц ни разу не контактировал с ним; тот человек, который был у него на связи, выбросился из окна кабинета следователя.)

— Он вел дело Шульце-Бойзена и Харнака, и он знает, что какие-то люди из этой группы остались, легли на грунт. Он вел дело Антона Зефкова... Я не говорю о том, что ему известно многое обо всех без исключения участниках заговора двадцатого июля... Это не очень-то интересует тех на Западе, кто уже сейчас подкрадывается к тайнам русской разведки в рейхе, но, тем не менее, этим человеком является Даллес и, понятно, сэр Уинстон, но

впоследствии этот интерес будет пожирающим, маниакальным.

— Даллеса и сейчас занимает все, связанное с участниками заговора генералов, бригадефюрер, — заметил Штирлиц. — Ему нужна легенда, он обостренно интересуется этим делом, поверьте. Хотя, вы правы, русская разведывательная сеть в рейхе занимает сейчас Даллеса в первую голову. Полагаете, что Мюллера — коли он возьмет с собою все наши досье — не вздернут?

— Если попадется сразу после краха — могут впопыхах и вздернуть... Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл: не попасться... Особенно в первые месяцы, потом — не так страшно; горячие головы поостынут, эмоции улягутся, делом надо будет заниматься, серьезным делом...

— Полагаете, Мюллер тоже знает, *как* уйти?

— Бесспорно. Он готов к этому лучше всех.

— Факты?

— Есть факты. Я их *знаю*, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса сделает наш союз крайне ценным, мы станем некоего рода консультационной конторой — «выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гаранти-

руем»... И чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужны два человека... Один из них должен быть запятнан еврейской кровью. Не чистый, конечно, еврей, а четвертькровка, а еще лучше восьмушка, у Эйхмана есть отменная картотека. Вы должны поработать с ним, прежде чем пустите его в комбинацию...

— В какую именно?

— Перебросьте его в Швейцарию. Что ему там делать? Скажу позже, дам имя человека, на которого его надо будет вывести. Цель? Наше желание спасти от фанатиков тех несчастных евреев, которые обречены на уничтожение в концентрационных лагерях.

— Во-первых, я пока не знаю, с кем мне предстоит заниматься, бригадефюрер. Во-вторых, я не представляю, к чему мне готовить этого человека, допусти мы, что у Эйхмана есть нужный нам персонаж.

Шелленберг снова закурил, вопрос Штирлица словно бы не слышал, продолжал свое:

— А второго человека зовут Дагмар Фрайтаг. — Шелленберг подвинул Штирлицу папку. — Ознакомьтесь у себя в кабинете, только потом вернете мне. Это — невероятная женщина: во-первых, красива, во-вторых, талантлива. Ее

мать шведка. Вы должны будете в течение трех-пяти дней — не более того — перебросить ее в Стокгольм, проработав методы и формы связи. В Стокгольме она — как доктор филологии, специалист по скандинавским рунам — будет обязана не столько заниматься изысканиями германо-скандинавской общности в Королевской библиотеке, сколько подходом к семье графа Бернадота. Ясно? Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно партайгеноссе Борману, вы ведь встречались с советником нашего посольства в Берне, который отвечает за дела партии, не так ли? Видимо, Борман именно поэтому заинтересовался вами, следовательно, вы гарантированы — на какое-то время — от любого рода неожиданностей со стороны Кальтенбруннера или того же Мюллера. Но если рейхсляйтер Борман узнает о Бернадоте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам, здесь, в этом кабинете, вы понимаете меня?

— Я понимаю, что зажат в угол, бригадефюрер. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят, я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня — даже в этом кабинете — неразумно, и

обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?

Глаза Шелленберга замерли, что-то больное, тяжелое возникло в них; спросил он тем не менее усмешливо и добродушно:

— Вы сошли с ума?

— Я не Свифт, бригадефюрер. Я гарантирован, как и все мы, смертью, но только не от умопомешательства.

— Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня!

— Нет, я не буду этого делать.

— Как вы смеете, Шти...

— Смею! — Штирлиц, оборвав Шелленберга, поднялся. — Все кончено, бригадефюрер. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие, а есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное, никаких поблажек; только правда; выживут те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во всевышнего.

Шелленберг поднялся из-за стола, походил по

кабинету, хрустко забросив руки за спину, потом остановился возле окна, заклеенного крест-накрест бумажными лентами, чтобы стекло не так часто вылетало из-за взрывных волн, вздохнул, сказал горько:

— А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц. Экий мерзавец, а?! А в общем-то, все верно: мы, верхние, проиграли страну, вы имеете право на позицию, каждому свое. Идите. И найдите мне у Эйхмана умного, несчастного, но отчаянного еврея. Он должен вступить в контакт с раввином швейцарской общины в Монтрё и с экс-президентом Швейцарии Музи — как мой личный представитель. А вот чем он будет торговать и за какую цену, я скажу вам после того, как вы мне доложите: «Он готов к делу, и, если он нас предаст, я пущу себе пулю в лоб». Такой поворот вас устраивает?

Штирлиц кивнул и устало сказал:

— Хайль Гитлер!

...Мюллер смотрел на Штирлица тяжело, сосредоточенно, с открытой неприязнью.

— Да, — сказал он наконец, — вы правильно посчитали мои ходы. Я действительно вошел в *дело*. Да, я действительно уговорился с Шелленбергом о координации кое-каких шагов. Да,

действительно, я готовлю те досье, которыми можно будет торговать в скором будущем с людьми Даллеса. Да, действительно, мой Ганс станет сообщать мне о вас все, но более всего он должен следить за тем, чтобы Шелленберг не убрал вас, когда вы сделаете то, что он вам поручил. Поэтому — не торопитесь, Штирлиц. Не торопитесь! Сделайтесь нужным Шелленбергу в такой мере, чтобы он без вас *заплавал*. Знаете этот боксерский термин? Или вы все больше по теннисным? И не вздумайте так открыть себя перед Борманом, как открываетесь передо мною. Мы с Шелленбергом, увы, вынуждены ценить ум других; Борман лишен этого качества, ибо никогда не занимался практической работой; давать указания — легко, провести их в жизнь — куда сложнее.

Мюллер поднялся, отошел к сейфу, открыл массивную дверь, достал папку, положил ее перед Штирлицем.

— Это досье адмирала Канариса. Не обращайте внимания на игривость стиля, несчастный был неисправимым оригиналом, однако то, что здесь собрано, прояснит, отчего я надеюсь на спасение. Я имею в виду схватку американцев с русскими, ибо лишь это даст нам возможность *остаться*. Читайте, Штирлиц, я верю вам, как себе, читайте,

вам это надо знать...

«Источник, близкий к Белому дому, сообщил мне, что еще летом сорок первого года президент Рузвельт дал указание создать ОСС — «Отдел стратегических служб»[4], организацию, которой было вменено в обязанность заниматься политической разведкой и «черной пропагандой», направленной против стран оси.

Предприятие курирует пятидесятивосьмилетний Вильям Джозеф Донован, которого называют «диким», — республиканец школы президента Гувера, то есть поклонник «сильной руки»; открытый противник правящей демократической партии Рузвельта; ирландский католик, то есть бунтарь по натуре, отвергающий любые авторитеты, кроме, понятно, своего; миллионер, хозяин адвокатской фирмы, обслуживавшей некоронованных королей Уолл-стрита. После назначения шефом ОСС «дикий Билл» сразу же вошел в конфликт с одним из самых близких Рузвельту людей — с драматургом Робертом Шервудом, тем, кто писал костяки всех речей президента и был поэтому направлен на работу в «Отдел» одним из первых.

---

4 Примечания: 4

ОСС — в настоящее время ЦРУ.

Всякая идея обретает свое воплощение в практике под влиянием того, кто руководит повседневной работой; всегда даже в самый идеальный замысел коррективы вносят не те, которые *придумали*, но те именно, которые взялись за то, чтобы придумку сделать явью.

По первоначальному замыслу Рузвельта, все было сконструировано таким образом, чтобы ОСС подчинялся объединенным штабам армии, флота и авиации, но Донован, ветеран первой мировой войны, награжденный тремя высшими наградами Америки, смог сепарировать ОСС от армии и флота.

Будучи великолепным тактиком, Донован умел хитрить; он набрал в ОСС много таких сотрудников, которые окончили Вест-Пойнт, то есть считались людьми армии, кадровыми военными, — это успокоило генералов; после этого «дикий Билл» открыл двери ОСС для «штатских» — тех, кто представлял интересы корпораций и банков. А поскольку так уж завелось в Америке, что учебные заведения получают финансовую поддержку не от государства, но от корпораций, отслуживая им это *наукой*, то вместе с руководителями промышленности и финансов в ОСС пришла ведущая профессура наиболее престиж-

ных университетов.

Когда Донован собрал вокруг себя штаб верных ему людей, среди которых на первых порах выделялись представитель «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен» Луис Рим, магнат с Гавай мультимиллионер Атертон Ричардс, профессор Гарвардского университета Джеймс Крафтон Роджерс и банкир из Нью-Йорка Джеймс Варбург, начальник ОСС сказал:

— Друзья, начиная любую работу, следует отдать себе отчет в том, каким мы хотим видеть ее результат. Если работать, оглядываясь на бюрократов из государственного департамента, мы не сдвинемся с мертвой точки; дипломатия — наука легальных возможностей, в то время как наше дело нелегально с самого начала. Если мы решим подстраховать себя от наскоков государственного департамента и начнем консультировать наши шаги с армией, те замучают нас согласованиями и субординацией; великое право армии — открытый удар, завоевание пространства, наше дело не имеет ничего общего и с этой доктриной. Мы обязаны знать все, что происходит в мире, мы обязаны не просто понимать тенденции развития в Риме, Бангкоке, Берлине или Мадриде, мы должны организовывать эти тенденции, растить

людей, формировать мнения, готовить впрок партии и премьеров, чтобы уже потом с ними, то есть с нашими кадрами, занимался государственный департамент, а если потребуется — армия. Ради Америки мы готовы остаться в тени, пусть лавры победителей достанутся тем, кто позирует репортерам; большой бизнес, на котором состоялись Штаты, не любит рекламы, он предпочитает свободу рук во имя великого действа. Деньги у нас есть, за работу надо уметь платить, кто как не Уолл-стрит знает это; поэтому вы не имеете права мелочиться, вы должны поддерживать риск; свобода рук нашим сотрудникам гарантирована — только в этом случае мы построим такой аппарат тайного знания, который будет нужен Америке отныне и навсегда! Имейте в виду, думать следует не о сегодняшнем дне, и даже не о завтрашнем: Германия обречена, войну на два фронта не дано выиграть ни одной державе; наша задача заключена в том, чтобы уже сейчас думать о будущем того мира, в котором станет жить Америка...

Донован был прекрасным оратором: он дважды выдвигался на пост вице-губернатора и губернатора Нью-Йорка от республиканцев, он умел убеждать — даже Рузвельта; был смелым чело-

веком, воевал на передовой, поэтому не боялся брать на себя ответственность («Единственно, о чем я жалею, — говорил он в узком кругу друзей, — так это о том, что был слишком молод в восемнадцатом, когда служил в России, в нашем экспедиционном корпусе; наши болваны жили в эмпиреях — «вот-вот большевики рухнут сами», — а они сами никогда не рухнут, а если бы я имел тогда свободу рук, я бы знал, как вернуть в Петербург Керенского»); он имел прекрасные связи с теми, кто *платит* в Америке. Он поэтому начал работу широко и всеохватно.

— Не страшитесь самых сомнительных контактов, — не переставал повторять Донован своим сотрудникам. — Ищите людей всюду, где только можно; если бы я был убежден, что приглашение Сталина на пост вице-директора ОСС принесет успех делу, я бы не задумываясь просил его занять кабинет напротив моего и поддерживал бы с ним самые добрые отношения — до того дня и часа, когда с Гитлером будет покончено...

Главным отделом ОСС стало управление исследований, поисков и анализа. Не только банкиры, выпускники Вест-Пойнта и юристы собрались здесь, но и цвет американской журналистики, начиная с Джозефа Олсопа и кончая Уолтом Ростоу.

Возглавляли работу профессора Шерман Кент[5] и Эврон Киркпатрик[6].

Однако создание второго по величине и значимости подразделения ОСС, названного отделом рабочего движения, вызвало в Вашингтоне бурю. Первым в колокола тревоги ударил директор ФБР Джон Эдгар Гувер, ревниво наблюдавший за тем, как Донован разворачивает политический сыск в мире; привыкший быть бесконтрольным хозяином секретной службы в стране, Гувер оказался неподготовленным к тому, что все заграничные операции присвоил себе миллионер с Уолл-стрита.

— Пусть это и не его идея — создать рабочий отдел, а полковника Хэбера Бланкенхорста, за которым не только армия, но и сенатор от Нью-Йорка Роберт Вагнер, — доказывал своему покровителю сенатору Трумэну шеф ФБР, — все равно это недопустимо! Только подумать — он приглашает тех, кто связан с рабочим движением, в государственное учреждение США! Он

---

5 Примечания: 5

Шерман Кент в 1950–1967 гг. — зам. директора ЦРУ.

6 Примечания: 6

Эврон Киркпатрик — зам. начальника отдела разведки госдепартамента в 1954 г.; с 1955 г. — президент научно-исследовательской «Организации исследований», тайного филиала ЦРУ.

назначил шефом этого отдела еврейского юриста Артура Гольдберга[7] — его предки эмигрировали к нам из России.

Трумэн, как утверждает мой источник, близкий к Капитолию, слушал Гувера молча, определенных ответов не давал, отшучивался, однако все имена записывал на отдельных листочках бумаги.

Вообще-то задуматься было над чем: Донован позволил Гольдбергу пригласить в «Отдел» нескольких участников «батальона Линкольна», которые сражались в Испании бок о бок с русскими коммунистами против войск генералиссимуса Франко и летчиков рейхсмаршала Геринга; более того, он взял на работу тех профсоюзных деятелей, которые ранее активно выступали против монополий и поддерживали забастовщиков.

Донован, однако, посмеивался:

— Я представляю себе, что будет с Гувером, когда он узнает, что я пригласил в управление исследований, поисков и анализа бывшего немецкого коммуниста Герберта Маркузе. Гувер умеет ловить гангстеров и шпионов в Штатах, но он ничего не понимает в международных делах: я

---

7 Примечания: 7

Артур Гольдберг — министр труда в кабинете Кеннеди; до 1968 г. — посол США в ООН.

не могу работать с подпольными профсоюзами в оккупированных странах без помощи радикалов; никто так точно не определит ситуацию в рейхе Гитлера, как Маркузе; придет время, и мы разберемся с нашими левыми, но это будет после того, как они сделают все для победы над нацистами и закрепления наших позиций в Европе, когда там образуется вакуум.

Тем не менее Донован был вызван в Капитолий для объяснений, — естественно, с «подачи» Гувера. По-прежнему посмеиваясь, он заметил:

— Если мы хотим иметь организацию, составленную из кристальных — с нашей точки зрения — людей, которые отвечают меркам Гувера, тогда получится мертворожденное дитя, ибо работают люди, а не анкеты; дайте моим сотрудникам *шанс* на риск приглашать в аппарат того, кого они считают нужным. Заметьте себе, что отдел контрразведки ОСС возглавляет такой известный всем вам юрист, как Джеймс Мэрфи, — он всегда стоял на защите интересов наших концернов, именно поэтому и наладил прекрасные отношения с профсоюзами, особенно левыми, чтобы знать обо всем происходящем в стане противника.

Донован давал объяснения в те дни, когда первые бюллетени ОСС начали поступать в Белый

дом. Готовили их молодые сотрудники ОСС Артур Шлесинджер[8], Леонард Микер[9] и Рэй Клайн[10]; информация была интересной, объективной; от Донована *отстали*, он только этого и добивался; руки развязаны, началась переброска агентуры в Лондон, Африку, Китай, Индию, пошла истинная работа впрок...

Затем Донован создал МО — отдел моральных операций, то есть штаб психологической войны, где писались сценарии радиопрограмм на Германию, Италию, Японию; там же выпускались листовки для движения Сопротивления в Европе, разрабатывались костяки газет для подполья, подыскивались будущие редакторы, комментаторы, ведущие репортеры, то есть отлаживалась связь с европейской интеллигенцией.

Поскольку и в отдел МО надо было привлекать людей левых убеждений (ибо правые в глубине души всегда искренне симпатизировали фа-

---

8 Примечания: 8

Артур Шлесинджер — один из ведущих политиков США.

9 Примечания: 9

Леонард Микер — советник госдепартамента; до 1969 г. — посол США в Румынии.

10 Примечания: 10

Рэй Клайн — представитель ЦРУ в Лондоне до 1953 г.; на Тайване — до 1962 г.; затем зам. директора ЦРУ, потом перешел в госдепартамент, где был начиная с 1969 г. начальником разведки.

шизму), Донован, умело балансируя, создал СИ — особый отдел секретной разведки и СО — отдел специальных операций. Он таким образом организовал работу этих ключевых отделов, чтобы левый философ Герберт Маркузе всегда передавал свой анализ шефу, а им был либо миллиардер Джуниус Морган, либо его родной брат Генри, либо миллиардер Вандербильт, либо миллиардер Дюпон, известные своими правыми, резко антирусскими настроениями.

Все связи с подпольем в Греции и Югославии контролировал вице-президент Бостонского банка. Крупнейшая в США рекламная фирма «Вальтер Томпсон эдвэртайзинг эдженси» выдвинула своего человека на пост главы планового отдела ОСС; этому же агентству Донован отдал посты резидента отдела моральных операций в Лондоне, начальника группы ОСС в Каире и руководителя бюро «черной пропаганды» в Касабланке. «Стандарт ойл» потребовала себе резидентуры ОСС в Испании и Швейцарии, чтобы оттуда наладить связь с подпольем в Бухаресте и организовать там свою сеть для наблюдения за

нефтяными месторождениями в Румынии[11].

«Парамоунт Пикчерз», крупнейшая кинокомпания США, потребовала себе места в резидентурах ОСС в Швеции, ибо именно через эту нейтральную страну — с прекрасными связями в Европе — можно будет впрок завоевывать громадный рынок для сбыта своей продукции.

Банковская группа «Гольдман и Закс» внесла на счет ОСС два миллиона для помощи Донована в его работе по созданию подпольных групп в Северной Африке: до войны эти банкиры имели там серьезные интересы; за будущее надо платить — внесли впрок.

Банкирская группа Меллона потребовала для членов своего клана ключевые посты в резидентурах ОСС в Люксембурге, Мадриде, Женеве; было заключено соглашение, что после того, как союзники освободят Париж, пост главы филиала ОСС во Франции также будет отдан клану Меллонов.

---

11 Примечания: 11

Именно «Стандарт ойл» не пожалела денег на оружие, *подарки* и самолеты, чтобы сразу же после переворота в Румынии, 30 августа 1944 г., когда король Михай уволил в отставку маршала Антонеску и объявил войну Гитлеру, пока Красная Армия еще не успела войти в Бухарест, проламывая немецкое сопротивление, отправить туда специальную миссию ОСС во главе с Расселом Дорром, компаньоном Донована по его уолл-стритской адвокатской конторе. Бригада ОСС вылетела в Бухарест из Каира и сумела похитить архивы румынской, немецкой разведок и секретные научные материалы, связанные с исследованием перспектив развития нефтедобывающей промышленности страны.

Алиса, сестра Пола Меллона, самая богатая женщина мира, вышла замуж за Дэйвида Брюса, сына сенатора, миллионера, который был членом штаба ОСС и начальником резидентуры в Лондоне — ключевой пост американской разведки[12].

Поскольку ОСС было создано как детище так называемой «антинацистской тенденции Америки», поскольку русские были главной силой, противостоявшей войскам вермахта, поскольку именно левое, то есть коммунистическое и социалистическое, подполье играло ведущую роль в партизанской борьбе против рейха, поскольку, наконец, отношения между Белым домом и Кремлем сделались, как никогда ранее, доверительными, корпорации потребовали создания *противовеса*, и «дикий Билл» собрал в ОСС «русскую группировку», которая опиралась главным образом на эмигрантов.

Однако Гувер, не зная того, что знали руководители правых сил США, не успокаивался; когда в январе 1942 года два молодых сотрудника ОСС,

---

12 Примечания: 12

Единственно, кто из богатейших семей Америки не вошел в ОСС, так это люди Рокфеллера; с тех пор Нелсон и «дикий Билл» не разговаривали и на приемах друг с другом демонстративно не раскланивались. Впрочем, Рокфеллер создал свою разведку, организовав «Офис по координации внутриамериканских дел». Денег не жалел, поэтому его «координаторы» постепенно провели в ОСС его людей, впрочем, глубоко законспирированных.

подкупив стражу испанского посольства, проникли в святая святых дипломатической миссии, в «защищенную» комнату шифровальщиков, и начали делать фотографии кодовой книги, Гувера разбудил его секретарь — новость о «вероломстве» Донована, влезшего в дела ФБР, того стоила; Гувер позвонил своему заместителю и сказал:

— Готовьте операцию против «дикого Билла», хватит, заигрался!

И когда через несколько месяцев люди Донована вновь проникли в посольство Франко, машины ФБР окружили здание по приказу Гувера и включили сирены тревоги; агенты ОСС были арестованы, операция по декодированию шифров, имевших особо важное значение для формирования политики США на пиренейском направлении, была сорвана.

Яростный Донован был утром в Белом доме.

Вызвали Гувера; тот светился дружелюбием:

— Дорогой Билл, если б я знал, что в посольстве ваши люди! Я не мог себе представить, что там работают ребята ОСС! Одно ваше слово, и все было бы в порядке! Но вы совсем забыли своего старого верного друга Гувера...

Примирение «врагов» состоялось лишь через несколько месяцев, когда Донован *позволил* Гуве-

ру узнать про ту акцию, с которой, в общем-то, и началась настоящая оперативная работа ОСС за границей. Смысл этой операции Донована заключался в следующем: после того как войска англо-американцев высадились в Северной Африке и начали наступление против армий вермахта, главное внимание как Рузвельта, так и Черчилля было сфокусировано на том, пропустит ли Франко немецкие войска через Испанию, позволит ли рейху ударить в подбрюшье наступавшим англосаксам, отрезать их от Северного побережья Африки и, таким образом, лишить какой-либо поддержки с моря или же сохранит нейтралитет. Понятно, все симпатии Франко были, как и всегда, на стороне Германии, однако он стоял перед дилеммой: пропустив вермахт, он мог потерять статут диктатора, а его держава сделалась бы оккупированной территорией, несмотря на заверения фюрера, что ни один немецкий солдат не останется на испанской земле; он также понимал, что, отказав Берлину, он — в какой-то мере — выигрывал Лондон, понуждая англо-американцев прекратить бойкот режима и признать его, Франко, единственным и законным выразителем интересов испанской нации. Службы рейха тем не менее продолжали нажим, да и в Мадриде

было достаточно сил, которые ненавидели западные демократии, полагая, что будущее мира — лишь национал-социалистское сообщество.

Поэтому предсказать, какой путь в конце концов изберет Франко, было сложно, но тем не менее предсказать вероятие следовало загодя.

Донован решил *оббежать* события: он принял решение не просто понять и просчитать возможные перспективы, но приказал своим агентам *навязать* Франко линию поведения, выгодную союзникам.

Играя обычную для него карту «противовеса», Донован отправил под дипломатической «крышей» своего личного представителя в Мадрид, и был этим человеком чикагский миллионер Дональд Стил, который сразу же обзавелся знакомствами в высшем мадридском свете, не уставая повторять, что он — убежденный антикоммунист, воевал с красными в составе американского экспедиционного корпуса, отправленного в Россию на помощь белым армиям. Его сменил, получив надежные связи предшественника, Грегори Томас[13] — один из руководителей парфюмерного концерна. Подарки дамам света ему

13 Примечания: 13

Грегори Томас — в будущем президент корпорации «Шанель»; один из руководителей филиала ЦРУ — радиостанции «Свободная Европа».

было делать не внове, духи — не взятка, а знак внимания; ничто так высоко не ценится за Пиренеями, как знаки внимания, они — ключ к сердцам тех, кто обладает *информацией* и может в свою очередь передать *наверх*, Франко, то, что сочтет нужным.

Резидент ОСС Доунс встретился в Лондоне с бывшим президентом республиканской Испании Негрином; тот сказал ему, что, если Франко примкнет к странам оси и пропустит войска Гитлера через Испанию, в стране может вспыхнуть гражданская война, а уж «массовое партизанское движение — попросту неизбежно».

Поскольку в Испании ничего не было готово к развертыванию партизанской борьбы, все люди Доунса были арестованы, привезены в Мадрид, в подвалы Пуэрта дель Соль, и подвергнуты третьей степени устрашения. Несколько человек не выдержали и признались, что отправлены из Марокко американцами.

Министр иностранных дел Испании[14] вызвал американского посла Хайеса:

— Это беспрецедентный акт вмешательства в наши внутренние дела! Это можно трактовать

---

14 Примечания: 14
Информация получена от него в частной беседе.

как шаг к неспровоцированной агрессии! Вы готовите в стране кровопролитие!

А в это время люди ОСС в Мадриде, развозя по особнякам коробки с духами, *запустили* точно высчитанную дезинформацию: «Это только начало, инфильтрация будет продолжаться, ибо Белый дом опасается, что Франко откроет ворота Испании вермахту».

Франко, боявшийся партизанской борьбы, нашел возможность сообщить в Вашингтон — через сложную цепь контактов, — что он не пропустит войска рейха.

После того как эта информация пришла в Америку, государственный департамент поручил Хайесу заверить Франко, что засылка «группы коммунистических террористов» не есть дело рук американской армии или секретной службы, но авантюра испанских республиканцев и американских коммунистов; человек, который оказал им некоторую финансовую помощь, «выгнан с государственной службы».

Доунс действительно был отчислен из ОСС, однако ровно через два месяца он был назначен советником по особым операциям при штабе генерала Эйзенхауэра.

Посол Хайес, ранее столь гневно выступавший

против Донована и его людей, подписал с «диким Биллом» договор о «дружбе», и с той поры его первым помощником в посольстве стал офицер ОСС...

Однако ни Мюллер, ни Шелленберг, ни Канарис не имели данных о том, что на следующий день после этого Гувер позвонил Доновану и предложил вместе поужинать; вечер удался на славу, враги сделались друзьями.

— Ну как? — спросил Мюллер. — Любопытно копал Канарис?

— Весьма, — ответил Штирлиц, возвращая Мюллеру папку. — Данные об операциях ОСС кончаются на сорок втором годе?

Мюллер хмыкнул:

— Штирлиц, я отношусь к той породе людей, которые перестают получать информацию в ту самую минуту, когда наступает смерть.

Ни Шелленберг, ни Мюллер, ни иностранный отдел НСДАП не знали также о том, что вскоре после этого положение Донована резко пошатнулось.

А уж после того как брат европейского резидента ОСС Аллена Даллеса мультимиллионер Джон Фостер Даллес возглавил внешнеполитический отдел предвыборной кампании кандидата в

президенты Томаса Дьюи, резко нападал на Рузвельта, требовал жестких мер против «красной угрозы» и пугал американцев коммунизмом, причем многие документы получал непосредственно от своего старого друга и соратника по партии Донована, президент потребовал отчет: кто проверяет работу ОСС, кто финансирует ее операции, не включенные в перспективные планы, и какие корпорации получают приватную информацию из государственного ведомства политической разведки.

Ознакомившись с частью полученных материалов, Рузвельт сказал своему ближайшему сотруднику Гопкинсу:

— Гарри, вам не кажется, что Донована пора убирать из ОСС?

Тот спросил:

— Каков повод?

— Повод очевиден, — ответил президент и ткнул пальцем в папку, лежавшую перед ним. — Все члены штаба по выборам Дьюи — после его поражения — взяты Донованом на ключевые посты в ОСС, и все они заняты в тех отделах, которые планируют операции по рейху, используя свои старые связи с финансистами Гитлера.

...Этот разговор в Белом доме состоялся в марте

сорок пятого, через полтора часа после того, как Штирлиц вернулся в рейх.

Все в этом мире сопряжено незримыми странными связями — великое и малое, смешное и трагичное, подлое и высокое; подчас те или иные пересечения судеб не поддаются логическому объяснению, кажутся случайными, однако именно эта кажущаяся случайность и является на самом деле одной из потаенных констант развития.

Вот как умеет работать гестапо! — I

...Бомбили центр Берлина; над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.

— Только, пожалуйста, Ганс, — попросил Штирлиц, — не кладите мне сахара, я пью кофе с сахарином.

Шофер откликнулся с кухни:

— Так вы ж худой, господин Бользен, это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба, постоянно ходит голодный...

— Индийские йоги считают состояние голода самым полезным, — заметил Штирлиц. — Так что мы, немцы, живем в условиях пика полезности — почти все голодны.

На кухне было тихо, Ганс никак не прореагировал на слова Штирлица — видимо, вспоминал инструкции Мюллера, как вести себя в разных ситуациях...

«А может быть, все-таки я сам себя пугаю? — подумал Штирлиц. — Может быть, парень дей-

ствительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами, понять логику поступков практически невозможно, следует рассчитывать на свои чувствования... Но если я не смогу оторваться от моего стража и выйти на связь с радистами, что мне здесь делать? Какой смысл пребывания в Берлине? Я верно сделал, что намекнул Мюллеру о возможности моей особой игры, пусть думает; судя по всему, такой ответ устроил его, хотя настоящий разговор у нас еще не состоялся...»

Кофе был отменный, сделан по турецкому рецепту; Штирлиц поинтересовался:

— Кто вас научил так хорошо заваривать?

— Сын группенфюрера, Фриц. Он был ученым ребенком, знал по-английски и по-французски, целые дни читал книги и учебники. Он-то и натолкнулся на рецепт, как надо делать настоящий кофе. Не ставить на электрическую плиту, а держать над нею, наблюдая, когда начнет подниматься пена; мальчик называл это как-то по-ученому, не на нашем языке, но очень красиво... Сейчас, я припомню, как он переводил... «Эффект вкусового взрыва» — вот как он мудрено это называл...

— А где сейчас сын группенфюрера?

Ганс подвинул Штирлицу мармелад:

— Это варит моя мама, господин Бользен, пожалуйста, угощайтесь.

— Вы не ответили на мой вопрос...

— А еще я хочу просить вас попробовать наше сало... Отец делает его по старинному рецепту, поэтому в нем так много розовых прокладок, видите, как красиво?

— О, да, — ответил Штирлиц, поняв, что парень ничего ему не ответит, — с удовольствием отведаю вашего домашнего сала. Откуда вы родом?

— Из Магдебурга, господин Бользен. Наш дом стоит на развилке дорог, помните, поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный, с большой силосной башней на усадьбе...

— Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом... Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса прокрашены яркой коричневой краской?

— Ну конечно! Значит, все же помните?!

— Начинаю припоминать, — сказал Штирлиц. — Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.

— Конечно, господин Бользен.

— Или попозже? Ваш кофе остынет, допейте, Ганс...

— Ничего, я люблю холодный кофе. Сын группенфюрера научил меня делать «айс-кофе». Пробовали?

— Это когда в высокий стакан с холодным кофе кладут катышек мороженого?

— Да.

— Очень вкусно, пробовал. А вы пили кофе «капучино»?

— Нет, я даже не слыхал о таком.

— Помните, в средние века жили капуцины, странствующие монахи?

— Я не люблю попов, они ведь все изменники, господин Бользен...

— Почему же все?

— Потому что они болтают про мир, а нам воевать надо, чтобы изничтожить большевиков и американцев...

— В общем-то верно, хорошо думаете... Так вот, о кофе капуцинов... Это когда в горячий кофе кладут мороженое и образуется совершенно невероятная шоколадная пена. Боюсь, что кофе «капучино» мы с вами попробуем лишь после победы... Идите, милый, я не задерживаю вас более... Сделайте заварки кофе на три чашки, я

тоже люблю холодный кофе, мне потом предстоит поработать...

Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса, закурил, глубоко затянулся; снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.

Голос ее был низким, чуть что не бас; Штирлицу нравились такие голоса, как правило, бог наделял ими высоких, худощавых, спортивного типа женщин с лицом римлянок.

«Ты все всегда придумываешь, старина», — сказал себе Штирлиц. «Ну и что? — ответил он себе же. — Это прекрасно. Надо навязывать явлениям и людям, тебя окружающим, самое себя; незаметно, подчиняясь непознанным законам, твои представления, твоя концепция, твои идеи обретут право гражданства, только надо быть уверенным в том, что поступаешь правильно и что твоя идея не есть зло, то есть безнравственность».

— Мне разрешили побеспокоить вас звонком, профессор Йорк, — сказал Штирлиц. — Моя фамилия Бользен, Макс Бользен.

— Добрый вечер, господин Бользен, — ответила

женщина. — Я ждала вашего звонка.

— У вас глаза зеленые, — утверждающе заметил Штирлиц.

Женщина рассмеялась:

— По вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют. А вообще вы правы, зеленые, кошачьи.

— Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?

— Да когда угодно. Вы где живете?

— В лесу. Бабельсберг.

— А я в Потсдаме. Совсем рядом.

— Когда ложитесь спать?

— Если не бомбят — поздно.

— А если бомбят?

— Тогда я принимаю люминал и заваливаюсь в кровать с вечера.

— Сейчас я обзвоню моих друзей — я только что вернулся, надо кое с кем перебросить парой слов — и свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня, только позже.

«Сейчас пишут каждое мое слово, — подумал он, положив трубку. — И это замечательно. Вопрос о том, когда расшифровку записей передадут Мюллеру: сразу же или завтра? И в том и в другом

случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс; он свалится через сорок минут, два часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним. После беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в трех блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор — придется полазать через заборы, ничего не попишешь: Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом и что в дело будут включены серьезные люди как в Швейцарии, так и в Швеции».

Ганс вернулся с кухни, налил Штирлицу кофе, допил свой, холодный, с сильно действующим снотворным; поинтересовался, что господин Бользен будет есть на завтрак: он, Ганс, отменно готовит яичницу с ветчиной.

— Спасибо, милый Ганс, но ко мне приходит девочка, она знает, что я ем на завтрак...

— Господин Бользен, группенфюрер сказал, что девочка погибла во время налета... Простите, что я вынужден вас огорчить...

— Когда это случилось?

— А еще я умею делать морковные котлеты, — сказал Ганс.

Он просто пропускал мимо ушей тот вопрос, на который ему было предписано не отвечать.

— Я задал вам вопрос, Ганс: когда погибла моя горничная?

— Но я не знаю, господин Бользен. Я вправе отвечать вам лишь про то, что мне известно.

— Вот видите, как славно, когда вы объясняете мне. Не очень-то воспитанно молчать, когда вас спрашивают, или говорить о другом, нет?

— Да, это совсем невежливо, вы правы, господин Бользен, но я не люблю врать. По мне лучше промолчать, чем говорить неправду.

— Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

— Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если вы позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле... Вы разрешите подвинуть его к лестнице?

— Нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить...

— Ничего страшного, тревожьте, я моментально засыпаю.

— В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Пожалуйста, подвинь-

те кресло... Нет, еще ближе к лестнице, но так, чтобы я мог ходить, не обращаясь к вам с просьбой отодвинуться в сторону.

— Но группенфюрер сказал мне, что я должен быть вашей тенью повсюду...

— Вы в каком звании? Капрал? Ну а я — штандартенфюрер.

— Я вас охраняю, господин Бользен, а приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста...

— Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?

— Именно так, господин Бользен, пожалуйста, не сердитесь на меня, но вы бы сами не поняли солдата, не выполняющего приказ командира.

— Пожалуйста, милый Ганс, подайте мне аппарат, шнур удлинен, можете брать со стола спокойно.

Ганс передал Штирлицу телефон, прикрыв рот ладонью, зевнул, смутился, спросил:

— Могу я выпить еще полчашки кофе?

— О да, конечно. Плохо спали сегодня?

— Да, пришлось много ездить, господин Бользен.

Штирлиц набрал номер.

Ответил Шольц.

— Добрый вечер, здесь Штирлиц. Не были бы

так любезны соединить меня с вашим шефом?

— Соединяю, штандартенфюрер.

— Спасибо.

Мюллер поднял трубку, засмеялся своим мелким, быстрым, прерывающимся смехом:

— Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец Ганс! Дальше будет хуже. Дайте мне его к телефону.

Штирлиц протянул трубку Гансу, тот выслушал, дважды кивнул, вопросительно посмотрел на Штирлица, хочет ли тот еще говорить с шефом, но Штирлиц поднялся и ушел в ванную.

Когда он вернулся, Ганс сидел в кресле и тер глаза.

— Ложитесь, — сказал Штирлиц. — Можете отдыхать, вы мне сегодня не понадобитесь более.

— Спасибо, господин Бользен. Я не буду мешать вам?

— Нет, нет, ни в коем случае.

— Но я временами храплю...

— Я сплю с тампонами в ушах, храпите себе на здоровье. Белье возьмите наверху, знаете где?

И Ганс ответил:

— Да...

...Ганс уснул через двадцать минут.

Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустил-

ся в гараж.

Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону, набрал номер Мюллера и сказал:

— Он уехал.

— Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодчага.

...Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста; он позвонил, осветив спичкой фамилии квартиросъемщиков — их здесь было четверо.

Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец, Пауль Лорх.

Выслушав слова пароля, произнесенные гостем шепотом, он мягко улыбнулся, пригласил Штирлица к себе; они поднялись в маленькую двухкомнатную квартиру, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.

— Когда получили? — спросил Штирлиц.

— Вчерашней ночью.

Первая шифровка гласила:

«Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении

новых данных ежедневно.

Центр».

Вторая в какой-то мере повторяла первую:

«По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует.

Центр».

— Где передатчик? — одними губами, очень тихо спросил Штирлиц.

— Спрятан.

— Можем сейчас съездить?

Лорх отрицательно покачал головой:

— Я могу привезти его завтра к вечеру.

— Хорошо бы это сделать сегодня... Никак не выйдет?

— Нет, я должен быть на работе в шесть, а мы только в пять вернемся.

— Ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте. Ваш телефон не изменился?

— Нет.

— Я могу позвонить... У меня довольно сложная ситуация... Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем, понимаете ли... Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?

— Да, но теперь приходится стричь и людей... Поэтому я езжу рано утром в госпиталь...

— Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?

— Да.

— Сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?

— Две дамы, они специализируются по пуделям. Отчего вы шепчете? Я вполне надежен.

— Конечно, конечно, — по-прежнему беззвучно ответил Штирлиц. — Я не сомневаюсь в вашей надежности, просто я устал, и у меня нервы на пределе, простите...

— Хотите крепкого чая?

— Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой... словом, шофер. Его зовут Ганс. Он приедет за вами — если не смогу я — на моей машине. Номер машины эсэсовский, не пугайтесь, все в порядке. Будете стричь моего пса, в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам обязательно. Вот текст шифровки, передайте ее завтра до моего прихода.

«Шелленберг действительно начал новую серию тайных переговоров в Швейцарии и Швеции. Контрагентами называет Бернадота — в Стокгольме и Музи — в Монтрё. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм, в окружение графа Бернадота, некую Дагмар Фрайтаг, филолога, тридцати шести лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывания против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами, представляющими на самом деле Даллеса, был пока что высшей тайной рейха, более всего он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль.

Юстас».

...Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенного за Штирлицем, записал адрес Лорха и сказал:

— Спасибо, Гуго, прекрасная работа, снимайте с него ваши глаза, видимо, он поедет сейчас к этой

самой Дагмар Фрайтаг. Отдыхайте до утра.

Затем Мюллер пригласил доктора филологии штурмбанфюрера Герберта Ниче из отдела дешифровки и спросил его:

— Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?

— Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?

— Хм... Лучше б вам не знать этих слов, право... Вы раскассируйте те слова, которые я вам назову, по группам, работающим вне нашего здания... Слова, которые я вам назову, опасны, доктор... Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку... Итак, вот те слова, которые *обязательно* будут звучать в шифрограмме: «Дагмар», «Стокгольм», «Фрайтаг», «Швейцария», «Даллес», «Мюллер», «Шелленберг», «Бернадот»; вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхсляйтера. Более того, вполне возможно упоминание имени великого фюрера германской нации... Я не знаю, каким будет шифр, но вероятно, что он окажется таким же, каким оперировала русская

радистка...

— Та, которую арестовал Штирлиц? В госпитале?

— Да, Штирлиц сумел обнаружить ее именно в «Шарите», вы совершенно правы.

Мюллер достал из сейфа перехваченные шифровки, положил их на стол перед Ниче и сказал:

— Пока суд да дело, попробуйте помудрить с этими цифрами, подставив сюда следующие слова: «Вольф», «Даллес», «Шлаг», «пастор», «Мюллер», «Швейцария», «Берн», «Шелленберг»... Возможны упоминания имен Гиммлера и Бормана в гнусном, клеветническом подтексте. Если не все, то большинство этих слов, я полагаю, присутствует в этих цифрах... Я останусь ночевать здесь, так что звоните, Шольц предупрежден — он меня немедленно разбудит...

Шольц его разбудил в шесть, когда уже светало; небо было высоким, пепельным; сегодня ночью не бомбили, поэтому не было дымных пожарищ и не летала мягкая, невесомая, крематорская копоть.

Доктор Ниче положил перед Мюллером расшифрованный текст:

«Шелленберг с санкции Гиммлера на-

мерен вести переговоры в Швейцарии с американцами. Мне санкционирована свобода действия, срочно необходима связь, подробное донесение передаст пастор, которого я переправляю в Берн.

Юстас».

Мюллер закрыл глаза, а потом мягко заколыхался в кресле — смех его был беззвучным, он качал головою и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха после его бесед с ним, с Мюллером, с Шелленбергом и с Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве, помогая дедушке работать в поле, весною, когда наступала пора ухода за саженцами на их винограднике.

Он имел право на такую радость.

Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли: отныне вопрос возможной конфронтации между Кремлем и Белым домом перестал быть отвлеченной идеей. Случись такое — Мюллер спасен. Впрочем, шансы его и Бормана на спасение увеличились неизмеримо, даже если вооруженной конфронтации между

русскими и американцами не произойдет — все равно разведка красных не может не заинтересоваться тем, как будут и дальше реагировать на мирные переговоры Борман и он, Мюллер; от них ведь зависит, прервать их или же содействовать их продолжению...

Опоры будущего реванша

Борман выехал из Берлина на рассвете.

Он отправился в Потсдам; здесь, в лесу, в маленьком особняке, обнесенном высокой оградой, охраняемой пятью ветеранами НСДАП и тремя офицерами СС, выделенными Мюллером, доктор Менгеле оборудовал специальную лабораторию «АЕ-2». Так закодированно обозначался его госпиталь, высшая тайна Бормана, не доложенная им фюреру.

Именно сюда привозили — ночью, в машинах с зашторенными окнами — тех *кандидатов*, которых по его личному поручению отобрали для него самые доверенные люди рейхсляйтера.

Менгеле делал здесь пластические операции; первым был прооперирован оберштурмбанфюрер СС Гросс, сын «старого борца», друга рейхсляйтера, осуществлявшего его защиту на судебном процессе в двадцатых годах. Именно он подсказал адвокатам идею квалифицировать убийство, совершенное Борманом, как акт политической самообороны в борьбе с большевистским терроризмом. Ныне, спустя двадцать два года, Борман

сориентировал младшего Гросса на будущую работу в сионистских кругах Америки; парень кончил Итон, его английский был абсолютен, служил под началом Эйхмана, помогал Вальтеру Рауфу, когда тот опробовал свои душегубки, в которых уничтожали еврейских детей.

Менгеле изменил Гроссу форму носа, сделал обрезание и переправил татуированный эсэсовский номер на тот, который накалывали евреям перед удушением в газовых камерах в концентрационных лагерях, — «1.597.842».

Вторым в лабораторию «АЕ-2» был доставлен Рудольф Витлофф; он воспитывался в России, отец работал в торговой фирме Симменса-Шуккерта, мальчик посещал русскую школу, язык знал в совершенстве; практиковался в группе Мюллера, занимавшейся «Красной капеллой». Менгеле сделал Витлоффу шрам на лбу, наколол — через кусок кожи, вырезанной с левого плеча русского военнопленного, — портрет Сталина и слова «Смерть немецким оккупантам».

Сегодня Менгеле провел третью операцию: к внедрению в ряды радикальных арабских антимонархистов готовился Клаус Нейман.

Борману предстояло поговорить с каждым из трех его людей: по законам конспирации никто

из этой тройки не должен был видеть друг друга.

Борман ехал по израненному городу и до сих пор не мог ответить себе, имеет ли он право поставить все точки над «и» в беседе с тремя избранными. Он колебался: просто ли ориентировать людей на глубинное внедрение в тылы врага или же сказать то, что было ясно всем: «Наша битва проиграна, война закончится в ближайшие месяцы, если только не чудо; вам выпала ответственнейшая задача — отдать себя великому делу восстановления национал-социализма. Притягательность нашего движения заключается в том, что мы открыто и недвусмысленно провозглашаем всепозволенность лучшим представителям избранной нации арийцев в борьбе за господство сильных. Да, видимо, мы были в чем-то неправы, выпячивая право одних лишь немцев на абсолютное и непререкаемое лидерство. Надо было разжигать пламя национальной исключительности в тех регионах мира, где только можно зажечь *мечту* стать первыми. Да, мы учтем эту ошибку на будущее, и вы, именно вы, будете теми хранителями огня, которые обязаны саккумулировать в себе *память* и *мечту*. Немцы так или иначе сделаются лидерами, когда пожар национальной идеи заполыхает в мире.

Нет классов, это вздор марксистов, одержимых тайной еврейской идеей; нет и не будет никакого «интернационального братства», проповедуемого русскими большевиками, — каждая нация думает только о себе; нет никаких противоречий в обществе, если только это общество одной нации; чистота крови — вот залог благоденствия общества арийцев».

Борман понимал, что если он сейчас не скажет всей правды своим избранникам, то его делу — делу истинного, хоть и необъявленного пока что преемника фюрера — может быть нанесен определенный урон; но он отдавал себе отчет в том, что ему подобрали таких людей, которые воспитаны в слепой, фанатичной вере в Гитлера. Если сказать открыто, что конец рейха неминуем и близок, предугадать реакцию этих людей на слова правды невозможно. Он вправе допустить, что один из них немедленно отправит письмо фюреру, в котором обвинит Бормана в измене, распространении панических слухов и потребует суда над предателем. Уже были зафиксированы несколько доносов мальчиков и девочек на своих отцов: «Они смели говорить, что фюрер проиграл войну»; эти письма детей показывал Борману председатель народного имперского суда Фрей-

слер, плакал от умиления: «С такими патриотами, вроде этих малышей, мы одолеем любого врага!»

...Борман отгонял от себя мысли о том, что грядет; человек сильной воли, он приучился контролировать не только слова и поступки, но и мысли. Однако, когда в начале марта он выехал на два дня в Австрию в район Линца по делам НСДАП, связанным с вопросом размещения и хранения произведений искусства — как-никак из России, Польши и Франции вывезено картин и скульптур на девятьсот семьдесят миллионов долларов, — и увидел особняки, где разместилось эвакуированное министерство иностранных дел рейха, «правительства в изгнании» Болгарии, Хорватии, Венгрии, Словакии, когда он почувствовал *жалкие* остатки былого величия, ему стало очевидно: это конец. Не отступление на фронтах, не оперативные сводки Мюллера-гестапо о том, что все рушится, не данные областных организаций НСДАП о голоде и болезнях в рейхе, но именно ощущение *малости* подкосило его. Покуда он находился в бункере, рядом с фюрером, и заведенный распорядок дня неукоснительно повторялся изо дня в день: бесперебойно работала связь, Гитлер свободно оперировал с картами и сообщениями министерств, — ему, Борману, было

спокойно, ибо грохот бомбежек не был слышен в подземной имперской канцелярии, еду подавали отменную, офицеры СС были, как всегда, великолепно одеты, генералы приезжали для докладов по минутам; царствовала *иллюзия* могущества; рейх продолжал оккупировать Данию, север Италии, Голландию и Норвегию, войска СС стояли в Австрии, по-прежнему держались гарнизоны в Чехословакии и Венгрии; тревожным было положение на Востоке, но ведь нация обязана стоять насмерть, кто захочет пойти на добровольное самоубийство?! Красные вырежут всех, это очевидно; значит, немцы будут защищать каждый дом, перелесок, поле, каждый сарай — речь идет о физическом существовании нации, возобладают скрытые, таинственные пружины *крови*...

Именно тогда, возвращаясь из Линца, Борман впервые отдал себе отчет в том, что произошло. И впервые ему надо было самому принять решение, не дожидаясь указания фюрера. И вот именно тогда в его голове начал трудно и боязливо ворочаться *свой* план спасения. Поначалу он страшился признаться себе в том, что этот план окончательно созрел в нем; он гнал мысль прочь, он умел это. Однако, когда маршал Жуков начал готовить наступление на Берлин, когда Розенберг

прочитал ему подборку передовиц «Правды» и «Красной звезды», Борман понял: время колебаний кончено, настала пора активного действия.

(В чем-то помог Геббельс, с которым он сейчас вошел в тесный блок, окончательно оттерев, таким образом, Геринга, Гиммлера, Риббентропа и Розенберга.

Именно Геббельс в апреле пришел к Борману с переводом статьи, опубликованной в «Красной звезде» начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Александровым. Статья называлась «Товарищ Эренбург упрощает».

— Русские предлагают немцам тур вальса, — сказал Геббельс ликующе.

Борман внимательно прочитал статью, в которой говорилось про то, что существуют разные немцы, не только враги; пора уже сейчас думать о том, какие отношения между двумя нациями будут после неминуемой победы.

Геббельс продолжал говорить о наивности Сталина, о том, что немцы всегда останутся врагами диких азиатов, а Борман даже похолодел от шальной мысли: «А вдруг Москва действительно протягивает руку ему, Борману? Почему не навязать этой статье именно такой смысл?»

Борман уже к концу марта построил план спа-

сения, базируясь в своих отправных посылках именно на такого рода допуске.)

Он решил отныне ни в коем случае не мешать ни Гиммлеру, ни Шелленбергу в налаживании контактов с Западом. Более того, Мюллер обязан будет помогать им в этих контактах, делая все, чтобы ни один волос не упал с головы заговорщиков. Но при этом необходимо добиться, чтобы информация об этих переговорах постоянно и ежечасно уходила в Москву, Сталину. Пусть тот *ждет*, пусть думает, что в один прекрасный миг Гиммлер сговорится с Даллесом, пусть живет под дамокловым мечом единого фронта европейцев против большевиков. Разве такое невозможно? Надо сделать так, чтобы Гиммлер добился реальных результатов в этих переговорах, пусть его! Надо уговорить фюрера отвести с западного фронта практически все боевые части на Восток. После этого ударить по генеральному штабу, изгнать Гудериана и привести на его место Кребса — тот говорит по-русски, был в военном атташате в Москве (Кремль быстро просчитывает персональные перестановки, там на это доки). А когда западный фронт будет открыт американцам, когда их армии устремятся на Берлин, — надо обращаться к Сталину с предложением мира;

да, именно к нему, пугая его Гиммлером — с одной стороны, и неуправляемостью вермахта, его высшего командования, типа Гудериана, Кессельринга, Гелена, — с другой, представив ему, Сталину, документы, которые бы свидетельствовали, что Ялтинское соглашение стало листком бумаги; пусть думает, кремлевский руководитель умеет принимать парадоксальные решения: либо американцы в Берлине и, таким образом, во всей практически Европе, либо новая Германия Бормана, да, именно его Германия, которая будет готова отбросить армии американских плутократов и заключить почетный мир с Москвой, признав ее — на этом этапе — лидерство.

«Мало времени, — сказал себе Борман. — Очень мало времени и слишком много стадий, которые мне надо пройти. Очень трудно соблюдать ритм в кризисной ситуации, но, если я все-таки смогу соблюсти ритм, появится шанс, который позволит мне думать не о бегстве, но о продолжении дела моей жизни».

...Именно тогда он и вспомнил Штирлица.

...Именно тогда, вернувшись в Берлин, он позвонил Мюллеру и вызвал его к себе, поручив подготовить материал против Гудериана и Гелена. Именно тогда он и задал ему вопрос, кто

сможет сделать так, чтобы информация о новых тайных контактах Гиммлера и его штаба ушла в Кремль.

...Именно поэтому Штирлиц и не был арестован немедленно по возвращении: он оказался тем недостающим звеном в комбинации, которую начинал Борман — на свой страх и риск, без указания того человека, которого *обожал* и *ненавидел* одновременно.

Ситуация в Германии была такой, что те функционеры рейха, которые ранее, будучи поставленными в иерархической лестнице на строго определенное место, с точно утвержденными правами и обязанностями, являли собою некие детали одной машины, гарантировали ее слаженную работу, сейчас, накануне краха, изверившись в способности высшей власти гарантировать не пропитание и кров, но самое жизнь, были обуреваемы лишь одной мыслью: как *выскочить* из вагона, несшегося под откос, в пропасть.

Поскольку людям, лишенным истинной общественной идеи, свойственна некая гуттаперчевость совести, поскольку блага, которые они получали, служа фюреру, были платой за злодейство, беспринципность, покорность, трусость,

предательство друзей, впавших в немилость, насилие над здравым смыслом и логикой, ситуация, сложившаяся в рейхе весной сорок пятого, подталкивала их — во имя физического спасения — к некоему фантастическому шабашу внутреннего предательства. Каждый, начиная с Германа Геринга, «наци номер два», был готов *заложить* обожаемого фюрера, имея хотя бы номинальную гарантию того, что сам не будет уничтожен.

...Мюллер, выслушав Бормана, сразу же понял, что о контактах Штирлица с секретной службой русских говорить рейхсляйтеру нельзя ни в коем случае. У Мюллера был свой план спасения, но он не мог даже представить себе, что его план до такой степени смыкается с задумкой Бормана. Поэтому он заметил:

— Если вы найдете время принять Штирлица, рейхсляйтер, если тот решится вернуться в Германию, если он *сможет* позвонить вам и ему удастся доехать до того места встречи, которое вы ему назовете, я просил бы вас — ориентируя его на будущую работу — особо подчеркнуть следующее: «Ваша главная задача ныне будет категорическим образом отличаться от той, которая уже выполнена. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы оберегать Шелленберга и его лю-

дей. Вы должны гарантировать абсолютнейшую секретность их переговоров — не только для того, чтобы попусту не ранить сердце фюрера, но и для того также, чтобы эта информация не смогла достигнуть Кремля. Пока еще не известно, кто по-настоящему воспользуется результатами переговоров в Стокгольме и Швейцарии; важно только, чтобы Москва ни в коем случае не узнала о самом факте их существования».

Борман тогда посмотрел на Мюллера по-особому — настороженно и оценивающе, но вопроса задавать не стал: он, как и большинство высших функционеров НСДАП, предпочитал жить по принципу детской игры: «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не называть; если бы Мюллер посчитал нужным сказать нечто такое о Штирлице, что понудило бы его, Бормана, принять определенное решение, то это могло бы, в конечном счете, помешать делу; пусть ответственность будет на Мюллере, он ведь понимает, какого уровня комбинация задумана, разве он привлечет к ней человека, в честности которого есть хоть капля сомнения? Конечно же, нет. А если — да? Ну что ж, это его дело, он — профессионал, он отдает себе отчет в том, что его ждет, провали он операцию. Надо уметь отводить от себя лишнее,

оставляя в памяти лишь абрис главной идеи; за детали отвечают профессионалы, я, политик Мартин Борман, выдвигаю концепцию, задача моих сотрудников в том и состоит, чтобы сделать ее реальностью; понятно, никто из них не станет действовать против духа и буквы нашей морали и закона; я живу судьбами Европы, пусть тайная полиция думает про то, как помочь мне, Борману, в моем деле. Ответственность за деталь лежит на исполнителях, с них и спрос; идея — неподсудна!

...Лишь приехав в лабораторию «АЕ-2», Борман нашел третью, самую удобную форму беседы с кандидатами — веселую, дружескую, открытое собеседование товарищей по совместной борьбе за светозарные идеалы национал-социализма.

Явки, номера банковских счетов — словом, *детали* были давно известны его людям, формы связи обговорены; осталось лишь сказать напутствие.

Каждому надлежит пожелать *свое*: Гроссу, впрочем, и говорить нечего, изумительный специалист в своем деле — Эйхман значительно более компетентен, чем Альфред Розенберг, ибо практики обычно знают дело больше, чем теоретики; Витлофф понимает Россию замечательно, Мюллер и Кальтенбруннер высоко отзывались

о его деловых качествах; Нейман рос в Александрии, его отец дружил там с семьей Рудольфа Гесса; беседу с каждым надо построить таким образом, чтобы сфокусировать их внимание на *симптомах* возрождения идеи национал-социализма в мире. Именно эта проблема должна быть уяснена ими совершенно точно — никаких иллюзий, только трезвый анализ данностей, и ничто другое. Борман даже решил привести слова лауреата Нобелевской премии Карла фон Осецкого, погубленного в концлагере после прихода Гитлера к власти. «Я скажу моим мальчикам, — думал он, — что врага надо знать как «отче наш», ибо никто так не понимает тебя, как открытый, бескомпромиссный враг, не стремящийся к власти и славе (что, впрочем, одно и то же)». Именно Осецкий накануне того дня, когда старый фельдмаршал рейхспрезидент Гинденбург принял фюрера и поручил ему создание правительства «национального единства», сформулировал суть происходившего следующим образом: «Камарилья появляется лишь тогда, когда аграрии ощущают ухудшение своего положения, когда крестьяне начинают искать правду и находят ее в том, что их обирают единокровные юнкеры, а отнюдь не русские марксисты, американские

буржуи или безродный еврейский капитал, а крупная промышленность ощущает новую конъюнктуру, которую можно выиграть лишь в том случае, если рабочие будут принуждены твердой рукою к труду, а не к бесконечным дискуссиям и стачкам».

«Ничего, — думал Борман, — я произнесу слова этого паршивца Осецкого о «камарилье», пусть они услышат это из моих уст, им предстоит жить среди врагов, надо учиться не реагировать на обидные политические метафоры. Единство крови, жажда авторитета, слепота масс, его величество случай — на этих китах мы восстанем. А потом я дам им связи с Мюллером, если тот *докажет* себя окончательно...»

...Менгеле, встретивший Бормана у ворот, сказал:

— У вас сегодня по-настоящему хорошее настроение, рейхсляйтер!

— Именно так, — ответил Борман и потрепал Менгеле по щеке.

Бедные, бедные женщины… — I

— Ах, да при чем здесь руны, былины и мифы? — рассмеялась Дагмар Фрайтаг своим низким басом. — Пейте водку и забудьте вы эту муру!

Она устроилась на стуле, подломив под себя ноги; сидела по-японски, *чудом*, несмотря на то что действительно была высокой, как и представлялось Штирлицу, только еще более красивой.

— То есть? — спросил Штирлиц с какой-то неведомой для него радостью.

— Все очень просто, — ответила Дагмар. — Девице из хорошей семьи надо иметь профессию: эмансипация и все такое прочее. Я мечтала быть офицером генерального штаба, мне очень нравится планировать битвы, я играла не в кукол, а в оловянных солдатиков, у меня и сейчас хранится лучшая в Европе коллекция, есть даже красноармейцы, потом покажу. Хотите?

— Хочу.

— Вот… А папа с мамой приготовили мне будущее филолога. А что это за наука? Это не наука, это — прикладное, это как оформление ресторана мастером со вкусом, который знает, как

использовать мореное дерево, где будут хорошо смотреться рыбачьи сети и каким образом придумать в затаенном уголке зала кусочек Испании — гладко беленные стены, детали старинных экипажей и много темной листовой меди.

— Ну-ну, — улыбнулся Штирлиц. — Только ваша узкая специальность — то есть взаимосвязанность скандинавской и германской литератур — вполне генштабовская профессия. Можете доказать единство корня слов и одинаковость их смысла? Можете! А отсюда недалеко до провозглашения обязательности присоединения Швеции к рейху, нет?

— Бог мой, я это уже доказала давным-давно, но ведь до сих пор не присоединили! Да и потом я высчитала, что множество русских былин тоже рождены нами, поскольку княжеско-дружинный слой общества у русских был в первую пору нашим, скандинаво-германским, они-то, предки, и занесли туда эпическое творчество, а когда славяне дали нам коленом под зад — привезли сюда, на Запад, их былины...

— Это — по науке? Или снова ваш оловянный генеральный штаб, чтоб легче обосновать присоединение к нам России?

— И так и этак, но обосновывать присоедине-

ние Германии к России будет генеральный штаб красных, — засмеялась своим странным, внезапным смехом женщина, — а уж никак не наш.

— Налейте мне еще, а?

— Бутерброд хотите? У меня сыр есть.

— Черт его знает... Все-таки, наверное, хочу...

Дагмар легко и грациозно, как-то совершенно неожиданно поднялась со стула; юбка у нее была коротенькая, спортивная, и Штирлиц увидел, какие красивые ноги у женщины. Он вывел странную, в высшей мере досадную закономерность: красивое лицо обязательно соединялось с плохой фигурой; нежные руки были почему-то у женщин с тонкими ногами-спичками; пышные красивые волосы — и вдруг толстая, бесформенная шея.

«А здесь все в порядке, — подумал Штирлиц. — Природа наделила ее всем по законам доброты, а не обычной жестокой логики: «каждому — понемногу».

И бутерброд Дагмар сделала вкусный, маргарина намазала не бритвенный слой, а видимый, *жирный*; сыр хоть и был наструган тоненькими, чуть что не прозрачными дольками, но был положен *горкой*.

— Пейте и ешьте, — сказала она, снова легко и

грациозно устроившись на стуле. — Я очень люблю смотреть, как едят мужчины, не так страшно жить.

— Вы мне расскажите про скандинавско-русские былины, — попросил Штирлиц.

— Вы зовете женщину в постель только после интеллектуального собеседования? С вами я готова лечь сразу.

— Правда?

— Будто сами не знаете... В мужчин вашего типа женщины влюбляются немедленно.

— Почему?

— В вас есть надежность.

— Это — все, что надо?

— Можете предложить большее? Тогда купите мне ошейник, я стану вашей собакой.

— Любите собак?

— Вопрос итальянца. — Дагмар пожала плечами. — Или испанца... Но никак не немца. Разве есть хоть один немец, который не любит собак?

— Я вам дам новый псевдоним — «бритва». Согласны?

— Да хоть какой угодно.

— Итак, о былинах...

— У вас есть сигареты?

— Конечно.

— Я хочу закурить.

— Но вообще-то вы не курите?

— Я бросила. В гимназии курила, еще как курила. И пила водку. И все остальное...

— Молодец. Трудно в учении — легко в бою.

— Так говорил русский генерал Суворов.

— Совершенно верно. Только он был фельдмаршалом, если мне не изменяет память.

— Изменяет. Он был генералиссимусом.

— Слушайте, а мне просто-напросто приятно быть у вас в гостях.

— Так вы же не в гостях... Вы, как я понимаю, по делу...

— Черт с ним, с этим делом... Все равно вы его прекрасно проведете, я теперь в этом не сомневаюсь... С кем из моих коллег вы раньше были на связи?

— По-моему, об этом нельзя говорить никому? Меня предупреждал мой куратор...

— Мне — можно.

— Можно так можно, — улыбнулась Дагмар. — Он представился мне как Эгон Лоренс.

— Он действительно Эгон Лоренс. Как он вам показался?

— Славный человек, старался помочь мужу... Или делал вид, что старался... Во всяком случае,

его отличал такт...

— Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?

— Он в госпитале. Попал под бомбежку, контузило.

— Расскажите все-таки про скандинаво-германо-русский эпос, это дьявольски интересно. И давайте еще раз выпьем.

— Любите пьяных женщин?

— Черт его знает... Не чувствуешь себя скованным... Это как на корте играть с партнером одного с тобою класса.

— Почему вас заинтересовали эпосы? — Дагмар пожала острыми плечами.

— Потому что вы мне приятны. А человек познается по-настоящему, когда он говорит о своем деле.

— Это вы про мужчин. Женщина познается, когда она любит, кормит дитя, делает мужчине обед и смотрит, как он тревожно спит... Нет, я не психопатка, правда... Что вы на меня так смотрите?

— Я смотрю на вас хорошо.

— Поэтому и спрашиваю.

— Рассказывайте...

— Вы говорите по-русски?

— Читаю. Со словарем.

— Знакомы с финским эпосом? Или с эстонским? С карельским? Очень красивое название «Калевипоэг». Знаете?

— Нет, не знаю... Слыхал краем уха... У нас есть перевод?

— Мы не умеем переводить. Мастерски переводят только русские.

— Отчего это им такая привилегия?

— Стык Европы и Азии... Смешение языков, караваны в Персию, Индию, Китай, хазары, скифы, Византия, великолепное варево...

— Итак, «Калевипоэг»...

— А у русских есть былина о богатыре Колыване. Я проводила аналитическое сравнение, все очень близко. А еще ближе к нам их прекрасная былина об Илье Муромце.

Произношение у женщины было абсолютным, русское имя она называла без акцента. Штирлиц заставил себя не отрывать глаз от своей сигареты, которую он аккуратно разминал пальцами, чтобы не взглянуть на ее лицо еще раз, наново.

— Вообще былины — это любопытная штука, — вздохнула Дагмар. — Они подталкивают к выводу, что в жизни во все времена обязательно надо выжить, и не просто выжить, а победить, пробиться вверх, к славе, — только тогда не

страшна смерть, ибо лишь тогда твое имя сохранится для потомства. Чем ты поднялся выше, тем надежнее гарантия неисчезновения... Нет, правда! Почему вы улыбаетесь?

— Потому что мне приятно слушать вас.

— Пейте.

— Выхлещу всю вашу водку.

— Я покупаю ее на боны в шведском посольстве, там очень дешево.

— Дальше.

— А что — «дальше»? У русских был князь Владимир, он крестил свой народ, стал святым, получил прозвище Красное Солнышко. Чем князь был знаменитее, тем больше его надо было славить, тем красивее о нем слагали былины, в лучах его известности оказывались близкие — был у него дядя, Добрыня, друг и соратник Муромца... Когда сложат эпос об этой войне, вы окажетесь в фокусе славы рейхсфюрера... Замечательно, да?

— Совершенно замечательно... Только где логика? Князь Владимир, дядя Добрыня и богатырь Муромец?

— Все-таки я женщина... Мы — чувство, вы, мужчины, — логика... Так вот, есть русская былина про то, как Муромец сражался со своим сыном Бориской... Хотя иногда его называли Збу-

том, порою Сокольником, а в поздние времена — Жидовином... Илья, сражаясь с сыном, узнает, что этот самый Жидовин приходится ему сыном, отпустил его, а тот решил извести отца, когда богатырь уснул... Не вышло. Муромца спас его волшебный крест. Сила в старце седьмого возраста была невероятной...

— Что значит «старец седьмого возраста»?

— По старым славянским исчислениям это возраст мудрости, с сорока до пятидесяти пяти лет... А теперь сравните Муромца с нижнегерманской сказкой о Гильдебранде и его сыне Алебранде, когда они сошлись на битву возле Берна. Похоже? Очень. Отец тоже сражался с сыном, но помирился с ним в тот миг, когда старик занес нож, чтобы поразить свое дитя... Молодой богатырь успел сказать старцу то, что знал от матери... А она рассказала сыну, кто его отец... Слезы, радость, взаимное прощение... А кельтская сага об ирском богатыре Кизаморе и его сыне Картоне? Она еще ближе к русскому варианту, путь-то пролегал из варяг в греки, а не из немцев к персам. В битве отец, как и Муромец, убивает сына, но, узнав, кого он убил, плачет над телом три дня, а потом умирает сам... Видите, как мы все близки друг другу?

Штирлиц пожал плечами:

— Что ж, пора объединяться...

— Знаете, отчего я хочу, чтобы вы остались у меня?

— Догадываюсь.

— Скажите.

— Вам страшно. Наверно, поэтому вы и хотите, чтобы я был сегодня рядом.

— И это тоже... Но по-настоящему дело в другом... Не только мужчины живут мечтами о придуманных ими прекрасных женщинах, которые все понимают, хороши в беседе, а не только в кровати. Настоящий друг нужен всем... Мы, женщины, придумщицы более изощренные, чем вы... Знаете, если б мы умели писать, как мужчины, мы б таких книг насочиняли... И, между прочим, это были б прекрасные книги... Вот мне и кажется, что я вас очень давно сочинила, а вы взяли и пришли...

Он проснулся оттого, что чувствовал на себе взгляд, тяжелый и неотрывный.

Дагмар сидела на краешке кровати и смотрела в его лицо.

— Вы разговариваете во сне, — шепнула она. — И это очень плохо...

— Я жаловался на жизнь?

Она вздохнула, осторожно погладила его лоб,

спросила:

— Закурить вам сигарету?

— Я же немец, — ответил он. — Я не имею права курить, не сделав глоток кофе.

— Кофе давно готов...

— Дагмар, что вам говорил о нашей предстоящей работе Шелленберг?

По тому, как она удивленно на него посмотрела, он понял, что Шелленберг с ней не встречался.

— Кто вам сказал, что я должен был увидеться с вами? — помог он ей.

— Тот человек не представился...

— Он лысый, с сединой, левая часть лица порою дергается?

— Да, — ответила женщина. — Хотя, по-моему, я этого тоже не должна была говорить вам.

— Ни в коем случае. Пошли пить кофе. А потом поработаем, нет?

— В Швеции у меня была няня... Русская... Она мне рассказывала, что у них во время обряда крещения священник закатывал волос младенца в воск и бросал в серебряную купель. Если катышек не тонул, значит младенцу уготована долгая и счастливая жизнь... Ваша мама вам наверняка говорила, что ваш шарик не утонул, да?

— Я никогда не видел мамы, Дагмар.

— Бедненький... Как это, наверное, ужасно жить без мамы... А папа? Вы хорошо его помните?

— Да.

— Он женился второй раз?

— Нет.

— А кто же вам готовил обед?

— Папа прекрасно с этим справлялся. А потом и я научился. А после я разбогател и стал держать служанку.

— Молодую?

— Да.

— Ее звали Александрин? Саша?

— Нет. Так звали ту женщину, к которой я привязан.

— Вы говорили о ней сегодня ночью...

— Видимо, не только сегодня...

— Я на вас гадала... Поэтому, пожалуйста, не встречайтесь сегодня до вечера с человеком, у которого пронзительные маленькие глаза и черные волосы... Это король пик, и у него на вас зло.

Женщина ушла на кухню — аккуратную, отделанную деревом, — а Штирлиц, поднявшись, поглядел в окно, на пустую мертвую улицу и подумал: «Я — объект игры, это — точно. И я не могу понять, как она окончится. Я принял условия, предложенные мне Мюллером и Шелленбергом,

и, видимо, я поступил правильно. Но я слишком для них мал, чтобы сейчас, в такие дни, они играли одного меня. Они очень умны, их комбинации отличает дальнобойность, а я не могу уразуметь, куда они намерены бить, из каких орудий и по кому именно. Мог ли я быть ими расшифрован? Не знаю. Но думаю, если бы они до конца высчитали меня, то не стали бы затевать долговременную операцию — бьет двенадцатый час, им отпущены минуты. Когда я пошел напролом с Шелленбергом, я верно ощутил единственно допустимую в тот миг манеру поведения. А если и это мое решение Шелленберг предусмотрел заранее? Но самое непонятное сокрыто в том, отчего имя Дагмар назвал Шелленберг, а предупреждал ее обо мне Мюллер? Вот в чем вопрос!..»

Необходимость, как правило, жестока

У Эйхмана действительно были пронзительные маленькие, запавшие глаза и иссиня-черные волосы на висках — вылитый король пик. К далеким взрывам — бомбили заводы в районе Веддинга — он прислушивался, чуть втягивая голову, словно бы кланялся невидимому, но очень важному собеседнику.

— Я ждал вас с самого утра, Штирлиц, — сказал он, — рад вас видеть, садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. Кто вам сказал, что я должен быть у вас утром?

— Шелленберг.

— Странно, я никому не говорил, что намерен прийти к вам первому.

Эйхман вздохнул:

— А интуиция?

— Верите?

— Только потому и жив до сих пор... Я подобрал вам пару кандидатов, Штирлиц...

— Только пару?

— Остальные улетучились. — Эйхман рассмеял-

ся. — Ушли с крематорским дымом в небо; слава богу, остались хоть эти.

Он передал Штирлицу две папки, включил плитку, достал из шкафа кофе, поинтересовался, пьет ли Штирлиц с сахаром или предпочитает горький, удивленно пожал плечами: «Сахарин бьет по почкам, напрасно». Приготовил две чашечки и, закурив, посоветовал:

— Я не знаю, для какой цели вам потребны эти выродки, но рекомендовал бы особенно приглядеться к Вальтеру Рубенау — пройдоха, каких не видел свет.

— А отчего не Герман Мергель?

— Этот — с заумью.

— То есть?

— Слишком неожидан, трудно предсказуем... Он технолог, изобрел с братом какое-то мудреное приспособление для очистки авиационного бензина, а был конкурс, и как-то все проглядели, что они полукровки, и их допустили к участию. Их проект оказался самым лучшим, мировое открытие, но рейхсмаршал насторожился по поводу их внешности — в личном деле были фотографии — и высказал опасение, не евреи ли они. А фюрер сказал, что такое блестящее изобретение могли сделать только арийцы. Евреи не способны столь

дерзостно думать. Герман — младший брат, он в их тандеме занимался коммивояжированием, очень шустр, лишь поэтому я вам его и назвал, о других качествах не осведомлен... Желтую звезду, понятно, не носит, ему выписали венесуэльский паспорт, так что особой работы от него не ждите, он из *нераздавленных*... Изобрели еще что-то, совершенно новое, но, думаю, придерживают, мерзавцы, ждут...

— Чего?

Эйхман разлил кофе по чашечкам и ответил:

— Нашей окончательной победы над врагами, Штирлиц, чего же еще?

— Шелленберг не проинформировал вас, зачем мне нужны эти люди?

— Он говорил об одном человеке...

— Но он объяснил вам, зачем мне нужен такого рода человек?

— Нет.

— И вы рекомендуете мне Вальтера Рубенау?

— Да.

— Полагаете, ему можно верить?

— Еврею нельзя верить никогда, ни в чем и нигде, Штирлиц. Но его можно использовать. Не отправь рейхсфюрер в концлагеря всю мою агентуру, я бы показал, на что способен.

— Да мы и так наслышаны о ваших делах, — усмехнулся Штирлиц, подумав: «Ну, сволочь, и выродок же ты, мерзкий, черный расист, лишивший Германию таких прекрасных умов, как Альберт Эйнштейн и Оскар Кокошка, Анна Зегерс и Сигизмунд Фрейд, Энрико Ферми и Бертольд Брехт; грязный антисемит, инквизитор, а в общем-то — серый, малообразованный выродок, приведенный всеми этими гитлерами и гиммлерами к власти; как же страшно и душно мне сидеть с тобой рядом!..»

— Что вы имеете в виду? — насторожился Эйхман.

— Я имею в виду вашу работу. Ведь концлагеря с печками — ваше дело, как не восторгаться механике такого предприятия...

— Чувствую аллюзию...

— Вы же не в аппарате рейхсминистерства пропаганды, Эйхман, это они аллюзии ищут, вам надо смотреть в глаза фактам. Как и мне, чтобы не напортачить в деле, а уж аллюзии — бог с ними, право, не так они страшны, как кажутся.

До своего первого ареста Вальтер Рубенау был адвокатом. Когда указом рейхсляйтера Гесса всем врачам, ювелирам, адвокатам, а также фармацевтам, кондитерам, сестрам милосер-

дия, булочникам, массажистам, колбасникам, режиссерам, журналистам и актерам еврейской национальности было запрещено заниматься своей работой под страхом ареста или даже смертной казни, Рубенау решил изловчиться и начал нелегальную правозаступную практику.

Через семь дней он был схвачен и брошен в тюрьму; имперский народный суд приговорил его к десяти годам концентрационных лагерей.

В сорок первом, в Дахау, он оказался в одном бараке с группой коммунистов и социал-демократов, руководителей подпольных организаций Берлина и Кельна. Он тогда *доходил*, и Вольдемар Гиршфельд спас его от голодной смерти, делясь своим пайком. В отличие от шестиконечной звезды, пришитой на лагерный бушлат Рубенау, Гиршфельд носил на спине и груди *красную* мишень, знак коммуниста. Шестиконечную звезду с него сорвал унтершарфюрер Боде, сказав при этом:

— Хоть по крови ты паршивый еврей, Гиршфельд, но, как коммунист, ты вообще не имеешь права на национальность. Мы будем целить в красную мишень, она больше размером, чем желтая.

Его застрелили «при попытке к бегству» во

время работ по осушению болота. Он и ходил-то с трудом, бегать не мог, ноги распухли, особенно в голенях, страшно выперли ребра, и плечи сделались птичьими, словно у ребенка, занимающегося в гимнастическом кружке.

Шефство над Рубенау взял Абрам Шор, член подпольного бюро кельнского областного комитета социал-демократической партии. Он, как и покойный Гиршфельд, понимал, что человек, подобный Рубенау, лишенный твердой социальной идеи, попавший в лагерь случайно, сломается, сдастся, если его не поддерживать, не влиять на него. Поэтому через коммуниста Грубера, работавшего в канцелярии, *товарищи* смогли перевести Рубенау с самых тяжелых работ на более легкие — по обслуживанию больничного барака.

С Шора тоже была сорвана шестиконечная звезда; как и большинство политических «хефтлингов», он был обречен на пулю, однако гестапо получило сведения, что его жена, коммунистка Фаина Шор, смогла уйти в Чехословакию, начала работу в Пражской «Красной помощи заключенным гитлеровских концлагерей», установила контакты с Международным Красным Крестом в Женеве, дважды ездила в Москву, в МОПР, посетила Стокгольм, встретилась с Брехтом, Пабло

Пикассо, Элюаром и Арагоном, заручилась их согласием на помощь и поддержку ее работы, дала несколько разоблачительных интервью в британской и французской прессе. Гестапо поручило своему человеку в Дахау проанализировать возможность использования Шора для возвращения его жены в рейх.

Особый представитель четвертого управления РСХА при коменданте штурмбанфюрер Ликсдорф полистал личное дело Шора, понял, что человек этот из породы марксистских фанатиков, играть с ним бесполезно; *подвел* к нему провокатора Клауса; тот, хоть и виртуозно работал, *разломать* узника не смог; когда речь заходила о жене, он немедленно замыкался.

Ликсдорф послал телеграмму на Принц-Альбрехтштрассе, в Берлин, в штаб-квартиру РСХА, с просьбой разрешить ему привлечь к работе Рубенау. Если бы Рубенау был на восьмую часть евреем, а еще лучше на шестнадцатую, и не по материнской линии, а по отцовской, ибо по-настоящему, как доказал Альфред Розенберг, национальность определяет мать, но никак не отец, тогда Ликсдорф мог привлечь его к агентурной работе на свой страх и риск, но если дело касалось четвертькровки или, более того, полу-

кровки, тогда — по указанию Гейдриха — об этом нужно было доложить высшему руководству, вплоть до рейхсфюрера. Как правило, Гиммлер запрещал привлечение таких к работе. Только один раз ему пришлось уступить Канарису, когда абвер наладил в Испании контакт с одним из членов финансового клана Марча. Сам старик Марч дал Франко огромные деньги на приобретение новейшего оружия, поставив единственное условие: после победы фалангистов великий каудильо испанской нации не разрешит погромы.

...Ликсдорф полагал, что штаб-квартира СС ответит ему отказом; так бы, впрочем, и случилось, не знай Шелленберг — тогда еще только начинавший свою карьеру *под* Гейдрихом, могучим шефом главного управления имперской безопасности, — что Фаина Шор делается по-настоящему опасной для рейха из-за того, что ее связи с Москвой, Парижем, Стокгольмом и Берном день ото дня наносят все больший ущерб рейху. Он сумел доказать Гейдриху важность операции, которая позволила бы заманить Фаину Шор в рейх, отдать ее под суд и казнить, чтобы другим коммунистическим эмигрантам было неповадно мутить воду — уехали, ну и сидите себе тихо, как мыши!

Именно поэтому Вальтер Рубенау и был за-

несен в особую картотеку лиц неарийского происхождения, допущенных к работе на чинов СС, представлявших интересы РСХА в концентрационных лагерях рейха.

Ликсдорф сначала провел арест жены Рубенау, немки Евы Шульц, и двух его детей — Евы и Пауля, десяти и семи лет от роду; узников доставили в мюнхенскую тюрьму; туда же привезли Рубенау.

Ликсдорф вызвал его в следственную камеру и сказал:

— Подойди к окну и погляди в зону для прогулок.

Тот увидел двор, разделенный на каменные мешки-секторы, обнесенные к тому же колючей проволокой, в одном из секторов гуляли его дети, одетые в огромные, не по росту бушлаты, в другом — жена.

Рубенау почувствовал звонкое, гудящее головокружение и упал.

Когда фельдшер привел его в чувство, Ликсдорф сказал:

— Хочешь, чтобы они были освобождены?

Рубенау заплакал.

— Ну? Я не слышу ответа, мразь! — крикнул Ликсдорф.

Рубенау кивнул.

— Ты готов во имя этого на все?

Рубенау молчал, продолжая, беззвучно сотрясаясь, плакать.

Ликсдорф подошел к нему, оперся на плечо, заглянул в глаза, нагнулся и еще тише сказал:

— Я не слышу ответа. Ты должен сказать «да», и тогда мы продолжим разговор. Если же ты смолчишь, то судьба твоих детишек будет решена сейчас же, на твоих глазах.

Страшная машина гестапо работала по простому принципу: даже на краю гибели человек надеется на благополучный исход. Гейдрих както заметил приближенным: «Я советую каждому из вас зайти в те отделения наших клиник, где лежат раковые больные. Понаблюдайте любопытный процесс «отталкивания», когда больной не хочет, а скорее, уже не может объективно оценивать свое состояние... Арестованный нами преступник — тот же раковый больной. Чем больнее вы ему сделаете, чем скорее вы сломите его, тем податливее он станет; он будет жить иллюзией освобождения, только умело намекните ему об этом».

— Я готов на все, — прошептал тогда Рубенау, — но сначала вы отпустите несчастных детей и жену.

— Я отпущу их в тот день и час, когда ты выполнишь то, что я тебе поручу.

— Я выполню все, я умею все, но вы обманете меня, поэтому я стану делать, что вам надо, только после того, как они будут освобождены. А если нет — что ж, убейте меня.

— Зачем же тебя убивать? — удивился Ликсдорф. — Мы их при тебе забьем до смерти, ты же знаешь, мы слов на ветер не бросаем.

И Рубенау согласился. Он получил у Шора письмо к жене, сказав, что передаст во время свидания с семьей. Тот не мог еще знать, что Рубенау уже работает на гестапо.

С Фаиной начали игру после того, как Рубенау был взят из Дахау, помещен в госпиталь, подготовлен к *работе* и затем переправлен в Прагу. Фаина Шор установила через него «контакт» с мужем. Контакт, как сказал ей Рубенау, шел по надежной цепи. Женщина согласилась на встречу с так называемыми представителями «подполья», которые занимались побегами политзаключенных. Встречу назначили на границе. Два спутника Фаины Шор были убиты, она сама схвачена, привезена в Берлин и гильотинирована вместе с мужем.

Участники этой комбинации были отмечены

благодарностями рейхсфюрера СС, однако в сумато-хе Ликсдорфа забыли; он неосторожно написал письмо Гейдриху: «Работа с полукровками не только возможна — судя по результату поездки Рубенау в Прагу, — но и необходима, мой опыт следует внедрить в другие лагеря». Гейдрих был в ярости: «Этот идиот разложен большевизмом! Он хочет частный случай возвести в принцип! Он открыто замахивается на основной постулат, гла-сящий, что национальность — суть главное, что определяет человека! Нет, работа с полукровками невозможна, а он, Ликсдорф, отравлен тлетвор-ным ядом русского классового сознания, которое было, есть и будет главным врагом нашего уче-ния, базирующегося на примате национальной идеи!»

Ликсдорф был изгнан из рядов СС; после двух месяцев тяжких объяснений его кое-как при-строили в пожарную охрану Бремена. Он запил. Во время приступа белой горячки повесился в туалете пивной, находившейся по соседству с командой, прикрепив на груди листок с буквами, написанными кровью, которую он предвари-тельно пустил из вены: «Я — жертва проклятых евреев во главе с Гитлером! Отплатите ему за жизнь погубленного арийца!»

Шелленберг за Рубенау следил. Жену и детей распорядился на время освободить из тюрьмы, разрешив им проживание в гетто; раз в месяц Рубенау вызывали на «допрос» и вывозили в город, где он, из окна машины, мог видеть семью.

За это он еще два раза принимал участие в операциях гестапо против своих единокровных братьев. Последний раз Эйхман брал его с собой в Будапешт, где вел переговоры с раввинами, которые имели контакты с Западом. Те обещали передать вермахту и СС за каждого освобожденного из концлагеря раввина по грузовику с двадцатью канистрами бензина в придачу. Эти машины Эйхман гнал в распоряжение рейхсляйтера Альфреда Розенберга, который перевозил из Германии в горы возле Линца, в шахту Аусзее, сокровища культуры, вывезенные из музеев России, Польши и Франции.

Эйхману было поручено отдать Рубенау в распоряжение Штирлица...

— Здравствуйте, Рубенау, — сказал Штирлиц, предложив собеседнику сесть на табурет, укрепленный посредине камеры. Он понимал, что его беседа будет записана от первого до последнего слова, за себя он не тревожился, ему надо было понять того, кто сидел напротив него, а поняв,

либо *обнажить* его позитивные качества для тех, кто будет прослушивать разговор, либо, наоборот, отвергнуть этого сломанного человека, ставшего агентом у тех, кто люто его ненавидел и презирал. — Моя фамилия Бользен, и я отношусь к числу немногих, кто намерен помочь вам по-настоящему. Однако сначала вы должны ответить — причем в ваших же интересах совершенно откровенно — на ряд моих вопросов. Вы готовы к этому?

— Неважно, готов я или нет, меня к этому приучили, моя семья — ваши заложники, поэтому я могу отвечать только откровенно, и никак иначе.

— Допустим. Итак, первое: кого вы ненавидите больше нас, больше моей организации, больше национал-социалистской рабочей партии Германии?

Лицо Рубенау странно дрогнуло, брови полезли на лоб, сделав его маленьким и морщинистым, как печеное яблоко, руки беспокойно задвигались на взбухших коленках.

— Вы очень странно поставили вопрос, господин Бользен...

— Рубенау, вы меня, видимо, плохо слышали. Я задал вам вполне однозначный вопрос, извольте

отвечать мне так же однозначно...

— Больше всего я ненавижу тех безответственных демагогов, которые привели Германию к кризису...

— К нынешнему?

— Что вы, что вы! Я имею в виду, конечно, кризис тридцатого года!

— К кризису тридцатого года — судя по нашим газетным публикациям — Германию привели большевики, Интернационал, евреи и американский финансовый капитал. Могу я расценить ваш ответ таким образом?

— Да, именно таким образом я и хотел ответить.

— Нет, ваш ответ я вправе толковать совершенно иначе: не будь в Германии левых и евреев или, наоборот, будь они умнее, сплоченнее и сильнее, мы бы не пришли к власти и вам не пришлось пережить столько, сколько вы пережили...

— О нет, господин Бользен, вы слишком своевольно трак...

— Вы лжете мне! Вы ненавидите нас так, как обязан ненавидеть своего мучителя несчастный мучимый. Если вы возразите мне, я прекращу собеседование, верну вас в камеру и судьбой вашей семьи придется заниматься кому-то другому, но

никак не мне. Ну?

— В первые годы моего заточения действительно меня порою посещала ненависть к тем, кто не захотел объективно разо...

— Послушайте, Рубенау, я сейчас стану вам говорить то, что вы думаете, а вы лишь кивайте мне, если согласны, или же, в случае несогласия, мотайте мне головою слева-направо... Впрочем, если вам удобнее, можете мотать справа-налево... Итак, думаете вы сейчас следующее: «Ты, нацистский ублюдок и садист, недолго тебе осталось мучить меня и мою семью, будьте вы прокляты, вся ваша банда! Будь проклят тот день, когда вы сломали меня на детях и жене, заточенных вами в тюрьму, вы же звери, вы готовы на все во имя вашей бредовой идеи! Но ничего, собаки, ничего, отольются вам мои слезы, не думайте, что я ничего не сказал людям в Праге и Роттердаме, куда вы отправляли меня! Я предупредил о вашем плане Фаину Шор, поэтому-то она и пришла на свидание в сопровождении двух своих вооруженных друзей, только ваших головорезов было больше, и они были обучены, как надо хватать в лесу на границе этих наивных подпольщиков... Ничего, собаки, ничего, в Роттердаме я тоже предупредил моих собеседников об опасности, я делал это ак-

куратно, я умнее вас, я знал, что ваше кошмарное правление так или иначе кончится крахом, я думал впрок, а вы — ослепленные своим расовым идиотизмом — не хотели думать даже на год вперед... И когда меня вывозил с собою Эйхман в Будапешт, я успел шепнуть пару слов раввину, тот все понял, меня простят, а вот никому из вас прощения не будет!»

Рубенау смотрел на Штирлица с ужасом, капельки пота выступили на лбу и на пергаментных висках, пальцы сжались в бессильные кулаки, костяшки были синие, *голодные*...

— Так справа-налево? — подтолкнул его вопросом Штирлиц. — Или — слева-направо?

— За что вы снова начинаете меня мучить? Ну за что?!

— Мучили Фаину Шор. Ее насиловали на глазах Абрама Шора, ее мужа, который кормил вас, делясь своим брюквенным супом. Ее мучили, вводя на ее глазах иглы под ногти Абраму. Но ни он, ни она не назвали вашего имени... Впрочем, это лирика, не имеющая отношения к моей работе и к вашему будущему. Когда я только что прочитал ваши тайные мысли про то, что вас могут понять и, в конечном счете, как жертву, простить, я подводил к тому, что простить нас должны двоих.

И еще некоторых моих друзей, если мы сможем сделать так, чтобы евреи, сидящие в концлагерях, не были уничтожены фанатиками. Более того, им позволят выехать в Швейцарию... Это организую, скажем, я. Или мой друг. Но контакт с людьми в Швейцарии, с вашими финансовыми тузами, обеспечите вы. Как умопостроение? Неплохо, нет?

— А семья? Что будет с моими детьми?

Штирлиц достал из ящика стола паспорт для выезда из рейха, бросил его перед собою на стол:

— Встаньте и пролистайте...

Рубенау опасливо приблизился, ищуще посмотрел на каменное лицо Штирлица, пролистал паспорт, увидел фотографию жены и двух своих детей, внимательно поглядел, есть ли швейцарская виза, убедился, что виза открыта, заплакал и сказал:

— Но в документе нет вашего разрешения на выезд.

— Неужели вы думаете, что мы отпустим их в Швейцарию до тех пор, пока я с вами не вернусь оттуда благополучно?

— Я сделаю то, о чем вы говорите, я это сделаю легко, мы вернемся, и я снова окажусь в камере, а семья в мюнхенской тюрьме!

— Нет, не окажетесь, поскольку нам предстоит принимать уважаемых господ из Швейцарии здесь, в рейхе, в отеле, и возить их по лагерям, организовывая транспорты для освобожденных, благодаря нашему с вами благородному риску. С первыми посланцами — после того как они кончат переговоры с нами — мы отправим и вашу жену...

— Нет, — резко оборвал Рубенау. — Не ее. Детей...

— Повторяю, с теми посланцами из Швейцарии, которые станут увозить освобожденных, мы отправим вашу жену. Со следующей колонной выедет ваш первый ребенок...

— Вы говорите неправду! В паспорте жены записаны оба ребенка! Как же мы сможем отправить туда Еву? Или Пауля?! У мальчика абсолютный слух, он в семь лет написал концерт, пощадите его, он же будет служить славе Германии... А вы хотите и его, и Евочку... Зачем вы лжете, говоря, что отправите их, если...

Штирлиц откинулся на спинку жесткого деревянного стула:

— Верно мыслите, Рубенау... Молодцом... Это я недодумал... Точнее говоря, недодумали те, кто готовил техническую часть операции... Завтра

днем я покажу вам новый паспорт фрау Рубенау-Шульц, на нее одну... И два документа на детей — для каждого свой...

— Хорошо, а когда же уедет второй ребенок? Пусть первым уедет Пауль: если уж суждено выжить, пусть выживет он... Когда это может произойти?

Штирлиц ответил вопросом:

— Вам газет читать не дают? И радио вы, конечно же, не слушаете?

— Нет.

— Я скажу, чтобы вам дали газеты и позволили послушать сводки с фронтов. А пока что напишите на этом листе такого рода текст: «Я, Вальтер Рубенау, согласен с предложением старшего офицера разведки Штирлица принять участие в освобождении ряда узников из концлагерей. Обязуюсь помогать Штирлицу и его руководителям во всех фазах предстоящей гуманной операции, отдавая себе отчет, что мое предательство будет означать немедленную и безусловную смерть моей семьи и мою. Рубенау». И дата.

...После этого Штирлиц вызвал конвой, отправил Рубенау в камеру, позвонил начальнику тюрьмы, поинтересовался, сможет ли тот приготовить *его* заключенному сытный обед, дать три

сигареты и два куска сахара, позвонил Шольцу и велел доложить группенфюреру, что он, Штирлиц, просил бы его принять, если можно — в ближайшее же время.

Информация к размышлению — II (ОСС)

Причина, которая побудила Москву отправить полковника Исаева в Берлин, заключалась и в том еще, что Центру стало известно то, о чем в столицах союзных государств знали всего лишь несколько человек. Причем далеко не все, что было известно руководителям разведок, докладывалось лидерам.

(Черчилль часто вспоминал, как во время своего первого визита в Москву, тревожным летом сорок второго года, когда Сталин вновь завел разговор о судьбе Гесса, о подлинных причинах его полета в Шотландию, о том, что реакция Лондона на это событие была весьма странной, он дал такой ответ маршалу, какой был заранее приготовлен его помощниками, связанными со службой разведки. Русский лидер тогда поморщился:

— Такого рода объяснение не может удовлетворить меня, потому что — я убежден — мои люди из разведки далеко не обо всем докладывают мне и, быть может, правильно делают: по закону их

профессии конспирация не есть зло, но, наоборот, необходимость.)

У Москвы были основания для того, чтобы с сугубым интересом относиться к возросшей активности американской секретной службы в Швейцарии не только потому, что возглавлял ее старый враг большевизма и брат человека, открыто заявившего себя противником президента Рузвельта — причем не в дни мира, но тревожной военной осенью сорок четвертого года, накануне сокрушительного немецкого контрнаступления в Арденнах, когда еще немецкие оккупационные части стояли в Голландии и Норвегии, Дании и Италии, Австрии и Венгрии, а Красная Армия вела кровавые бои с агрессором в Венгрии и Румынии, в Польше и Югославии.

Основания относиться с подозрением к активности Даллеса и его коллег давал анализ данных, полученных советской разведкой от тех, кто не на словах, но на деле сражался с фашизмом — на незримом, а потому самом, порою, опасном фронте.

Два факта — из ряда им подобных — давали Кремлю все основания предполагать худшее, когда речь заходила об ОСС. Эти факты не были впрямую связаны со швейцарской резидентурой

Донована, однако их изучение позволяло проецировать возможные акции европейских филиалов ОСС на Германию.

И одним из фактов, вызвавших серьезную озабоченность Москвы, был особо секретный аспект стратегии американской секретной службы на Дальнем Востоке.

...Дело в том, что в ту пору в Китае был свой «Гиммлер» и звали его генерал Тай Ли — кровавый садист, начальник секретной полиции Чан Кайши.

Человек этот был воистину всемогущим; борьба с японской агрессией заботила его мало, он понимал, что главное бремя возьмут на себя экспедиционные войска американского генерала Макартура; прежде всего — как и всякого ренегата — его занимала борьба с теми, кого он предал, с коммунистами, обосновавшимися в Янани, на севере страны.

Похищения коммунистических борцов против японского милитаризма; пытки в застенках, которые кончались тем, что арестованный либо сходил с ума, либо умирал в страшных мучениях; расстрелы инакомыслящих — это была работа Тай Ли, и он умел ее делать *всласть*.

Стратегия разведки знает три подхода к явле-

нию: первый подход — создавать такие силы, на которые затем можно будет опереться в борьбе с противником; второй — искать и находить союзников, истинных подвижников борьбы с нацизмом и японским милитаризмом; третий же подход — а его в основном и исповедовали люди Вильяма Донована — заключался в том, чтобы *подкрадываться* к сильным мира сего и обращать их в своих союзников, неважно, будь это хоть сам сатана.

Именно поэтому Карл Эйфлер, один из шефов ОСС в Индии, занятый тем, чтобы открыть надежный путь из Дели — через Бирму — в Китай, обратился к своему другу, генералу Стивеллу, командовавшему в то время американскими ВВС на Юго-Восточном театре сражения против милитаристов Японии, с просьбой об оказании ему помощи в налаживании контактов в Чунцине.

Подразделению Эйфлера, конспиративно обозначенному как «часть 101», генерал Стивелл отказал в праве передислоцироваться в Китай, но свел своего друга с давним приятелем и соперником генералом Клэром Шено, уволенным из американской армии в тридцать седьмом году и с тех пор командовавшим эскадрильей американских добровольцев, называвших себя

«летающими тиграми». Шено был военным советником генералиссимуса Чан Кайши, связи его в китайской столице были серьезны; он выучился таинству здешней кулинарии, готовил, как и полагается мандаринам, сам: женщины к священнодействию не подпускались; пил крепчайшую, теплую сладкую рисовую водку из маленьких чашечек, расписанных крысиными кистями; именно во время этих ночных пиршеств, оканчивавшихся не ранее пяти утра, и решались ключевые вопросы политики.

Эйфлер познакомился в доме Шено с некоторыми сановниками правительства Чан Кайши, легко коснулся вопроса об организации своих представительств на Филиппинах, в Таиланде и — в будущем — в Корее, так же легко прозондировал возможность контакта с генералом Тай Ли, но, заметив брезгливость на лицах собеседников, от продолжения разговора уклонился; на том и расстались; спешить надо во время соревнований, разведка — особенно в изначалии операции — медлительна, надо обсмотреться, а уж затем наступит сладкая пора *прилаживания*.

После этого зондажа Донован отправил в Чунцин своего доверенного агента профессора Эссона Гэйла.

— Вы должны создать в китайской столице подпольный аппарат ОСС, — напутствовал ученого «дикий Билл». — Это не значит, конечно же, что вы обязаны заниматься изматывающей душу бюрократической деятельностью; я жду от вас лишь того, чтобы вы сделались в Чунцине своим человеком, пусть вас перестанут бояться, это — главное.

Гэйл поначалу отлеживался в том особняке, который ему помогли арендовать военные, завистливо интересовавшиеся, кто ему платит такие огромные деньги за дом и обслугу; по прошествии месяца, когда процесс акклиматизации — в прямом и переносном смысле — закончился, профессор истории нанес ряд *укольных* визитов, результатом которых оказался постоянный контакт с воспитанным в США доктором Кунгом — министром финансов, братом очаровательной и могущественной «мадам генералиссимус».

После того как знакомство перешло в содружество, профессор Гэйл получил от Донована шифрованную телеграмму, в которой «дикий Билл» рекомендовал сосредоточиться именно на этом контакте, никаких других шагов, вплоть до указаний из Вашингтона, не предпринимать.

Донован не зря рекомендовал Гэйлу постепен-

ность: именно в это время он отправил в Китай своего второго суперагента, в прошлом корреспондента «Юнайтед пресс» в Шанхае, а ныне офицера ОСС Аллана Лусэя. (Отношения Донована с этим человеком были особенно доверительными, ибо, до того как перейти в ОСС, Лусэй работал в «отделе информации» Шервуда, самого близкого президенту человека. Сотрудничая с либералом Шервудом, бывший ас журналистики был тем не менее душою с Донованом.)

Прибыв в Чунцин, Лусэй нацелился на капитана ВМС США Милтона Майлса, который был давно дружен именно с тем человеком, который более всего интересовал Донована, — с генералом Тай Ли. Те два агента ОСС, отправленные в Поднебесную до того, как туда прибыл Лусэй, должны были продемонстрировать шефу китайского гестапо (честные американские разведчики, работавшие в ОСС не для того, чтобы помогать корпорациям налаживать опорные точки в послевоенном мире, но искренне ненавидевшие нацизм и милитаризм, сообщали в центр: «Тай Ли — не Канарис, он — Гиммлер, контакты с ним позорны для американской демократии»), что Вашингтон имеет альтернативу: у него уже есть ключ — через министра финансов — к жене

генералиссимуса, из окружения генерала Шено — к высшим сановникам правительства и штабу ВВС Китая; для Тай Ли, таким образом, настал час сделать выбор: или он начинает работать с ОСС и на ОСС, или Вашингтон продолжит свою активность с теми сановниками, о которых уже знал «китайский Гиммлер».

После того как Майлс свел Лусэя с Тай Ли и они провели за ужином чуть ли не полночи, легко беседуя о жизни, обсуждая вопросы истории (особенно много Тай Ли говорил об ужасе наркомании, о безумстве «опиумной» войны европейцев против его народа; Лусэй, однако, знал, что именно Тай Ли организовал двенадцать секретных баз, где заключенные выращивали опиум для контрабандной торговли; после сбора *урожая* несчастных ликвидировали — секретность прежде всего), из Вашингтона поступил приказ — дальнейшие контакты с «китайским Гиммлером» прервать, «рыба заглотнула крючок, нельзя торопить события, пусть Тай Ли проявит активность».

Вскоре в Чунцин прибыл новый посланец Донована, профессор Мичиганского университета Джозеф Хейден, в прошлом корреспондент «Кристен сайенс монитор».

Хейдену было предписано не входить в контакт ни с кем из тех, кто уже оказался включенным в орбиты предыдущих посланцев ОСС: «только аккуратный зондаж в самом близком окружении Чан Кайши».

Однако Хейден копнул глубже других: он доказал наличие сильных антианглийских настроений среди тех, кто планировал политику генералиссимуса; самым ярым противником Лондона оказался именно Тай Ли, который, как выяснилось, в сорок первом году был арестован британцами в Гонконге за то именно, что он являл собою тип истинного нациста, его симпатии были явно на стороне Гитлера и он загодя готовил контакты со службой Канариса, чтобы в удобный момент предать союзников. Только вмешательство генералиссимуса помогло «китайскому Гиммлеру»: он был освобожден, но с той поры сделался фанатичным противником Черчилля.

ОСС это устраивало.

Хейден сообщал в своих шифровках Донована, что «антианглийская карта» может и должна быть разыграна, Тай Ли готов к вербовке, необходима санкция на действие.

Донован, верный своей методе «разделять и властвовать», разрешил полет профессора Хейде-

на в Австралию, в штаб генерала Макартура; он хотел зафиксировать отношение свирепого генерала, весьма ревниво относившегося к секретной службе, к той идее, которую пытался провести в жизнь его агент. Донован знал заранее, что Макартур откажет Хейдену; этот отказ позволял «дикому Биллу» начать интригу в Вашингтоне; он был готов к ней, он ждал лишь того момента, когда Хейден — если только не умрет от разрыва сердца после приема у Макартура — сообщит ему о провале своей миссии.

Хейден не умер, хотя два дня пролежал в постели — подскочило давление; доктор из штаба делал ему инъекции дважды в день; его обращение к Доновану было выдержано в драматических тонах, что и требовалось для интриги; более всего «дикий Билл» ценил такую *работу*, в которой его агенты *втемную* делали то, что ему было нужно, не догадываясь даже, что события, в которые они оказались вовлеченными, были срепетированы заранее, *проиграны* ближайшими сотрудниками Донована и просчитаны вперед на много ходов.

Донован отправился с этими шифровками к военно-морскому министру Ноксу, посетовал на то, что армия — в лице достойнейшего Макартура — просто-таки третирует разведку, ибо штабистов

не интересует Китай, поскольку будущее этой страны обязана гарантировать не армия, но флот и авиация Штатов, и попросил Нокса о помощи.

Тот, не зная, понятно, кто такой Тай Ли, не вникая в сущность *персоналий* (как всякий «истинный американский патриот», он считал, что мир начинается и кончается в Америке, все остальное — окраины Вселенной), отправился в Белый дом и, не упоминая — по просьбе Донована — источник информации, обратился к президенту с просьбой поддержать флот в организации серьезной разведывательной базы в Китае, против чего весьма легкомысленно возражает армия в лице Макартура.

Президент, не подозревая, что задумал Донован, не мог не поддержать просьбу Нокса: борьба против Японии предстоит долгая и кровавая, без хорошо налаженной разведки победа невозможна.

Через час Донован получил «добро» на действие.

Через два часа об этом знали его агенты в Чунцине. Через две недели в китайской столице было создано «САКО» — «Китайско-американская корпорация».

Генеральным директором был утвержден

«чунцинский Гиммлер», маньяк и садист Тай Ли, его заместителем — капитан Милтон Майлс; чтобы ублажить адмирала Нокса, капитан Майлс сделался одновременно начальником морской группы «Китай» — в составе этой же разведывательной корпорации.

Итак, впервые в Китае под одной крышей начали работать фашистские костоломы генерала Тай Ли и борцы за демократию из ОСС.

Получив такого рода агента, как Тай Ли, люди Донована сразу же предприняли следующий шаг: офицер ОСС Дэвид Хэллвил, один из шефов текстильной промышленности Нью-Йорка, и офицер ОСС Илья Толстой отправились в столицу Тибета Лхасу, были приняты там далай-ламой и договорились об организации в этом таинственном городе постоянно работающей радиостанции ОСС.

Тай Ли выразил свое неудовольствие, однако дело было сделано; когда же Донован обратился к нему с просьбой разрешить организацию в китайской столице филиала отдела моральных операций, генерал неожиданно встал на дыбы.

— Пропаганда — самое острое оружие разведки, — сказал он агенту ОСС Герберту Литтлу, прибывшему к нему для беседы из Вашингтона. — Я

не могу выпустить это оружие из моих рук, тем более у вас работают левые, а я их предпочитаю видеть в гробу, а не за столом.

Пили всю ночь. Наутро Литтл и Тай Ли уединились в маленьком домике, который служил генералу кабинетом для особо важных занятий. Оттуда они вышли, когда солнце уже светило вовсю. Подробности беседы неизвестны поныне, размер взятки, полученной «китайским Гиммлером», не был зафиксирован в расходных книгах ОСС; деньги Донована были бесконтрольны, корпорации не скупились; в этот же день Тай Ли подписал приказ об аккредитации в Чунцине штаб-квартиры МО ОСС; он «выпустил мощное оружие разведки» из своих рук, получив за это анонимный счет в банке Базеля.

А уже после этого, в Каире, куда Рузвельт пригласил Чан Кайши для консультаций по поводу встречи со Сталиным и Черчиллем в Тегеране, Донован тайно встретился с китайским ренегатом и в обычной своей открыто-грубоватой манере сказал:

— Генералиссимус, мои люди будут работать в Китае, хотите вы того или нет. Можете отстреливать их по одному, можете бить всех скопом — прилетят новые, игра сделана, выбора у вас

нет, лучше вам довериться мне, чем заполучить в моем лице врага...

И Донован отправил в Чунцин полковника Джона Гоглина.

Прилетев в Китай с рекомендательными письмами от кадровых офицеров ОСС — асов журналистики братьев Джозефа и Джона Олсопов и знаменитого режиссера Мэриана Купера, создателя фильмов о легендарном «Кин-Конге», Гоглин посетил советников Чан Кайши и попросил их повлиять на генералиссимуса в том плане, чтобы с его стороны не было возражений против контактов ОСС с партизанами.

— Опыт событий во Франции и Италии доказывает, — убеждал Гоглин, — что именно коммунисты и партизаны являются ведущей силой в борьбе против агрессоров, хотим мы того или нет. Не зная их, не имея с ними надежных контактов, мы рискуем тем, что не сможем загнать этих джинов в бутылку, когда кончится война; надо думать впрок, мы не боимся работать даже с сатаной, только б бог был с Америкой!

Чан Кайши был вынужден согласиться с тем, чтобы «авиационный технический отряд № 5329» — так была закодирована новая бригада ОСС — отправился на север Китая, на границу с

СССР. Возглавлял это «предприятие» полковник Дэвид Баррет из военной разведки, а курировал двадцатипятилетний капитан Джон Коллинг, представлявший интересы «Ферст Нэшнл Сити Бэнк» в Гонконге. Вместе с ними на север отправились капитан Вилфред Смит и капитан Чарлз Стелле[15]...

Об этом факте знали в Москве и не могли не относиться к этой активной разведывательной деятельности на наших восточных границах без оправданного подозрения.

Знали в Москве и о втором факте — о том, как американская секретная служба вела борьбу против патриотов сражающейся Франции во главе с де Голлем.

...Когда пала Франция, Гитлер вошел в Париж и престарелый маршал Петэн, предавший идеи великого народа, отдал власть в Виши коллаборанту Жану Дарлану, адмиралу, не принимавшему участия ни в одном морском сражении, в неоккупированную еще часть страны срочно прилетел посол США адмирал Вильям Леги[16] в

---

15 Примечания: 15

Чарлз Стелле — впоследствии заместитель директора ЦРУ.

16 Примечания: 16

Вильям Леги — впоследствии представитель президента Трумэна в Объединенном штабе разведок США.

сопровождении военного атташе полковника Роберта Шоу[17] и советника по вопросам культуры Роберта Мэрфи[18] давнего и близкого сотрудника Донована, числившегося тем не менее «карьерным дипломатом»; его связи с ОСС были тайной для государственного департамента.

Именно он и начал секретные консультации с губернатором Северной Африки генералом Максимом Вейганом. Смысл переговоров заключался в том, чтобы организовать помощь продуктами и одеждой населению французских колоний, оказавшихся в ужасном состоянии после поражения и капитуляции. Однако Мэрфи обусловил эту помощь тем, чтобы Виши разрешило США направить своих представителей в Алжир, дабы американские продукты не попали в «нечестные» руки.

Понятно, дело было не в том, чтобы следить за тем, кому попадет яичный порошок и сухие галеты: просто-напросто американцы должны

---

17 Примечания: 17

Роберт Шоу — впоследствии заместитель директора ЦРУ, а после — начальник военной разведки США.

18 Примечания: 18

Роберт Мэрфи — впоследствии посол США в Бельгии и Японии, потом заместитель государственного секретаря США, а уж затем — будучи президентом корпорации «Горниг гласс интернэшнл» — член «президентского совета по разведке».

были организовать разветвленную разведывательную сеть на севере Африки, понимая, что Гитлер вполне может готовить вторжение с целью запереть Средиземное море и сделать его нацистским «озером».

Изначальная идея ОСС была разумной и благородной, ибо, судя по всему, должна была работать на дело борьбы против Гитлера.

Правительство Виши пошло на условия Мэрфи, и в начале июня 1941 года двенадцать «продовольственных советников» высадились в Касабланке и Алжире, несмотря на открытое неудовольствие Канариса, Риббентропа и Гиммлера. Впрочем, поскольку между США и рейхом тогда еще сохранялись нормальные дипломатические отношения, дело и ограничилось выражением неудовольствия, всего лишь.

В декабре 1941 года, когда Красная Армия нанесла первое сокрушительное поражение Гитлеру под Москвой, Рузвельт и Черчилль встретились в Вашингтоне. Именно тогда впервые встал вопрос о высадке союзного экспедиционного корпуса в Северной Африке. Поначалу эта операция планировалась как помощь восставшим французам. Мэрфи уполномочили обратиться к Вейгану с предложением взять на себя миссию команду-

ющего армией французского Сопротивления, несмотря на то что в Лондоне активно работал де Голль, а в самой Франции в подполье героически сражались коммунисты; однако ни к де Голлю, ни к коммунистам не обратились — взор представителей монополий в ОСС был обращен на консерватора, человека дремуче-монархических убеждений.

Понятно, Вейган отказал: «Я не могу предать моего друга Петэна — этот герой Франции не заслуживает того, чтобы его покидали в трудные дни».

Мэрфи начал искать нового человека, чтобы провозгласить его главой «патриотической борьбы» французского народа Северной Африки. Ему помогли люди Ку-клукс-клана, зоологически ненавидевшие негров и арабов; они-то и назвали своего кандидата — крупного предпринимателя, обосновавшегося в Алжире, Жака Лемегра-Дебрюи. Главное достоинство его состояло в том, что он был близок к французским фашистам — кагулярам, которые в свое время пытались поднять вооруженное восстание против социалистического правительства Леона Блюма, получая оружие и деньги от гитлеровского агента в Париже Отто Абеца.

Поскольку на повестке дня стояла высадка союзников в Северной Африке, Донован отправил в Касабланку и Танжер своих наиболее доверенных агентов.

Первым был капитан Роберт Солборг; сын польского генерала, служившего в царской армии, он, после ранения на германском фронте, был отправлен в русскую военную миссию в США; здесь его застала революция; будучи убежденным монархистом, в Россию он не возвратился, получил американское гражданство, стал военным атташе США в Париже, затем принял приглашение корпорации «Армко стил» и сделался ее представителем во Франции; после капитуляции Парижа часто путешествовал по Германии со своим американским паспортом, но рапорты отправлял не в Вашингтон, а в Лондон, в МИ-6 — секретную службу империи; Донован пригласил его в ОСС и отправил руководить резидентурой в Лиссабоне. Именно оттуда в феврале 1942 года Солборгу и было поручено, связавшись с Мэрфи, начать контакты с французским и арабским подпольем в Северной Африке, чтобы готовить почву для вторжения союзников.

Вторым агентом Донована был герой первой мировой войны полковник Вильям Эдди. Вос-

питанный в Сирии, великолепно говоривший по-арабски, он имел громадные связи в Танжере, Тунисе и Алжире. В течение нескольких месяцев Эдди сумел подготовить дворцовый переворот в Тунисе, следствием которого был бы приход нового премьера, ставленника Америки, однако Мэрфи, *игравший* вместе с Солборгом фашиствующих кагуляров, торпедировал эту идею, хотя Донован уже выплатил Эдди пятьдесят тысяч долларов на подкуп родственников тунисского лидера, готовых расстрелять своего единокровца.

— Кагуляры во главе с Лемегром не простят нам вторжения в дела французских колоний, — сказал Мэрфи Доновану. — Нам сейчас важнее получить французов, чем играть в дворцовые арабские игры: пусть расстрелами занимаются кагуляры, они это умеют, нам пока что следует быть в стороне...

Пятьдесят тысяч долларов списали в убыток, премьера оставили до поры до времени сидеть в своем дворце и спать с семью молодыми женами, а всю работу сосредоточили на том, чтобы вооружить французскую армию в Северной Африке и поднять ее на восстание против немцев, провозгласить французское правительство в изгнании

и, таким образом, *задавить* как де Голля, так и коммунистическое подполье в Париже.

Донован выделил на этот проект миллион долларов; помогли корпорации, особо заинтересованные в послевоенных связях с Африканским континентом.

Деньги получены, включен счетчик, необходим лидер.

Именно в ту пору сделался популярным генерал Анри Жиро, только что бежавший из германской тюрьмы; он жил нелегально во Франции.

Однако как раз тогда Пьер Лаваль, в прошлом заявлявший себя как левый министр, переметнулся к гитлеровцам, выступил по радио Виши с погромной речью, потребовал издания еще более жестких антисемитских законов и был приведен людьми Шелленберга и Скорцени к власти; Дарлан получил пост военного министра, а затем был вообще вытеснен в Северную Африку вместо престарелого Максимилиана Вейгана.

И тогда, забыв имя генерала Жиро, Донован принял решение: как и в Китае, — играть «состоявшуюся карту», то есть искать ключи к коллаборационисту и изменнику Дарлану.

Естественно, Рузвельт не знал и не мог знать об этой игре ОСС: ему представили доклад, из

которого со всей очевидностью явствовало, что де Голль слишком своенравен и неуправляем. Поддерживая его, Штаты будут — вольно или невольно — способствовать колониальным претензиям Лондона и Парижа; Африка по-прежнему останется закрытой зоной для американского «демократического эксперимента»; Жиро — слишком «военный», с ним не сговоришься.

Впрочем, Донован поставил свое *дело* так, что ему не требовалось одобрения; достаточно того, что президент *проинформирован*; вопрос доверия — вопрос вопросов большой политики.

Тем не менее уже после того как ОСС «поставило» на предателя Дарлана, Розенборо, агент Донована, зондирующий контакт с людьми де Голля, убедился, что единственно серьезной фигурой из всех тех, кто возглавлял борьбу французов за рубежом, является де Голль.

Штаб планирования ОСС поддерживал мнение Розенборо, ибо этому подразделению было позволено все, кроме одного: люди, конструировавшие политику, не имели права лгать — пусть самая горькая правда, но правда, только правда, ничего кроме правды...

Тогда агент ОСС Шепард начал более предметные переговоры с левым, примкнувшим к

голлистам, — Эммануэлем д'Астье де ля Вижери. Тот прибыл в Лондон с юга Франции.

— Мы, те, кто сражается с оружием в руках за свободу Франции, никогда не позволим себе пасть до того, чтобы войти в контакт с Дарланом. Даже достойный уважения Жиро не может стать лидером сражающейся Франции, поскольку все мы признаем лишь одного человека — Шарля де Голля.

Но Донован решил ни в коем случае не отступать от намеченного плана; упорство, однако, полезно живописцу, следующему правде натуры и цвету; политик, слепо придерживающийся выбранной линии, рано или поздно обречен на проигрыш; умение вовремя переориентироваться — удел талантов; Донован был способным разведчиком, но талантливым политиком — никогда.

К Розенборо и Шепарду не прислушались, людям из отдела планирования было рекомендовано «не суетиться под клиентом»: задуманное Донованом следует осуществить — и точка.

Де Голлю было запрещено сообщать о дате предстоящей высадки союзников на Севере Африки.

Офицерам ОСС предложили воздержаться от дальнейших контактов с его людьми.

Генерала Жиро тайно везли из Франции на Север Африки; тем не менее его высадили из подводной лодки в Гибралтаре лишь на следующий день после того, как англо-американцы высадились в Африке.

Жиро торжественно приветствовали командующий экспедиционной армией союзников Эйзенхауэр и майор ОСС Леон Достер.

Однако Жиро ошеломил Эйзенхауэра требованием немедленной высадки союзников на юге Франции и передачи верховного командования ему, новому лидеру.

Тогда-то Мэрфи встретился в Алжире с петеновским верховным комиссаром Дарланом и предложил сделку: он, пронацист, предатель Франции, черный антисемит и гитлеровский симпатик, объявляет перемирие с высадившимися англо-американскими войсками и, пользуясь поддержкой ОСС, провозглашает себя диктатором Севера Африки.

Анри д'Астье де ля Вижери, брат Эммануэля, подпольщика, связанного с левыми в оккупированной Франции, был начальником секретной полиции у Дарлана. Кагуляр, — но не фашист по убеждениям, а роялист, — он начал готовить заговор против Дарлана.

Молодой монархист Фернан Бонье де ля Шапель убил Дарлана; через двадцать восемь часов он был расстрелян; просьбу о помиловании отменил генерал Анри Жиро.

На следующий день Жиро назначил одного из самых реакционных петеновских генералов на пост главы чрезвычайного трибунала по расследованию обстоятельств убийства Дарлана.

А после этого санкции обрушились на голлистов с сокрушающей силой.

Все те, кто поддерживал генерала де Голля и его «Свободную Францию», были схвачены и отправлены в концентрационные лагеря на юг Алжира, в пустыню.

...Так, перешагнув через трупы многих политических деятелей, офицеры Донована шли к своему могуществу.

Ступени, по которым ОСС шагала к могуществу, были сложены из трупов политических деятелей.

— Ребята, — повторял Донован, — все можно, абсолютно все, если только это действительно на пользу Америке...

На «пользу Америке», тем ее корпорациям, которые мечтали о владычестве в послевоенной Германии, был Гиммлер с его аппаратом

подавления, поэтому Центр весьма внимательно наблюдал за каждым шагом Донована и его головного отряда в Берне.

Исаев поэтому и должен был оказаться той лакмусовой бумажкой, которая быстрее всего могла прореагировать на происходящее и передать сигнал тревоги из Берлина.

«Берлин. Юстасу.

Срочно сообщите о судьбе обергруппенфюрера СС Карла Вольфа. По нашим сведениям, он вернулся в Северную Италию. Так ли это?

Центр».

Последняя игра

После того как Мюллер уверился в том, что Штирлиц связан с Москвою, он до конца понял, как ему следует поступать, ибо его план работы против Кремля состоял из нескольких фаз, впрямую друг с другом не связанных, но, тем не менее, подчиненных единому генеральному замыслу.

Поэтому, встретив Штирлица, он сказал:

— Дружище, подите-ка к себе и переоденьтесь. У вас в шкафу есть вечерний костюм, не так ли?

— Ваши люди даже подкладку пороли, смотрели, не держу ли я чего-либо в ватных плечиках, — ответил Штирлиц. — Предупредите, чтобы зашивали теми же нитками, я зоркий, группенфюрер, привык замечать мелочи.

— Распустились, — вздохнул Мюллер. — Накажу. Я ведь их лично инструктировал по поводу ниток.

— И что мы станем делать в вечерних костюмах?

— Слушать музыку, — ответил Мюллер. — Рейхсминистр военной экономики доктор Шпеер дал указание, чтобы электростанция снабжала

светом зал филармонии; он благоволит музыкальному директору Герхарду фон Вестерману, даже с Геббельсом поссорился: тот приказал всех оркестрантов забрать в «фольксштурм», а Шпеер любит музыку. Сегодня дают концерт этого самого... боже, вылетело имя... ну, глухой старик...

— Бетховен, — сказал Штирлиц, тяжело посмотрев на Мюллера. — Он умер, когда был почти одного возраста с вами, вы же себя стариком не называете...

— Не обижайтесь, Штирлиц, это сентиментализм, а он мешает нашей работе...

— Вечерний костюм я надену, но без пальто мы в филармонии окочуримся, группенфюрер...

— Откуда знаете?

— Я бываю там два раза в месяц, забыли?

— Не считайте, что я постоянно держу для вас личную охрану, Штирлиц. За вами смотрят только тогда и лишь там, где это целесообразно.

...Мюллер сдал свое пальто в гардероб, где у вешалок стояли инвалиды, только-только выписавшиеся из госпиталей; те древние старики в черных униформах с золотыми галунами, к которым так привыкли берлинцы, поумирали от голода и холода; инвалиды работали неумело, роняли номерки, кряхтя и морщась от боли,

поднимали их, бормоча под нос ругательства; впрочем, разделось всего человек тридцать, да и те — заметил Штирлиц — пришли на концерт, поддев под пиджаки и фраки меховые курточки.

Мюллер усаживался в кресло обстоятельно. Это его усаживание показалось Штирлицу до того отвратительным, что он с трудом удержался от желания демонстративно отодвинуться.

Мюллер словно бы понял затаенное желание Штирлица и улыбнулся, заметив:

— Выдержка у вас могучая, я бы на вашем месте рявкнул...

Когда начали «Эгмонта», Штирлиц сразу же вспомнил, как в Париже, в сороковом году, в отеле «Фридман» на авеню Ваграм он настроился на московскую радиостанцию «Коминтерн» и поймал передачу из Большого зала консерватории, когда в музыкальной поэме от автора читал Василий Иванович Качалов, а дирижировал Самуил Самосуд.

Штирлиц подумал тогда, что русская режиссерская мысль далеко обогнала немецкую; впрочем, тяга музыкального искусства рейха к хоровым решениям классики, боязнь появления на сцене *личности*, желание сбить всех в кучки и поставить во главе каждой функционера НСДАП

сыграло злую шутку: во время владычества нацистов были построены великолепные автострады, мощные станки, сверхскоростные самолеты, но не было создано ни одной книги, которая бы перешагнула границы тысячелетнего рейха, ни одного фильма, оперы, симфонии, картины, скульптуры, которые бы вызвали интерес мировой общественности; нацизм с его *гребенкой*, с призывами к следованию традициям (толком никому неведомым), с его ненавистью к поиску новых форм обрек народ мыслителей и поэтов на духовное нищенствование. Лишь молодой Герберт фон Караян, которому благоволил Гитлер, позволял себе быть оригинальным — его манера дирижирования отличалась от всех. Когда Геббельс заметил, что такого рода аномалии пора положить конец — разлагает других музыкантов, толкает их к грани всепозволенности в самовыражении, — Гитлер возразил:

— Караян в музыке подражает моей манере говорить с нацией. Не мешайте ему быть самим собой, в конце концов он пропагандирует только великих немцев; насколько мне известно, он не включает в свои концерты ни Чайковского, ни Равеля.

Слушая в Париже, оккупированном гитлеров-

цами, *русского* «Эгмонта», Штирлиц испытывал тогда высочайшее чувство гордости — даже в горле першило — от того, что именно его революция, его Россия сообщила миру такой невиданный в истории человечества *полет* поиска в искусстве, какой был разве в лучшие годы Эллады и Возрождения.

Он вспоминал Маяковского, Эйзенштейна, Шостаковича, Кончаловского, Прокофьева, Яшвили, Есенина, Дзигу Вертова, Радченко, Пастернака, Коровина, Блока, Эль Лисицкого, Таирова, Мейерхольда, Шолохова, он вспоминал фильмы «Чапаев», «Мать», «Мы из Кронштадта», «Веселые ребята», которые триумфально покатились по миру. Какому искусству выпадала еще столь завидная доля — в течение десяти лет дать такое количество великих имен, которые, в свою очередь, родили своих последователей в мире?!

...Мюллер склонился к Штирлицу, заметив:

— Эгмонт явно тяготеет к большевизму, отказывается от компромисса.

— А разве член НСДАП может идти на компромисс с врагом?

— Я бы немедленно принял предложение палачей, — шепнул Мюллер и странно подмигнул Штирлицу.

Концерт прервали через десять минут: начался налет англичан — гул их «москито» берлинцы узнавали сразу же.

Возвращаясь пешком на Принц-Альбрехт-штрассе, Мюллер долго вышагивал молча, а потом сказал:

— Послушайте, дружище, вы — умный, вы все поняли верно и про мою попытку сблокироваться со всеми теми, кто думает о мирном исходе битвы, и про новые отношения между мною и вашим шефом, но главного вы не знаете. И это бы полбеды... Главного не знаю я, поэтому я и вытащил вас послушать, как на сцене голосят голодные хористки. Работая много лет в том кабинете, который вам теперь хорошо известен, я отучился верить людям, Штирлиц. Я не верю даже себе, понимаете? Нет, нет, это правда, не думайте, я сейчас не играю с вами... Рубенау, Дагмар, *возобновление* прерванных переговоров — зачем все это?

— Видимо, для того, чтобы продолжить переговоры.

Мюллер досадливо махнул рукой:

— Переговоры идут постоянно, Штирлиц, они не прерывались ни на минуту... Шелленберг еще в сорок четвертом году летал в Стокгольм и в оте-

ле «Президент» вел беседу о сепаратном мире с американцем Хьюитом... Он *уже* устроил встречу экс-президента Швейцарии доктора Музи с Гиммлером. И было это не вчера, и не через Рубенау, а пять месяцев назад, накануне нашего удара по англо-американцам в Арденнах, когда те покатились назад. И они договорились. И Гиммлер позволил вывезти из наших концлагерей богатых евреев и знаменитых французов. Понимаете? Договорились. И Шелленберг пришел ко мне — после звонка Гиммлера — и получил у меня право на освобождение двух тысяч пархатых и французиков. Но потом мы ударили, и союзники побежали, и Гиммлер прервал все контакты с Музи, только Шелленберг продолжал суетиться — у меня в досье лежат об этом все документы... А после того как в январе Сталин начал наступление под Краковом и спас американцев, поскольку мы должны были перебросить с Запада наши части против Конева, рейхсфюрер снова встретился с Музи — и было это в Шварцвальде, возле Фрайбурга, двенадцатого февраля, до того еще как вы отправились в Швейцарию — и подписал новый договор... Понимаете? Подписал договор, по которому обязался каждые две недели освобождать тысячу двести богатых евреев и отправлять их в

вагоне первого класса в Швейцарию. А еврейские финансисты взамен этого пообещали прекратить антигерманскую пропаганду в тех газетах Америки, которые они контролируют... Ах, если бы Гитлер сговорился с ними три года назад! Если бы... Эти финансисты обязались платить золото Международному Красному Кресту через экс-президента Музи, а тот в свою очередь покупает нам на эти деньги бензин, машины и медикаменты... И они уже идут в рейх, поэтому стали снова летать наши самолеты, Штирлиц, поэтому мы с вами до сих пор ездим на своих машинах... Более того, Гиммлер заключил пакт с американскими евреями из банков, который дает ему право на защиту, потому что, как выясняется, именно он, рейхсфюрер СС, осуществил спасение несчастных, обреченных маньяком Гитлером на уничтожение, пусть за него замолвят словечко... И ведь замолвят, поверьте...

Штирлиц покачал головой:

— Не считайте мир беспамятным...

Мюллер горестно усмехнулся:

— Памяти нет, Штирлиц. Запомните это. Дайте мне право редактировать «Фелькишер беобахтер» и «Дас шварце кор», а также составлять программы радиопередач, и я в течение месяца

докажу немцам, что политика антисемитизма, проводившаяся ранее, была вопиющим нарушением указов великого фюрера — он никогда не звал к погромам, это все пропаганда врагов, он хотел лишь одного: уберечь несчастных евреев от гнева их конкурентов. Память... Забудьте это слово... Злопамятство — да, но это качество к понятию «память» никакого отношения не имеет, лишь к темной жажде мести... Так вот, этот договор Гиммлера мы все-таки смогли поломать... То есть что значит «мы»? Кальтенбруннер, не я, по мне пусть еврей станет канцлером, все проиграно, будь что будет... Кальтенбруннер, мне сдается, имеет свои источники информации по поводу того, что происходит на Западе и в окружении Гиммлера... Словом, я сделал так, что была перехвачена французская шифровка в Мадрид о переговорах Музи с Гиммлером, и Кальтенбруннер, естественно, сразу же доложил ее фюреру. А тот отдал приказ: «Каждый, кто помогает еврею, англичанину или американцу, сидящему в лагере, подлежит расстрелу без суда и следствия».

— А если б речь шла о польских, французских или югославских узниках?

— Штирлиц, надо ставить вопрос так, как он сформулирован у вас в голове: «Что было бы, если

б речь зашла о русских заключенных?» Вы ведь это хотели спросить? Ответ вам известен заранее, не прикидывайтесь, вы прожженный.

— Как раз эта игра выходит именно у прожженных, — заметил Штирлиц.

Мюллер остановился, достал платок, высморкался и лишь потом рассмеялся.

— После налетов, — сказал он, все еще улыбаясь, — особенно весной, в Берлине пахнет осенним Парижем. Только там жарят каштаны, а у нас человечину... Но двинемся в нашем рассуждении дальше, я заинтересован в том, чтобы послушать ваше мнение обо всем происходящем, Штирлиц... Дело в том, что Шелленберг склонил к сотрудничеству обергруппенфюрера Бергера, начальника нашего управления концлагерей, и тот обязался не выполнять приказ Гитлера об эвакуации, то есть, говоря прямо, о тотальном уничтожении всех узников. И Музи знает об этом от Шелленберга. Но он не просто знает об этом: он выполнил просьбу вашего шефа, и посетил Эйзенхауэра, и передал ему карту, на которую нанесено расположение всех наших лагерей... Наносил их туда Шелленберг... Лично... И он же — видимо, получив от американцев индульгенцию — пытается сейчас освободить из лагеря французского ми-

нистра Эррио, его коллегу Рейно и членов семьи генерала Жиро... Кальтенбруннер запретил мне выпускать их, и я сказал об этом вашему шефу, и он сейчас обламывает Гиммлера, который боится принять решение — он раздавлен своим страхом перед фюрером... Вот так-то, Штирлиц... И со Швецией все катится как по маслу... У меня уже два месяца лежит перехваченный текст телеграммы шведского посла Томсена к Риббентропу о желании графа Бернадота встретиться с Гиммлером, именно с Гиммлером... Я знаю, что Риббентроп присылал к Шелленбергу своего советника доктора Вагнера; тот спрашивал, что все это значит; ваш шеф, естественно, ответил, что ему об этом ничего не известно, хотя именно его люди *подползли* к Бернадоту и натолкнули его на мысль о встрече с рейхсфюрером... Риббентроп обратился к Гиммлеру, тот ответил, что Бернадот — могучая фигура, но пусть с ним беседует он, Риббентроп, а сам приказал Кальтенбруннеру отправить к фюреру Фегеляйна[19] с просьбой о санкции на контакт со шведом. Гитлер выслушал своего родственника и отмахнулся: «В период тотальной битвы нечего думать о застольной болтовне с чле-

19 Примечания: 19

Фегеляйн — группенфюрер СС, был женат на сестре Евы Браун, являлся личным представителем Гиммлера при ставке Гитлера.

нами королевских фамилий»... Но Шелленберг все равно сделал так, что Бернадот, не дожидаясь ответа Риббентропа, прилетел в Берлин. И встретился с Риббентропом, Шелленбергом и... С кем бы вы думали? С Кальтенбруннером. И снова попросил аудиенции у Гиммлера, подчеркивая при этом, что его особо волнует судьба Дании, Норвегии и Голландии... И Шелленберг отвез Бернадота к Гиммлеру в его особняк в Хохенлихен... И они договорились, чтобы все датские и норвежские заключенные были — в нарушение приказа фюрера — собраны в один концлагерь на севере Германии. И за это люди из Швеции стали поставлять бензин нашей армии и СС... Так вот я и спрашиваю, зачем Шелленберг втягивает вас в странную игру, говоря, что он намерен *восстановить* прерванные контакты?

...Мюллер — до вчерашнего дня, до очередной встречи с Шелленбергом — не знал об этих переговорах всей правды; какая-то часть информации поступала ему, понятно, но, готовясь к *игре* со Штирлицем, не открывая карт Шелленбергу, он попросил «милого Вальтера» объяснить ему ситуацию более подробно. Шелленберг, заинтересованный в добрых отношениях с Мюллером, не догадываясь, что у того есть свой, особый план

действий, открыл шефу гестапо то, что он считал целесообразным открыть.

При этом Шелленберг не знал того, что было известно Мюллеру о Штирлице; этот козырь папа-Мюллер берег ото всех как зеницу ока, ибо связывал с этим свою коронную операцию, которая окажется для него спасением в будущем; то, что он задумал против России, будет столь громким, об этом так заговорят во всем мире, что автора такого рода комбинации будут опекать самые сильные люди Запада; те умеют ценить мобильный ум, способный на кардинальные акции; Мюллер — способен, такое Гелену не снилось — педант, одно слово.

...Слушая Мюллера, Штирлиц испытывал мучительное желание закурить, пальцы были ледяными; он, однако, заставил себя хмыкнуть:

— Значит, все то, что я делал в Берне, было суетой и ширмой для чего-то очень важного, того, что недоступно моему разуму?

— Моему — тоже, — ответил Мюллер. — Только в Берне вы не суетились, а помогали мне и Борману понять механику приводных ремней. Увы, мы так и не поняли смысла этой механики, хотя один из ремней перерубили...

— А что же бедолага Вольф?

— Они сейчас временно вывели его из игры. Мне сдается, они считают его своим главным резервом; все-таки Вольф контролирует более чем полумиллионную армию в Италии, это чего-то стоит...

— Ну так и зачем Шелленберг втягивает меня в *восстановление* того, что не было разрушено?

— Меня это интересует больше, чем вас, Штирлиц. Чем выше положение человека в тоталитарной структуре, находящейся на грани краха, тем более он озабочен не общим, но личным...

— Хотите, я спрошу обо всем этом Шелленберга?

— Он вас пристрелит. Сразу же. Нет, так нельзя... Думайте. У вас есть ночь на раздумье. А потом приходите ко мне и попробуем обсудить это дело сообща еще раз.

...Через три часа Мюллер прочитал расшифрованную телеграмму Штирлица в Центр о том, что он ему только что рассказывал.

«Оп! — улыбнулся Мюллер. — Пусть Сталин думает; пусть он думает о тех, кто здесь, в Берлине, стоит сейчас в оппозиции Гиммлеру; пусть он думает об американцах; о том, что Гиммлер вот-вот сговорится с Даллесом; пусть выбирает, он теперь может выбирать: я ему предложил себя, Борман

— тем более, в то время как в Америке все более консолидируются те силы, которые стоят в оппозиции Рузвельту и открыто ненавидят Кремль...»

Лидер и те, кто его окружает

Как и всякий выдающийся политик эпохи, президент США Франклин Делано Рузвельт верил своему штабу, полагая, что малейшая тень неискренности, возникшая среди тех, кто готовит и формулирует политические решения, нанесет труднопоправимый ущерб делу страны.

Поэтому, получив новое послание русского премьера — сухое и резкое — по поводу контактов англо-американских секретных служб в Швейцарии с людьми обергруппенфюрера Вольфа, президент долго раздумывал, к кому из самых близких людей следует обратиться с довольно деликатной просьбой: выяснить и в государственном департаменте, и в Пентагоне, и в управлении стратегических служб Донована, чем по-настоящему объяснима столь открытая тревога и раздраженность русского руководителя, не заметить которую в его посланиях просто-напросто невозможно.

Президент понимал, что ныне далеко не все люди в Вашингтоне разделяли его точку зрения на роль России в послевоенном мире.

Он знал, как сильны в стране традиции, как устойчивы стереотипы представлений среди тех, кто воспитывался в одних и тех же колледжах, посещал одни и те же клубы, читал одни и те же книги, играл в гольф на одних и тех же полях, восхищался тем, что восхищало прессу, и с отвращением относился к тому, что подвергалось прагматичным, не очень-то доказательным, но вполне привычно сформулированным нападкам в «Нью-Йорк таймс», «Балтимор Сан» или «Пост».

В этом смысле, считал Рузвельт, американцы тщились быть еще более традиционными, чем «старшие братья», англичане, которые стояли на том, что мнение, однажды сформулированное теми, кто отвечал за *тенденцию*, обязано быть постоянным, неизменным; корректировка возможна сугубо незначительная; престиж великой нации не позволяет *резких* поворотов — никому, никогда и ни в чем.

Поэтому президент и пытался понять, что же именно в его посланиях Сталину — вполне откровенных, составленных в самых дружелюбных тонах, — могло так раздражать кремлевского лидера.

Прислушиваясь к советам членов своего штаба, сохраняя с теми, кто составлял его *окружение*,

самые добрые, дружеские отношения, Рузвельт тем не менее особенно важные решения принимал единоправно (лишь от Гопкинса, Моргентау и Икеса он не таил ничего); он сам переписывал документ, если хоть одно слово казалось ему слишком расплывчатым, недостаточно определенным, излишне резким или, наоборот, чрезмерно мягким; поскольку он зачитывался Кантом, ему казалось, что причинность обязательно сопрягается с понятием закона; поскольку в причинности сокрыта необходимость бодрствующего мышления, поскольку, наконец, форма восприятия жизни через слова есть выражение *необходимости* жизни, президент дважды просил своего личного адъютанта вновь принести ему папку с перепиской по вопросу о контактах в Берне и углублялся в *анализ* того именно, что определяло ситуацию, то есть в *слово*, а то, что Сталин, воспитанный в духовной семинарии, относился к слову совсем не просто, было Рузвельту ясно.

Текст своего послания показался президенту — после самого придирчивого чтения — вполне корректным; как опытный стратег политической борьбы, он знал цену тем словам-минам, которые загодя закладываются в речи, произносимые

государственными и партийными деятелями.

...Поэтому, внимательно проштудировав текст — с карандашом в руке, придираясь к каждой запятой, — Рузвельт со спокойной уверенностью в своей правоте и союзнической честности отложил послание и, сцепив большие плоские пальцы, признался себе в том, что его постоянно мучают несколько вопросов, на которые он пока что не может, а вероятно, не хочет дать себе ответ. Во-первых, отчего Сталин не пишет о факте контактов с немцами Черчиллю, если тем более главную скрипку там — судя по сообщению Донована — вели англичане во главе с фельдмаршалом Александером; во-вторых, почему Черчилль ничего не сообщил ему, Рузвельту, об этих переговорах; и, наконец, в-третьих, как объяснить, что до сих пор нет исчерпывающего анализа этих переговоров, сделанного ОСС — те лишь ограничиваются подборкой отрывочных документов, якобы полученных от англичан в Париже и от тех негласных друзей в здешнем британском посольстве, кто отвечал за вопросы разведки и политического планирования.

И Рузвельт признался себе, что на эти вопросы не отвечать далее никак нельзя, ибо Россия за годы войны не только понесла страшные потери,

но и *наработала* гигантский престиж в мире, ибо оказалась главной силой в противостоянии режиму бесчеловечного гитлеровского тоталитаризма.

...Военные передали ему меморандум, в котором доказывали прагматичную выгоду капитуляции нацистов на тех или иных участках западного фронта; ответственность за то, что русские не были ознакомлены с такого рода возможностями, лежит на дипломатах; президента заверили, что ни один американский военачальник в контактах с нацистами участия не принимал; в свою очередь, государственный департамент, занятый дни и ночи подготовкой конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, представил Белому дому свою памятку, из которой явствовало, что зондирующие контакты с противником в принципе целесообразны, даже если речь идет о таких отвратительных людях, какими являются нацисты типа Карла Вольфа, однако дипломаты утверждали, что такого рода контакты американских представителей в Европе не зафиксированы. «Тем не менее, — было отмечено в памятке, — мы не можем исключать возможность личных инициатив тех или иных ученых и бизнесменов в нейтральных странах, которых заботит ситуация

в Европе после окончания битвы, особенно в случае, если красное знамя будет развеваться над Берлином; личный зондаж такого рода продиктован не чем иным, как тревогой за американские интересы в Европе...»

Рузвельт *ухватился* за слово «бизнесмены», сразу же вспомнил слухи о скандале с братьями Даллесами, якобы связанными с германской банковской корпорацией Шредера, чьи интересы в США — даже в нацистское время — представляли Джон и Аллен, отменил запланированное приглашение Донована на вечер, попросив его через адъютанта приготовить подробное досье по Бернскому *узлу*, «с тем чтобы, — нажал президент, — наш разговор носил конструктивный характер, проблема того стоит; нынешнее положение, при котором начальник разведки знает *все*, а президент — ничего, вряд ли на пользу Америке».

Донован, услыхав такого рода тираду Рузвельта, сразу же договорился со своим давним приятелем, директором адвокатской фирмы «Джекобс энд бразерс» Давидом Лэнсом, компаньоном братьев Даллесов, поужинать в ресторане Майкла Кирка в семь вечера.

Там Донован и ввел своего друга в курс дела.

— Ну хорошо, — сказал Лэнс, расстилая салфет-

ку на острых коленях, — я понимаю, что ситуация — не из приятных, но черта закона не была нарушена Алленом ни в едином его поступке...

— Пусть бы преступал, — отрезал Донован, — но так, чтобы информация об этом не попала к Рузвельту! Он помешан на кодексе джентльмена, и я не представляю, чем теперь кончится все это наше предприятие для Аллена...

— Оно не может не кончиться наибольшим благоприятствием для Америки, Билл, и вы это прекрасно знаете... Если Рузвельт согласился в Ялте на то, что именно русские должны войти в Берлин и, таким образом, присвоить себе — на много десятилетий вперед — славу главных победителей гитлеризма; если он санкционировал создание коммунистической Польши, кабинет которой будет визировать Сталин; если он пошел на то, чтобы признать Тито первой фигурой Югославии, то кто-то же обязан в этой стране серьезно подумать о нашем будущем?! А после контакта Аллена с Вольфом я сразу получил от Шредера — на этот раз из Стокгольма — заверения в том, что все порты Германии могут быть уже сейчас *расписаны* за нашими корпорациями... Более того, понимая, что ждет рейх, Шредер добился передислокации всего патентного фон-

да рейха из Саксонии, куда Рузвельт позволил войти красным, в Мюнхен, а это, Билл, ни мало ни много тридцать миллиардов долларов, да, да, именно так! Мысль стоит дорого — и это справедливо. Значит, все патенты рейха окажутся в нашей стране, и мы вырвемся еще на один порядок вперед по сравнению с миром. Более того, Шредер сообщил места расположения подземных шахт в районе Линца, где складированы полотна великих мастеров из Франции, России, Польши и итальянских галерей: это тоже исчисляется миллиардами долларов...

— Это стоит девятьсот семьдесят три миллиона долларов, — хмуро поправил Донован, — уже подсчитано, мои люди работают в этом районе.

— Да? Поздравляю. А по нашим сведениям, в этом секторе более всего активны англичане и местные элементы, стоящие в оппозиции к законной власти.

— Законной власти в Линце нет, — отрезал Донован, — там нацисты.

— Увы, с точки зрения буквы, а не духа, нацисты — пока что, во всяком случае, — являют собою олицетворение законной власти, Билл, за них голосовали на выборах.

— Вы — так же, как и я, — знаете, что за *выборы*

были в Германии.

— Да, но с властью, выбранной таким образом, наша страна поддерживала дипломатические отношения, устраивала приемы в Берлине и отправляла телеграммы, в которых поздравляла фюрера с днем рождения.

— Дэйв, — хмуро сказал Донован, — не погружайтесь в трясину логических схем, давайте думать, как мне построить беседу с Рузвельтом. Это трудное дело, и я бы хотел кое-что обкатать на вас, прежде чем пойду к нему...

— Валяйте, обкатывайте...

— Судя по тому, что Москва узнала об операции Даллеса, несмотря на то что он тщательно закамуфлировал предприятие именем фельдмаршала Александера, я не гарантирован, что Кремль не получит информацию и о Бернадоте, и о том, что Даллес снова начинает в Монтрё, через экс-президента Музи.

— А вам не кажется, что это будет очень славно?

— То есть?

— Пусть Рузвельт и Сталин ссорятся друг с другом, Билл, пусть! Я бы даже пошел на то, чтобы помочь Сталину узнать как можно больше.

— Это дилетантство, Дэйв. Не *мешать* — да, но

когда в нашем ведомстве *помогают*, то умный контрагент тут же чувствует и мой профит, и вашу заинтересованность... Меня по-настоящему беспокоит лишь одно: а что, если Рузвельт узнает о ваших сегодняшних контактах со Шредером? Он ослепнет от ярости: Шредер как Шредер, бог с ним, но ведь если ему выложат на стол данные, что именно Шредер был председателем кружка «друзей Гиммлера» с тридцать третьего года, а Даллес с ним и сейчас по-прежнему связан...

— Это будет плохо, — согласился Лэнс. — От этого надо отмываться... Черт принес на нашу голову Рузвельта! Все разговоры о том, что у него никуда не годится здоровье, не что иное, как *метод* для успокоения тех, кто видит, в какую пропасть он тащит эту страну своим заигрыванием со Сталиным...

Донован покачал головой:

— Не надо, Дэйв... Рузвельт достигнет многого для этой страны своим методом — мягкостью и джентльменством... Мы хотим добиться этого же, но быстрее — своими методами, причем результаты должны достаться людям нашей команды, а не его... А здоровье президента действительно сейчас хорошо, как никогда...

— Информация надежна?

— Вполне. Я попросил кое-кого из моих приятелей побеседовать с его лечащими врачами.

Лэнс сделал глоток воды, пожал плечами, лицо его вмиг постарело:

— Билл, каждое решение есть выражение судьбы. Судьба — это слово для выявления внутренней достоверности. В этом связь будущего с жизнью, а необходимости — со смертью...

Донован откинулся на спинку кресла, сказал тихо:

— Вы сошли с ума! — Он попросил официанта принести сигару, долго обрезал конец, пыхающе, раздраженно закурил, повторив при этом: — Вы сошли с ума, Дэйв... Грешно желать смерти Рузвельту... Я всего лишь хочу понять, как надежнее выстроить защиту для Аллена. Его откомандирование из Европы лишит нас многого, это просто-напросто невозможно...

— Если Рузвельт узнает про сегодняшние контакты со Шредером, вы понимаете, что Аллена нам не удержать. И очень советую подумать вот еще о чем: не пришла ли пора позволить Дяде Джо узнать кое-что про то, что делают в Лос-Аламосе[20] подопечные Гровса?

---

20 Примечания: 20

Лос-Аламос — секретный полигон, где готовился взрыв американской атомной бомбы.

Донован тяжело хмыкнул:

— А что?! Идея хороша, маневр отвлечения первоклассен! По-моему, ваши партнеры в Португалии имеют надежные выходы на внешнеторговые организации красных, через них подать *утечку* информации на Москву... Это будет вопрос Гровса и Гувера, а не наш. Я не думаю, что Сталина будет особенно интересовать дата предстоящего взрыва нашей штуки, но он прежде всего задумается о том, отчего мы от него так рьяно скрывали работу над оружием, которым можно сломать любую страну... Браво, Дэйв, идея отменна!

...Тем не менее, прощаясь, Лэнс повторил:

— Мне лестно, что отвлекающий маневр с Гровсом показался вам любопытным, Билл, но все равно это — паллиатив; решать надо — так во всяком случае привык поступать я — раз и навсегда, впрок, кардинально!

С этим они и расстались.

То, о чем трижды говорил Лэнс, начальник американской разведки запретил себе повторять и даже думать об этом; тактику беседы с президентом «дикий Билл» выстроил точно: да, контакты с Вольфом в Берне имели место; да, это поиск альтернатив — после того, как Канарис оказался

в концентрационном лагере, фельдмаршал Вицлебен вздернут Гитлером на дыбе, а Гердлер то ли повешен, то ли упрятан в подземную тюрьму; да, это необходимость, следует безошибочно знать тех, кто противостоит идеологии большевизма, особенно в последние дни перед крушением гитлеровского рейха.

Схема беседы была точной, отмечена печатью достоинства — этого Рузвельт требовал от всех своих сотрудников: «Прежде всего — достоинство, которое включает в себя такие понятия, как соответствие поступков нашей идее, юмор, доброта и устремленность». Ну а Шредер? А что, если он начнет копать на Шредера? Тогда неминуемо станет известно и то, что он, Донован, покрывал Даллеса, когда тот спасал активы нациста Шредера в банках мира, прекрасно зная все об этом страшном человеке, одном из самых страшных, с каким когда-либо сводила жизнь кого-либо из американцев.

...Рузвельт, получив назавтра короткую памятку Донована, попросил его отправить шифровку Даллесу с приказанием прервать все переговоры с немцами — отныне и навсегда; при этом президент передал начальнику ОСС копию своего послания русскому премьеру, предупредив через

адъютанта, что, «отправляя письмо Сталину, составленное на основании документов ОСС, всю ответственность он берет на себя, но моральное бремя неудобства — если оно возникнет — он, президент, поделит с ним, Донованом...»

Лично и строго секретно для маршала Сталина

Посол Гарриман сообщил мне о письме, которое он получил от г-на Молотова, относительно производимой фельдмаршалом Александером проверки сообщения о возможности капитуляции части или всей германской армии, находящейся в Италии. В этом письме г-н Молотов требует, чтобы ввиду неучастия в этом деле советских офицеров эта проверка, которая должна быть проведена в Швейцарии, была немедленно прекращена.

Я уверен, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены Вам правильно. Факты таковы.

Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что некоторые герман-

ские офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британо-американским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала Александера.

По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было дано указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его штаба для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии с целью обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы.

Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения Советского Правительства. Затем Вашему

Правительству было сообщено, что будет дано согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения деталей капитуляции.

До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом, но по-прежнему представляется вероятным, что такая встреча возможна.

Мое Правительство, как Вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными силами союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего американские вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как

военный человек Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом.

Такая капитуляция вооруженных сил противника не нарушает нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких политических моментов.

Я буду очень рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых из Ваших офицеров, которые могут присутствовать, но я не могу согласиться с тем, чтобы прекратить изучение возможности капитуляции ввиду возражений, высказанных г-ном Молотовым по совершенно непонятным для меня причинам.

Считают, что возможность, о которой сообщалось, не даст многого, но в целях избежания недоразумения между нашими офицерами я надеюсь, что Вы

разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя.

Я уверен, что Вы так же отнесетесь к этому вопросу и предпримете такие же действия, когда на советском фронте представится такая же возможность.

Ф. Д. Рузвельт.

Информация к размышлению — III (Снова ОСС)

...Полковник советской разведки чекист Максим Максимович Исаев был отправлен Центром из Берна в Берлин и потому еще, что Москве стало известно о весьма странном поведении союзников по отношению к ведущим физикам Европы.

Аккуратные допросы, проводимые американскими исследователями, направленными на работу в органы разведки США, вызвали определенное недоумение у тех ученых Франции, которые занимались изучением возможности создания нового оружия, построенного на принципе расщепления ядра атома.

Жолио Кюри *опрашивали* активнее всех других; относясь к англо-американцам как к боевым союзникам по антигитлеровской коалиции, выдающийся ученый охотно обсудил все вопросы, но потом, вполне естественно, начал ставить свои; американцы, однако, отвечали гробовым молчанием.

— Это неэтично, — заметил тогда Жолио Кюри. — Разговор приобретает форму допроса. Но я

француз, член антигитлеровской коалиции друзей, а не пленный враг. Как француз, как патриот своей страны, я не могу допустить того, чтобы моя родина плелась в хвосте научного прогресса. Если вы не объясните причину вашего интереса к нашим работам, то станет очевидно, что вы делаете свой проект, но не хотите работать вместе с нами. Следовательно, вы намерены помешать Франции занять место, подобающее ее значению в мире. Что ж, тогда Франции не останется ничего другого, кроме того как ориентироваться в своих исследованиях на Россию. Генерал де Голль разделяет точку зрения моих коллег и мою.

Вопросы, связанные с «атомным проектом», американцы никак не обсуждали с Москвою, это была тайна за семью печатями; трудно было сказать, кого больше боялись в Америке: немецкого противника или советского союзника.

Это, понятно, не могло не настораживать Кремль.

Но еще большую озабоченность Москвы вызвали загадочные операции американской разведки в Германии, когда специальные группы генерала Гровса начали *диктовать* штабам армии и авиации направления главных ударов; не надо быть физиком, чтобы догадаться, к чему шло дело;

Германия разваливалась; против кого же тогда готовилось оружие нового качества?

...Вильям Донован, вернувшись домой после ужина с Дэвидом Лэнсом, когда тот выдвинул дерзкий план припугнуть Москву, позволив уйти туда информации о работе над проектом нового оружия, довольно долго обсуждал с самим собою все выгоды и проигрыши, прими он предложение друга.

Да, рассуждал Донован, действительно, если помочь русской секретной службе узнать нечто большее по сравнению с тем, что она наверняка знает, это может вызвать серьезное охлаждение между Рузвельтом и Сталиным. Всякое столкновение Кремля и Белого дома служит той концепции будущего, которую представлял Донован и его единомышленники. Однако Рузвельт человек парадоксальный, как, впрочем, и Сталин. Донован отдавал себе отчет в том, что Сталин мог задать вопрос об атомном проекте: «Зачем? С какой целью? Против кого? С какой поры?» И Рузвельт, предполагал Донован, мог дать ответ. Естественно, окружение нашло бы весьма обтекаемые фразы; понятно, руководитель атомного проекта генерал Гровс подключил бы к этому всех своих могучих покровителей, начиная с началь-

ника генерального штаба Маршалла и кончая главнокомандующим Эйзенхауэром; естественно, группа миллиардера Дюпона, вложившая в атомное предприятие большую часть капиталов, нашла бы возможность оказать нужный нажим на людей, близких к Белому дому, но явление, которого до сегодняшнего дня не существовало, оказалось бы *обозначенным*, то есть сделалось бы реальностью, но не тайной.

Донован знал, что генерал Гровс впервые перебросил своих разведчиков и ученых с первыми частями американской армии, когда те еще только вторглись в Сицилию. Он знал, что Гровс вывез многих итальянских физиков в Штаты, поселил их за *забор* и подверг тщательному допросу. Он знал, что люди генерала Гровса чуть что не первыми вошли в Париж. Он знал, что с конца февраля подразделения генерала Гровса начали *шерстить* Германию в охоте за немецкими физиками, за их архивами и библиотеками, за складами урановой руды и хранилищами «тяжелой воды».

Агентура Донована, внедренная в аппарат разведки Гровса, сообщала директору ОСС, что более всего последние недели руководителей атомного проекта волновала судьба тех нацистских

заводов, связанных с добычей урана и «тяжелой воды», которые находились на той части Германии, которая должна была отойти русским.

Донован отдал должное смелости и пробивной силе генерала Гровса, когда тот провел блистательную по дерзости операцию против завода «Ауэргезельшафт» в Ораниенбурге, который должен был перейти к русским. Именно там велись самые интенсивные исследования в сфере атомной физики, именно там добывался уран и торий, именно поэтому Гровс обратился к главнокомандующему стратегической авиации США и вместе с его разведчиками разработал любопытную комбинацию: чтобы усыпить бдительность русских, в один и тот же день, в один и тот же час две *волны* бомбардировщиков нанесли яростные удары по двум объектам: налету подвергся штаб вермахта, Цоссен, возле Потсдама, и завод «Ауэргезельшафт». Удар по Цоссену был отвлекающим, «успокоительным» для русского союзника; зато шестьсот «летающих крепостей» смели с лица земли все заводские корпуса в Ораниенбурге, русским достанутся руины — это было главное.

Главком авиации Спаатс особо тщательно планировал этот налет потому еще, что поступило приказание генерала Маршалла: «Просьбу Гровса

необходимо выполнить немедленно». А на письме стоял гриф: «Тому, кого это касается».

...В марте сорок пятого отряд Гровса, десантированный в Германию, окружил Гейдельберг и захватил группу ведущих немецких физиков во главе с Рихардом Куном; затем были захвачены Отто Ган и Вальтер Боте.

Во время допросов Боте сказал, что его научная библиотека по атомной физике, самая уникальная в мире, находится в соляных штольнях Саксонии.

Люди Гровса кинулись к картам: русские части находились в трех километрах от этого места. В шифровке, отправленной в Вашингтон, разведчики Гровса потребовали немедленно бросить десант в тот район.

Гровс вошел с ходатайством, генерал Джордж Маршалл поддержал его предложение; государственный департамент отклонил, сославшись на то, что Сталин не простит столь откровенно недружественного акта: возможны серьезные политические осложнения.

Гровс остервенел от гнева:

— Но поймите же, мы решим все политические осложнения в тысячу раз проще, если атомный проект обретет реальность! Когда в наших руках

будет *штука*, Кремль не посмеет спорить с нами! В конце концов, только сила определяет устойчивость политики!

— Вот когда у вас будет *штука*, — ответили ему, — тогда и можно будет по-новому оценивать политические вероятия; в настоящий момент мы должны жить по законам пороховой дипломатии, а не атомной.

(Пока шла перепалка в Вашингтоне, русские заняли тот район, где хранилась библиотека Боте и Куна; Гровс неистовствовал.)

Донован отдал должное смелости Гровса, когда тот сделал нужный вывод после стычки с государственным департаментом. Он знал, что Гровс посетил военного министра Стимсона и сказал ему:

— Основные центры германских предприятий, связанных с атомными исследованиями, находятся в районах Штутгарта, Ульма и Фрайбурга. Все эти города отходят — согласно Ялтинской декларации — французам. Я не верю французам, они традиционно близки к России. Если мы не захватим эти районы первыми, высшим интересам Штатов будет нанесен ущерб, непоправимый ущерб.

— Предложения? — сухо поинтересовался ми-

нистр.

— Мы обязаны захватить эти города, вывезти немецких ученых, библиотеки, архивы, руду, «тяжелую воду» и уничтожить все лаборатории и заводские постройки.

— Полагаете, государственный департамент пойдет на то, чтобы вконец испортить отношения с де Голлем?

— Убежден, что не пойдет. Те джентльмены, с которыми я обсуждал необходимость нашего десанта в русскую зону, долго объясняли мне, что дипломатия — наука реализации малейших возможностей. Я терпеливо их выслушал и пришел к выводу, что дипломатами у нас работают люди с искалеченной психикой, их тянет в разведку, но они попали в паутину, и им не остается ничего другого, кроме как жужжать и перебирать лапками...

— Очень похоже, — хмуро усмехнулся Стимсон. — Не обращайтесь к ним более. Договоритесь с Маршаллом о захвате городов, которые должны отойти французам.

— Возможен скандал...

— Вам не привыкать.

— Это верно. Я готов и поскандалить, потому что французы наверняка поделятся новостями с

красными, а ради того, чтобы этого не случилось, я готов не только скандалить, но и воевать.

Гровс закодировал эту операцию как «Убежище» и срочно отправил своих помощников в Европу, к начальнику штаба Эйзенхауэра генералу Беделу Смиту. Было принято решение бросить американские войска наперерез французам, оттереть их, задержать и не позволить войти туда, куда они должны были войти в соответствии с тем документом, который подписал в Ялте президент США.

...Донован — в тот вечер, когда он расстался с Дэйвом Лэнсом, — так и не решил, как ему следует поступить.

Мысль все время вертелась вокруг того, чтобы проинформировать — в определенной, впрочем, мере — Аллена Даллеса; тот найдет возможность *запустить* слух, который немедленно дойдет до Кремля.

«А как Рузвельт? — в который раз задавал себе вопрос Донован. — Что, если он пойдет на откровенность со Сталиным? Как быть тогда? Неужели Дэйв прав, и у нас только один выход, кардинальный, хирургический? Неужели политика исповедует жестокость как главный инструмент в достижении того, о чем мечтаешь? Неужели

компромисс невозможен?»

И Донован ответил себе ясно и недвусмысленно: нет, с Рузвельтом компромисс действительно невозможен, он идеалист, он, словно дитя, верит в возможность решить все добром, и это дитя будет — по закону Соединенных Штатов — еще четыре года убеждать, примирять, взывать к разуму, вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу и ощериться.

«Гувер, — сказал наконец себе Донован. — Мне нужен Гувер. Я не знаю еще, как я построю с ним беседу, я не чувствую ее тона, но мне ясно, что я должен его спросить: «Джон, что вы станете делать, когда президент порекомендует вам в заместители члена американской коммунистической партии?»

Донован знал Гувера, он отдавал себе отчет в том, какой будет реакция его «брата-врага»; надо только решиться и сказать себе со всей определенностью: «Рузвельт приведет нас не столько к победе над Гитлером, сколько к капитуляции перед Москвой».

И тем не менее каналом дезинформации надо уметь дорожить...

Мюллер сокрушенно покачал головой, когда Штирлиц вошел к нему, потом недоумевающе, холодно усмехнулся:

— Ну и чего вы добились, в который уже раз облапошив бедного Ганса? Сколько ночей вы не ночуете дома? Три? Пять? И что? Нашли клад в миллион марок? Получили венесуэльский паспорт, с которым вас пустят в любую страну мира, без пограничной проверки?

Штирлиц вздохнул, полез за сигаретами:

— У меня есть предложение, группенфюрер...

— Валяйте...

Снова, в третий уже раз, тонко и *ужасно* заныли сирены воздушной тревоги.

Мюллер спросил:

— Пойдем в подвал?

— Как вы? Я на это не реагирую.

— Только дураки лишены страха, а вы не дурак.

— Фаталист... А это одно и то же...

— Значит, остаемся. Ну, так каково же ваше предложение?

— Посадите меня в ту камеру, где я уже сидел, там будет моя квартира. С утра я стану выходить на работу, а вечером возвращаться за решетку. Только проведите это решение по вашему ведомству, чтобы после ареста красными или американцами мне это зачлось.

— Рассчитываете дожить? — спросил Мюллер. — Ну-ну...

...Несколько раз Мюллер останавливал себя, когда с языка был готов сорваться вопрос: чего следует ждать, если он, Мюллер, станет помогать Штирлицу в его работе на русскую секретную службу? Ему было нелегко удержать себя от этого, потому что внутри постоянно ворочалось ощущение упущенного времени; он чувствовал, как оно сыпалось, словно в песочных часах; если бы Гёте ощущал их, понял их неотвратимую жестокость, никогда бы не написал свою фразу: «Остановись, мгновенье!» Она ведь воистину страшна, ибо рождает иллюзию возможного, а время остановить нельзя, это кажущееся возможное, а нет ничего ужаснее кажущегося. Мюллер хотел было тщательно изучить личное дело Штирлица, чтобы понять, когда случился его первый контакт с

русскими, на чем, на каком эпизоде они *взяли* его, но оказалось, что те города, где тот начинал свою работу, оккупированы американцами; партийные документы штандартенфюрера хранились в ведомстве партайгеноссе Боле, отвечавшего за заграничные организации НСДАП, ибо Штирлиц примкнул к движению в Америке; перебирать бумажки здесь, в архиве на Принц-Альбрехт-штрассе, нет смысла, мало что дадут: «выдержан, ариец, отмечен...» — шелуха, а не данные...

Мюллер отдавал себе отчет в том, что, задай он вопрос Штирлицу о его связях с русскими, потребуй гарантий от Москвы взамен работы в их пользу, ответ из их Центра придет отрицательный... Наверняка отрицательный; может быть, гарантируют жизнь, но разве существование в тюремной камере до конца дней своих — это жизнь? Нет, гарантия нормальной жизни заключена лишь в политическом решении вопроса: Гиммлер и Шелленберг ведут переговоры с Западом; если им удастся заключить сепаратный мир, то он, Мюллер, обеспечен местом под солнцем или же возможностью спокойно уйти к нейтралам; доверенность на счета СС в банках у него есть не на одно имя, а на девять; также семь паспортов постоянно лежат в сейфе. В случае неудачи

Гиммлера в операцию «Жизнь» входит Борман: он обращается к Сталину, подтверждая это силой ста отборных дивизий, сконцентрированных на берлинском направлении; если их развернуть на запад, то — вместе с русскими, а можно и без них — они так ударят англо-американцев, что те слетят в океан через пару-тройку недель. Борману трудно: он должен сделать так, чтобы фюрер остался в Берлине, а не передислоцировался в Альпийский редут, во-первых; ему надо сделать так, чтобы фюрер передал власть ему, Борману, а не Герингу, как это утверждено решением партии в сорок первом году, во-вторых; ему, в-третьих, надлежит в самые ближайшие дни свалить начальника генерального штаба Гудериана и вместо него привести к власти генерала Кребса, знакомого русским. А он, Мюллер, должен вести круговую оборону, чтобы эта *задумка* осуществилась. Поэтому он обязан подготовить Борману — не далее как к послезавтрашнему дню — компрометирующие материалы на Гудериана и Гелена — «пессимисты», «лишены веры в великий дух нации, преданной до последней капли крови фюреру»; поэтому он не имеет права задать Штирлицу тот вопрос, который вот-вот готов был слететь с языка о гарантиях его, Мюллера,

неприкосновенности, в случае если он начнет оказывать услуги Москве; поэтому он обязан играть с *каналом* по имени Штирлиц, превратив его в надежный элемент битвы за *себя*, пугая — через него — Москву, заставляя русских — путем этой игры — думать о том, что не сегодня завтра будет подписан сепаратный мир с Западом и тогда еще семьдесят дивизий откатятся на восток, и примут сражение под Берлином, и выиграют его, и это может оказаться таким шоком для красных, измученных четырьмя годами войны, что последствия трудно предугадать. Интересную идею подбросил Шелленберг: его *остатки* сообщили из Лондона, что между Кремлем и Западом возникли серьезные трения по поводу Польши; у него, у Мюллера, есть агент, внедренный в окружение польского правительства в Лондоне, связь постоянна, осуществляется через человека из испанского консульства, *купленного* людьми гестапо за пять картин Веласкеса, вывезенных из Гааги и Харькова; информация для агента ушла позавчера, значит, сегодня или завтра следует ждать нажима лондонских поляков на окружение Черчилля. Вести массированное наступление, не будучи уверенным в прочности коммуникаций, — дело трудное и рискованное.

Да, он, Мюллер, не имеет права задавать Штирлицу ни одного вопроса, который по-настоящему насторожит штандартенфюрера — особенно сейчас, когда можно читать все его телеграммы; дай-то бог, чтобы сообщения из его Центра шифровались тем же кодом, каким работает и он, но, в конечном счете, зная его тексты, значительно легче работать по расшифровке указаний и запросов Москвы; и совершенно не важно, кто его ведет — ЧК или разведка Красной Армии.

Он, Штирлиц, — бесценный объект игры, им надо дорожить. Один неверный шаг — и будет нанесен непоправимый удар по его, Мюллера, *жизни*.

— Ну рассказывайте, зачем вам надо было обманывать моего наивного, доброго Ганса? Чего вы добились, усыпив его нервическую бдительность?

— Я не умею жить, когда на меня смотрят в глазок, группенфюрер... Я начинаю говорить не то, что думаю, делаю глупости. Если бы, начав работу с Дагмар Фрайтаг, я знал, что ваш Ганс сидит, скукожившись, в машине, я бы ничего не смог...

— Пригласили бы и его к ней... Что, там нет второй комнаты?

Штирлиц засмеялся:

— Тогда бы я не смог работать...

— Что она из себя представляет?

— Вы никогда не видели ее?

— На фотографии она очень мила, — ответил полуправдой Мюллер, и Штирлиц сразу же отметил, как ловко и точно он ответил.

— В жизни — лучше, — сказал Штирлиц, *просчитав*, что ему не следует добиваться от Мюллера однозначных ответов — знает ли он женщину или нет; она описала ему Мюллера, а он сказал ему, что начал с нею *работу*, значит, вполне мог добиться от нее признания в том, кто ее напутствовал на дело в Швеции; порою надо *бежать* от правды, ибо лишнее подтверждение знания лишь помешает делу.

— Когда вы ее перебрасываете?

— Хоть завтра.

— В интересах мобильности операции снабдите ее деньгами... Я знаю из ее дела, что она водит машину... Пусть купит в Швеции автомобиль и ездит к вам на встречи в Копенгаген или Фленсбург. Лучше бы во Фленсбург, оттуда есть прямая связь с моим кабинетом, в датчан я не верю, там сейчас вовсю развернулись англичане, а они в технике — доки, поставят еще где-нибудь свою звукозапись... Если б докладывали Черчиллю, а то

ведь по субординации: от капрала к лейтенанту, а каждый лейтенант мечтает стать капитаном, потащит информацию не к тому майору, к кому нужно, — и насмарку наша задумка.

Мюллер ждал, что Штирлиц возразит, и ему было что возразить: женщине трудно гонять шестьсот километров по сложной дороге от парома до Стокгольма; он, Штирлиц, мастерский водитель, он *сжился* с машиной, он может за сутки управиться туда и обратно; однако же Штирлиц возражать не стал, даже наоборот.

— Я очень боялся, — сказал он, — что вы заставите меня таскаться по Швеции два раза в неделю, силы на исходе...

— А вы говорите, я не ценю вас... Я ценю вас очень, пусть ездит шведская немка или, точнее, немецкая шведка, одно удовольствие покататься по стране, где вдоль трассы открыты ресторанчики, дают хорошее мясо и не надо брякаться в кювет при налетах русских штурмовиков... Но в Швейцарию с этим вашим евреем придется пару раз съездить, я не могу поручить с ним связь никому другому — ни я, ни Шелленберг, вы понимаете... Не возражайте, туда ездить значительно ближе, назначьте ему встречи в Базеле... Ну, а что вы мне скажете по поводу того, о чем мы беседо-

вали после филармонии?

— Мне кажется, — ответил Штирлиц, — что ответить на те вопросы, которых вы коснулись, невозможно.

— Почему?

— Потому что Шелленберг с вами неискренен. Он ведет свою партию, вы не посвящены во все тонкости, он любимчик Гиммлера, он может себе позволить обходить вас. Но мне сдается, что, выполняя его поручение, мы, тем не менее, имеем шанс приблизиться к разгадке его тайны. Видимо, он использует меня, как подсадную утку, он позволяет целиться в меня как стрелкам из ОСС, так и охотникам НКВД... Мне кажется, если Дагмар и Рубенау станут моими друзьями и начнут работу по первому классу, многое прояснится... Вы были правы, мой вопрос Шелленбергу обо всем этом бесстыдстве означал бы бессмысленную гибель в его кабинете. А уж если суждено погибнуть, то хотя бы надо знать, во имя чего...

— Во имя жизни, — буркнул Мюллер и повторил: — Так что отрабатывайте обе линии — и эту самую шведку, и Рубенау в Швейцарии. И подключите там своего пастора. Почему-то я очень верю в то, что именно в Швейцарии вы подойдете ближе всего к разгадке этого дела...

«Я был убежден, — подумал Штирлиц, — что он закроет для меня и Швейцарию... Может, я паникую? Если бы он меня подозревал, то ни о какой Швейцарии не могло быть и речи, какая разница, Швеция или Швейцария? Впрочем, из Швеции ближе до дому — через Финляндию, там наши. Ну и что? А из Женевы пять часов езды до Парижа... Фу, я тупею, право! Ведь и в Стокгольме, и в Берне есть советские посольства, в конце концов!»

Мюллер посмотрел на часы, поднялся из-за стола, подошел к аквариуму:

— Рыбки еще более пунктуальны, чем люди, Штирлиц; мне следовало стать ихтиологом, а не полицейским... Если бы у родителей были деньги, чтобы отдать меня в университет, я бы стал ученым... Ну а как вам Рубенау?

— Вы уже прослушали мою с ним работу?

Мюллер бросил корм своим рыбкам, мягко улыбнулся самой шустрой из них — диковинной, пучеглазой — и ответил:

— Нет еще. Мы вчера отправили на Зееловские высоты батальон наших мальчиков, поэтому все службы стали работать минут на пятнадцать медленнее... Наверное, сейчас принесут... Но вы мне сами расскажите, вы работаете прекрасно, я внимательно изучал ваш диалог с русской ра-

дисткой, высший класс!

— Вы записываете всех, кто работает с арестованными?

— Что вы... Единицы... Выборочно...

— Среди кого выбираете?

— Среди самых умных, Штирлиц... А что, если этот еврей убежит от вас в Швейцарии?

— Мы держим его жену и детей — он никуда не убежит. Пусть ваши люди запросят на Вильгельмштрассе сертификаты на выезд детей и сделают новый паспорт на его жену...

— Вы хотите их выпустить?

— Я хочу, чтобы он верил мне. Я пообещал отъезд его семьи по частям в зависимости от стадий выполнения им нашей работы.

— А если он придет в Берн к русским, расскажет им свою историю, предложит услуги и попросит помочь с семьей?

— Ну и как они ему помогут? Напишут вам записку? Пришлют ноту рейхсминистру Риббентропу?

Мюллер усмехнулся:

— Вы с ним будете продолжать работу в камере? Или предпочитаете конспиративную квартиру?

— У вас, видимо, сейчас трудно с такого рода квартирами — где к тому же хорошо кормят.

— Не обижайте гестапо-Мюллера, дружище. Даже после того как сюда войдут завоеватели, у меня сохранится по меньшей мере десяток совершенно надежных берлог... А чего это вы стали спрашивать моих указаний? Поступайте сами, как знаете, в змействе я вам не советчик, сами, словно питон, весь из колец составлены...

— Я полагаю, что через тройку дней смогу вывезти его на границу... Думаю, что в Швейцарию мне сразу нет нужды ехать, пару дней он будет устанавливать контакты, подходить к союзникам и раввинам, к Музи, проводить зондаж...

— А я считаю, что вам обязательно надо быть с ним первые дни. Поговорите, конечно же, с Шелленбергом, но если хотите мое мнение, то извольте: бросать его нельзя, Эйхман не спускал с него глаз, когда брал с собою в Будапешт.

...Шелленберг пожал плечами:

— Я бы не стал бросать его одного... В первые часы возможна неуправляемая реакция... Он у нас насиделся, придет к американцам или — что самое страшное — к русским, все станет известно Москве, наша последняя надежда — псу под хвост.

(Мюллер сказал Шелленбергу лишь сотую часть правды; он сказал, что в Швейцарии у Штирлица

были странные контакты с неустановленными людьми неарийской национальности; больше он ничего ему не открыл — слишком молод, не уследит за эмоциями, испугается: человек он трусливый, коли в своем кабинете держит стол, в который вмонтированы два пулемета помимо трех фотоаппаратов, звукозаписывающей аппаратуры и специального уловителя на принесенный посетителями динамит. Мюллер играл всеми вокруг себя, Шелленбергом в том числе. Он ни словом, понятно, не обмолвился бригадефюреру, что его главная задача состоит в том, чтобы Москва постоянно была в курсе его, Шелленберга, переговоров с Западом; именно это было основанием той комбинации, которую он проводил сейчас, взяв в *долю* Бормана. Он понимал, что Борман, наоборот, считает его, Мюллера, у себя в доле. Он допускал, что и Шелленберг убежден, что он, Мюллер, счастлив, оттого что мы отныне вместе. «Дурашка. Я ж играю тебя, ты вообще сидишь за моим ломберным столиком в качестве болванчика, которому насовали крапленых карт. Считай, что хочешь, Шелленберг. Пусть. На здоровье. По-настоящему считаются после того, как сработали дело, а не до — так мне говорили клиенты из мира бандитов в Мюнхене, когда я был

счастливым и беззаботным инспектором криминальной полиции. Борман поступил благородно, он *дал* мне семь счетов в банках, остальные у меня открыты по своим каналам; уходить сейчас пока еще невозможно; ради того чтобы найти изменника — а я им стану, — Гиммлер снимет с фронта дивизию, ему плевать на фронт, лишь бы вернуть меня, поскольку я знаю *все*; во-вторых, свои же предадут меня, переправив все данные обо мне союзникам и нейтралам: «Он сбежал, а мне погибать?!» Зависть правит миром, черная, маленькая, кусачая зависть. Нет, исчезать можно только во время артиллерийской канонады, когда окончательно рухнет то, на чем состоялась эта государственность, — порядок, фанатизм и страх».)

— Кто будет осуществлять связь с Фрайтаг? Мюллер сказал, чтобы я контактировал с нею в Копенгагене... Или Фленсбурге...

— Она готова к отъезду?

— Да.

— Договоритесь, что через пять-шесть дней вы будете ждать ее во Фленсбурге... Текущую информацию лучше передавать из нашего посольства, у нее залегендирован контакт: обмен между университетами на государственном уровне и

все такое прочее... Да и потом у них сейчас тоже неразбериха: все ждут нашего крушения, весь мир ждет, но многие стали этого бояться, поверьте... Шведы ей не будут мешать... Тем более она едет не к кому-нибудь, а к Бернадоту, и не в русское будет заходить посольство — в германское...

Провожая Штирлица к двери, Шелленберг — как в былые времена — взял его под руку и мягко спросил:

— А если вдруг Мюллер отправит своего человека к русским и предложит им мою голову, шею рейхсфюрера, Кальтенбруннера, вашу, наконец, как думаете, они пойдут с ним на контакт?

— Думаю, что нет, — ответил Штирлиц без паузы, очень ровным, спокойным голосом, словно бы размышляя сам с собою. — Вы им были бы куда как более интересны.

— Я знаю. Но я туда никого не пошлю, я — европеец, а Мюллер из баварской деревни, причем мать, я слыхал, пруссачка, он это скрывает, оттого что все пруссаки в чем-то немного русские... Значит, думаете, удара в спину с его стороны ждать пока не приходится?

Штирлиц пожал плечами:

— Черт его знает... Думаю, все же — нет... Вы просили меня в прошлый раз сказать вам, что

я пущу себе пулю в лоб, если кандидат Эйхмана предаст нас в Швейцарии, и что только после этого вы по-настоящему объясните мне суть предстоящего дела... Я готов сказать, что ручаюсь за Рубенау...

— Я хочу попробовать фронтально разложить еврейскую карту, Штирлиц... Я решил поторговать евреями в наших концлагерях, а взамен намерен потребовать на Западе гарантий для нас с вами и мир для немцев. Но чтобы Кальтенбруннер или Борман не начали очередной раунд борьбы против нас, несмотря на перемирие, заключенное мною с Мюллером, я поставлю перед ними и второе, легко выполнимое условие: не только раввины, но каждый еврей должен быть выкуплен. Стоимость рассчитывается в лошадиных силах моторов и литрах горючего; словом, я даю машины армии, мы помогаем фронту, цель оправдывает средства, камуфляж патриотизмом должен быть значительно более надежен, чем в Берне... Единственно, кого я сейчас боюсь, — это Москву; только Кремль может сломать наше дело, если снова надавит на союзников...

— Думаете, они все-таки надавили?

— Еще как, — ответил Шелленберг. — Сведения не липовые, а самые надежные, из Лондона... Лад-

но, теперь вы знаете все. Я жду, когда вы — после работы Рубенау — доложите мне из Швейцарии: экс-президент Музи готов на встречу со мною и Гиммлером там-то и там-то. Первое. После работы с Фрайтаг вы сообщите: Бернадот готов выехать из Стокгольма в рейх тогда-то и тогда-то. Это второе. Все. Желаю удачи.

— Спасибо за пожелание, но это далеко не все, бригадефюрер. Через кого Рубенау подойдет к экс-президенту Музи? Он что, позвонит ему и скажет, что, мол, добрый вечер, господин экс-президент, здесь Вальтер Рубенау, у меня есть идея освободить евреев из лап кровавых нацистов, только передайте мне за них пару сотен хороших грузовиков с бензином?

Шелленберг рассмеялся весело и заразительно, как в былые дни.

— Слушайте, Штирлиц, вы юморист, вы умеете так грустно шутить, что не остается ничего другого, кроме как от души посмеяться... Спасибо вам, милый, словно принял хорошую углеродную ванну в Карлсбаде... Нет, конечно, Рубенау не должен звонить к Музи, его с ним просто-напросто не соединят; приставка «экс» — пустое, важен смысл — «президент»; у Музи по сю пору государственный статус — швейцарцы чтят тех, кто

возглавлял их конфедерацию. К Музи позвонит наш с вами Шлаг и попросит принять представителя подпольного движения, с которым вышли на связь здравомыслящие силы из числа зеленых СС и политической разведки; есть возможность спасти несчастных; Рубенау до этого должен посетить раввина Монтрё и сказать ему, сколько потребуется денег, чтобы спасти людей. Он поначалу назовет не очень-то крупную сумму — пять миллионов франков. Раввин, однако, откажет ему; думаю, он согласится на пару миллионов, поставив условием освобождение определенной когорты узников. Думаю, он не будет заинтересован в освобождении философов, экономистов, историков еврейской национальности — раввины не любят конкурентов, да и потом многие евреи в науке тяготеют к марксизму... Я думаю, раввинат — в глубине души — заинтересован, чтобы мы задушили еврейских интеллектуалов: с ними хлопотно... Знаете, кто лучше всего понял Маркса? Не знаете. Бисмарк. Он сказал: «С этим бухгалтером Европа еще наплачется»... Что же касается Дагмар...

Штирлиц перебил; он понял, что Шелленберг где-то в самой своей глубине окончательно сломан, ему сейчас *угодно* равенство, в нем он

обретает хоть какую-то надежду на будущее:

— Дагмар — ваш человек? Или Мюллера?

— Она — ваш человек, Штирлиц. Не надо играть роль правдоискателя. Они все — истерики. Правдолюбцы чаще всего рождаются среди угнетенных народов. Свободные люди не ищут правду, но утверждают самих себя; личность — высшая правда бытия.

— Браво! Отправьте эту тираду, написав ее на пишущей машинке, конфискованной у коммунистов, лично фюреру.

— Вы сошли с ума? — деловито осведомился Шелленберг.

— У меня есть рапорт Шлага. — Штирлиц достал из кармана листок бумаги. — Копии я не снимал... Это стенограмма беседы Вольфа с Даллесом... Прочитайте там про себя: «Шелленберг, будучи интеллектуалом, зябко ненавидит фюрера»... Так что же вы скажете мне про Дагмар?

«А как же я?! Мне нужны контакты на Западе!»

Кальтенбруннер отправился в концлагерь Флоссбург прямо от Бормана, не заехав даже в главное управление имперской безопасности: дело, порученное ему рейхсляйтером, того стоило.

...Борман, принимавший Кальтенбруннера в бункере, попросил своего адъютанта принести из буфета хороший кофе, сваренный из зеленых бразильских зерен, бутылку любимого айнциана, истинно баварской водки из Берхтесгадена, лимоны и миндаль, обжаренный в соли; налил в рюмки пахучее горько-терпкое самогонное зелье, выпил, чокнувшись со своим протеже, и сказал:

— Знаете, что вам предстоит сделать, старина?

— Я не знаю, что мне предстоит сделать, рейхсляйтер, но, если это в моих силах, я сделаю.

Борман улыбнулся:

— В том-то и прелесть задачи, что это не в ваших силах... Надо поехать в концлагерь к адмиралу Канарису и сказать ему следующее: «Некоторые изменники СС, потерявшие стыд и совесть, пытаются договориться с вашими бри-

танскими друзьями о том, чтобы — *продав* им состоятельных узников еврейской национальности — получить гарантию их собственной неприкосновенности. Для этого изменники намерены ослушаться фюрера и не дать верным людям СС уничтожить всех евреев, их тела облить бензином и сжечь, чтобы не осталось следов. Видимо, в чем-то изменники преуспеют и определенную часть евреев смогут вывезти в Швецию и Швейцарию, ибо переговоры в нейтральных странах уже идут. Таким образом, вы, адмирал, в ближайшем будущем вообще никому не будете нужны. Ваша вина доказана, и только благодаря мне, Эрнсту Кальтенбруннеру, — да, да, говорите именно так, — вы до сих пор не повешены на рояльной, тонкой, режущей шею струне. Поэтому я обещаю вам, что этот концентрационный лагерь, где вместе с вами в седьмой камере сидит ваш лидер Гердлер и пишет для меня проект восстановления будущей Германии, будет раздавлен танками зеленых СС после того, как вас казнят, если вы не согласитесь написать мне все про ваши опорные пункты в Испании, арабском мире, Англии, Штатах, Латинской Америке — особенно в Латинской Америке. Мы знаем, что у вас там создано по крайней мере девять крупных

банковских и нефтяных корпораций, которые имеют тенденцию к тому, чтобы разрастаться вширь и вглубь. Мы хотим получить от вас не только номера банковских счетов и пароли для свободных операций с их деньгами, но, главное, имена тех ваших людей, которые и в будущем смогут продолжать работу — как на вас, так и на меня. Вопрос репутации в деловом мире — вопрос вопросов; вы понимаете, что у меня есть деньги, много денег, но мне нужны бизнесмены с репутацией, которые смогут немедленно реализовать наши капиталы, гарантировать не только их надежное помещение в сейфы банков, но и вполне легальные счета. Либо вы пишете мне имена этих людей и я устраиваю вашу эвакуацию из этого лагеря в другое место — вполне безопасное, — либо я перестану бороться за вашу жизнь». Понимаете задачу, старина? Отдаете себе отчет в том, как он будет юлить и вертеться?

— Это я понимаю, рейхсляйтер... Я понимаю, что вы ставите передо мною задачу практически невыполнимую... Вы считаете, что этот безнадежный разговор тем не менее целесообразен?

Борман выпил еще одну рюмку и ответил:

— Кто из древних утверждал, что «Париж стоит мессы»? Вы юрист, должны помнить...

— Ну, во-первых, это выражение приписывают Генриху IV, но мне сдается, что француз не мог *отлить* такого рода фразу, надо искать аналог у древних римлян...

— Вот и поищите. А в конце беседы нажмите ему на мозоль. «Шелленберг, — заключите вы, намекая на то, что вам известно все обо всем, и даже об их разговоре с глазу на глаз, когда красавец вез старого адмирала в тюрьму, и тот, вполне возможно, назвал ему кое-какие имена, почему бы нет?! — уже кое-что открыл мне, откроет все до конца, и вы понимаете, отчего он поступит только так, а никак не иначе, стоит ли вам уходить в небытие, будучи обыгранным своим учеником?» Это все, о чем я полагал нужным сказать вам. Хайль Гитлер!

...Кальтенбруннер поднялся навстречу Канарису, широко улыбнулся, протянул руку; тот *ищуще*, но в то же время недоверчиво заглянув в глаза обергруппенфюрера, руку пожал; начальник главного управления имперской безопасности отметил, как похудел адмирал, сколь пергаментной стала его кожа на висках и возле ушей, поинтересовался:

— Прогулки вам по-прежнему не разрешены?

— Увы, — ответил Канарис. — И это, пожалуй,

самое горькое наказание изо всех тех, которые выпали на мою голову: без двухчасового моциона я делаюсь совершенно больным человеком...

— Двухчасовую прогулку не позволяют совершать ваши британские друзья, — вздохнул Кальтенбруннер. — Налеты бандитов Черчилля носят характер геноцида, мы боимся, что они разбомбят этот лагерь и всех его обитателей, поэтому вас и держат в бункере, а вот минут на сорок — подышать воздухом в лесу — я готов вас сейчас пригласить. Не откажетесь составить компанию?

Впрочем, перед тем как вывести адмирала в лес, Кальтенбруннер походил с ним по *аппельплацу*, взяв его под руку, чтобы узники воочию увидели дружбу нынешнего шефа РСХА с бывшим руководителем армейской разведки Германии.

В лесу пахло прелью; снега уже не было; листва была до того нежной, что, казалось, и она большую часть времени проводит под землею, как немцы в бомбоубежищах; почки были в этом году какими-то особенно большими, *взрывными*; дубравы казались нереальными, гулкими, пустыми из-за того, что в лесу не было слышно человеческих голосов (раньше здесь всегда играли мальчишки, возвращаясь на хутора из школы);

не работал ни один мотор (обычно в это время года тут велись очистительные работы, срезали прошлогодний сушняк); лишь пронзительно и глумливо орали сойки, да еще где-то в кустах пугающе ухал филин.

— К покойнику, — сказал Кальтенбруннер. — Филин — птица несчастья.

— После месяцев в тюрьме эти звуки кажутся мне символами счастья, — откликнулся Канарис. — Ну, расскажите, что происходит на фронтах? Нам же не дают ни газет, ни листовок...

— А как вы сами думаете? Где, по-вашему, стоят англичане с американцами? Где русские?

— Русских мы задержали на Одере, — задумчиво ответил Канарис, — а западные армии, видимо, идут с юга к Берлину.

— С севера тоже, — ответил Кальтенбруннер. — А русских *пока* задержали на Одере. Не думаю, чтобы это продолжалось долго.

— Вы приехали ко мне с предложением, как я понимаю. В чем оно заключается?

— Мне было бы интересно выслушать ваши соображения, господин Канарис...

Канарис остановился, запрокинул руки за голову и рассмеялся:

— К висельнику приехал тот, кто должен его

казнить, но при этом соблюдается рыцарский политес! Я — «господин», а не арестант номер пятьдесят два! Дорогой Кальтенбруннер, за те минуты, что мы с вами гуляем, я понял: у вас есть о чем меня спросить, выкладывайте карты на стол, попробуем договориться...

Кальтенбруннер закурил, поискал глазами, куда бросить спичку, — в лесах, саженных возле хуторов, всегда ставились урны для мусора, оберточной бумаги и пустых консервных банок; не нашел, сунул в коробок, хотя знал, что это плохая примета, но преступить в себе австрийца, преданного немецкой идее, не смог — порядок, только порядок, ничего выше порядка; заговорил медленно, повторяя почти слово в слово то, что ему *позволил* сказать Борман.

Канарис слушал не перебивая, согласно качал головой, иногда убыстряя шаг, а иногда останавливаясь.

— Вот так, — заключил Кальтенбруннер. — Это все. Вам предстоит принять решение.

— Я, конечно же, назову ряд имен, счетов и паролей для того, чтобы вам были открыты сейфы в банках, но ведь это означает мою немедленную и безусловную казнь, обергруппенфюрер. Я, увы, знаю условие игры, которое вы исповеду-

ете: алчная, устремленная и самопожирающая безнравственность... Я назову вам имена, но, поверьте, если бы вы действительно захотели преуспеть, вам бы стоило охранять меня так, как вам предстоит охранять вашу семью в самом недалеком будущем. Но вы не сможете преступить себя, в этом ужас вашего положения, мой молодой друг.

— Вы неправы по двум обстоятельствам, господин адмирал. Первое: уничтожив вас, я рискую подвести тех наших людей, которые придут с паролем в банк; вполне возможно, что у вас в банках все варианты оговорены заранее. Второе: уничтожив вас, я лишусь Испании, где ваши позиции общеизвестны, а Испания — тот плацдарм, откуда более всего удобна наша временная передислокация в Латинскую Америку.

Канарис покачал головой:

— Вы не додумали разговор со мною, Эрнст. Не сердитесь, что я обращаюсь к вам так фамильярно?

— Мне это даже приятно, господин адмирал.

— Видите, как славно... Итак, вы прибыли сюда, подчиняясь чьему-то указанию, сами бы вы ко мне не решились поехать: я достаточно хорошо знаю вас и наблюдал вашу работу последние

полтора года весьма тщательно. Скорее всего, вас отправил рейхсляйтер... Вы никого не подведете, поскольку пока еще и Риббентроп имеет радиосвязь с нашими посольствами за границей, и армия может выходить по своим шифрам на наши военные атташаты в Швейцарии, Испании, Аргентине, Португалии, Швеции, Парагвае, Бразилии, Колумбии и Чили. Ваши люди отправят с моим паролем тех агентов, чьими жизнями вы не дорожите — каждая уважающая себя разведка имеет такого рода контингент, которого не жаль отдать на заклание во имя успеха большой операции... Значит, послезавтра вы получите в свое пользование счета и наладите контакт с моими могущественными банковскими контрагентами, предложив им — для легальной реализации — свое золото. Это — по первой позиции. По второй: мои связи в Испании были особенно сильны, когда мы крушили там коммунистов, а потом вели игру против Черчилля, чтобы он, используя дурную репутацию генералиссимуса, не осуществил свою идею высадки на Пиренеях... Он тогда раз и навсегда решил вопрос и с Гибралтаром, и с республиканскими иллюзиями горячих басков и каталонцев — под предлогом антинацистской борьбы на юге Европы. Сейчас время упущено,

Рузвельт смог сдержать неистового Уинни, значит, мои возможности значительно ослабли: в политике наиболее ценен вопрос времени, в котором только и реализуется сила. Думаю, аппарат партии имеет там значительно более крепкие опорные базы, чем я среди фаланги Франко и сочувствующих ей военных. Другое дело, я бы мог стать полезным, получи я от вас такого рода гарантию, которая убедит меня в моей вам нужности — на латиноамериканском и дальневосточном направлениях...

— Какие нужны гарантии?

— Как первый этап сотрудничества: я пишу то, что вас интересует, мы оформляем договор деловым образом, пути назад нет, Лондон теперь просто-напросто не *поймет* меня; если вы ознакомите англичан с такого рода документом, моя репутация будет подмочена в глазах секретной службы короля; вы отправляете в Швейцарию мою информацию, а я приступаю к подготовке для вас дела на латиноамериканском направлении... Эрнст Рэм начинал работать с лейтенантом Стресснером в Боливии, но ведь сделал Стресснера полковником я, и я именно передал ему фото фюрера с дарственной надписью...

— Швейцария исключается... Мы сейчас просто-

напросто не имеем права страховать себя фактом ознакомления ваших британских друзей с нашим — если мы сговоримся — договором о тайном сотрудничестве, ибо это значило бы добровольно отдать Лондону ваши связи, ваши корпорации и моих людей. К разговору, скорее, оказались неподготовленным вы, а не я. Либо вы верите мне и мы начинаем впрок думать о будущем, либо вы мне не верите и я вынужден поступить так, как мне предписано. Срок на размышление — два дня, я вернусь к вам в субботу, к двенадцати.

— Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня... Тем более гуляем мы не более получаса, а это такое блаженство, подарите мне еще десять минут, милый Эрнст... Я готов начать писать прямо сейчас, не медля... Мне потребуется примерно месяц на то, чтобы сформулировать проблему и обозначить данности...

— Господин адмирал, — жестко перебил Кальтенбруннер, — в вашем положении самое опасное — заиграться. Не надо... Вы же понимаете, что месяц меня не устроит: мы с вами отдаем себе отчет, почему вы запросили именно тридцать дней в обмен на ваши *знания*... Так что полчаса, во время которых вы напишете *огрызок*, дела не решат. Пара дней — это хороший срок, мало ли

что может произойти за два дня, сейчас каждая минута чревата неожиданностями...

— Эрнст, а что случится с вами, узнай фюрер о вашем со мною разговоре?

Кальтенбруннер хмыкнул:

— Вы пугаете меня? Я объят страхом! Я готов написать рапорт на самого себя! Господин адмирал, когда вы встречались с представителями британской секретной службы и вели с ними весьма рискованные разговоры, у меня в сейфе лежала копия вашего рапорта Кейтелю о необходимости проведения встречи с врагом, во время которой возможны «непредвиденные обороты беседы». Вы — стратег хитрости, господин адмирал; не только Гелен называет вас своим мэтром, но и я — в какой-то, естественно, мере...

Канарис улыбнулся:

— Это комплимент... Милый Эрнст, ответьте как на духу: вы вправду полагаете, что талант Адольфа Гитлера и на сей раз выведет Германию из кризиса? Не торопитесь, погодите... Если вы продолжаете уговаривать себя, что так именно и случится, то дальнейший наш разговор бесполезен, но если вы, наконец, решились дать себе ответ на этот очевидный вопрос, то, видимо, вы стоите перед выбором пути в будущее... Я

понимаю, о чем вы думаете, интересуясь моей информацией, *знанием*, как вы изволили заметить... А ведь вы могли бы стать спасителем нации, решись на то, что сами же подавили год назад: путч, устранение фюрера, обращение к Западу, роспуск партии — притом, вы и ваши коллеги остаются на ключевых постах государственной машины, гарантируя ее противостояние большевистским полчищам.

— Господин адмирал, я приехал к вам как политик, но не как предатель...

— Замените слово «предатель» на «мобильный эмпирик», и вас примут в любом клубе, милый Эрнст, нельзя же ныне олицетворять личность фюрера с будущим нации...

Кальтенбруннер взглянул на часы, чтобы скрыть растерянное смущение: Канарис сказал то, о чем он впервые подумал — робко, *ужасаясь* — два дня назад, когда возвращался из штаб-квартиры Гиммлера; полыхали зарницы на востоке; с Балтики дул промозглый ветер, а в ушах чуть что не звенели страшные слова рейхсфюрера: «Думая о себе, Эрнст, немец теперь обязан думать о будущем Германии...»

Бедные, бедные женщины... — II

— Нет, — сказал Штирлиц, выслушав Дагмар, — все не так... Ваша реакция на слова друзей Бернадота о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, слишком *организованна*... Вы женщина, то есть — эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии... Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения, вы должны обвинять Бернадота в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать: либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или — или, третьего не дано...

Дагмар смотрела на Штирлица неотрывно, горько, и какая-то странная, отрешенная улыбка трогала порою ее губы.

— Милый человек, — сказала она, — не судите меня строго. Женщина — самый податливый ученик... Поэтому она тщится повторить мужчину... Про мужа я не хочу говорить, он несчастный маленький человек, а вот мой первый наставник в делах разведки... Я копирую его манеру, понима-

ете? В детстве я занималась гимнастикой; тренер стал моим богом; прикажи он мне выброситься из окна — я бы выбросилась... А мальчишки из нашей группы были другими, в них с рождения заложено рацио... И вдруг пришли вы: мудрый добрый мужчина, чем-то похожий на тренера, говорите правду...

— Не всегда, — жестко заметил Штирлиц.

— Значит, у вас ложь очень достоверна... И потом вы умеете шутить... И прекрасно слушаете... И не поучаете... И позволяете мне чувствовать себя женщиной... Видите, я привязалась к вам, как кошка...

— Все-таки лучше привяжитесь ко мне, словно гимнастка к тренеру...

— Как скажете.

Штирлиц поднялся, отошел к телефону, спросил разрешения позвонить, набрал свой номер:

— Здравствуйте, Ганс... Я сегодня, видимо, тоже не приеду, так что можете готовить на себя одного...

— Где вы? — спросил Ганс.

— Ваш шеф позволил задавать мне и такие вопросы?

— Нет. Это я сам. Я волнуюсь.

— Вы славный парень, Ганс. Не волнуйтесь,

все хорошо, меня охраняют три автоматчика... Я позвоню вам завтра; возможно, заеду в десять; пожалуйста, погладьте мне серый костюм и приготовьте две рубашки, одну — серую, другую — белую; галстук — на ваше усмотрение. Почистите, пожалуйста, туфли — черные, длинноносые...

Ганс удивился:

— Длинноносыми бывают люди... Это которые в вашей спальне?

— Вы хорошо освоились, верно, они стоят там. И сделайте несколько бутербродов с сыром и рыбой, мне предстоит довольно утомительное путешествие.

— Я не понял, сколько надо сделать бутербродов, господин Бользен...

«Вот так светятся, — отметил Штирлиц. — Насквозь. И это очень плохо. Немцу нельзя говорить «несколько бутербродов». Нет, можно, конечно, но это значит, что говорит не немец или не чистый немец. Я должен был сказать: «Сделайте семь бутербродов», и это было бы по правилам. Надо отыграть так, чтобы Мюллер понял, отчего я сказал это свое чисто русское «несколько»...»

— Разве ваш шеф не говорил, что я уезжаю с дамой? Неужели трудно подсчитать, что днем мы

будем есть три раза по два бутерброда — итого шесть; я возвращаюсь один, значит, перекушу ночью один раз, а утром второй, при условии если удастся соснуть в машине, коли не будет бомбежек на дорогах, — следовательно, к шести надо прибавить четыре. Итого десять. Сколько кофе залить в термос, вы, надеюсь, знаете? Шесть стаканов — если у вас так плохо с сообразительностью.

Ганс — после паузы — вздохнул:

— А что же буду есть в дороге я? Шеф приказал именно мне везти вас с вашей спутницей...

— Значит, сделаете шестнадцать бутербродов и зальете второй термос — в случае если ваш шеф не отменит своего приказа.

Штирлиц положил трубку, включил приемник. Диктор читал последние известия: «Наши доблестные танкисты отбросили врага на всей линии Восточного вала; неприступная линия одерского бастиона — тот рубеж, на котором разобьются кровавые полчища большевиков. На западном фронте идут бои местного значения, англо-американцы несут огромные потери; наши доблестные летчики сбили девяносто два вражеских самолета, подожжено тридцать четыре танка и взорваны три склада с боеприпасами.

Воодушевленные идеями великого фюрера, наши доблестные воины демонстрируют образцы беззаветной верности национал-социализму и рейху! Победа приближается неотвратимо, несмотря на яростное сопротивление вконец измотанного противника!»

...Затем диктор объявил час оперетты. Заместитель рейхсминистра пропаганды Науман[21] более всего любил венскую оперетту, поэтому составители программ включали такого рода концерты в радиопередачи ежедневно, иногда по два раза в сутки. С тех пор как по решению Розенберга и Геббельса, отвечавших за идеологию национал-социализма, в рейхе были запрещены американские джазы, французские шансонье и русские романсы, с тех пор как Розенберг провозгласил главной задачей НСДАП восстановление и охранение старогерманских традиций, с тех пор как на человека в костюме, сшитом за границей, стали смотреть как на потенциального изменника делу фюрера, с тех пор как принцип «крови и почвы» стал неким оселком, на котором проверялась благонадежность подданного, с тех пор как в газетах стали печатать лишь те

21 Примечания: 21

Науман — ныне один из лидеров легального неонацистского движения в ФРГ.

материалы, в которых доказывалось величие одного только германского духа и утверждалось, что культуры Америки, России, Франции, Англии есть не что иное, как второсортные словесные или музыкальные упражнения недочеловеков, заполнять эфир становилось все тяжелее и тяжелее. Глинка, Рахманинов, Римский-Корсаков и Прокофьев представляли собою музыку вандалов; Равель и Дебюсси — мерзкие насильники мелодизма (Геббельсу удалось с трудом отбить право на трансляцию арий из опер Бизе; он сослался на фюрера, который однажды заметил, что композитор был не чистым евреем, и потом гадкая кровь числилась в нем по отцу, а «есть сведения, что мать гения, француженка, имела роман с немцем за год до рождения композитора»); «дергания» джаза были объявлены «утехой черномазых», это не для арийцев, а Гленн Миллер и Гершвин вообще паршивые евреи. Спасали оперы Моцарта, симфонии Бетховена и Вагнера. Четыре часа в сутки было отдано песням партии, армии, «Гитлерюгенда» и ассоциации немецких девушек «Вера и Красота». И, конечно же, любимые Науманом оперетты (однако и здесь были свои сложности: Оффенбах — не ариец, Кальман — тем более, а Легар — полукровка). В последние

месяцы, когда бомбежки сделались чуть что не беспрерывными, рацион ежедневного питания по карточкам стал вообще мизерным, Геббельс приказал экспертам по вопросам идеологии в департаменте музыки прослушать мелодии немецких джазовых композиторов начала тридцатых годов. «Пусть людей радует хотя бы веселая музыка, — сказал рейхсминистр, — давайте развлекательные программы постоянно, включайте побольше испанских песен, они бездумны; можно транслировать веселую музыку Швеции и Швейцарии, пусть даже джазовую, предварив дикторским текстом, что это мелодии наших добрых соседей...»

— Любите венцев? — спросила Дагмар, неслышно подойдя к Штирлицу. Он ощутил ее дыхание возле левого уха: щекотно и нежно.

— А вы терпеть не можете?

— Я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.

— Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной, Дагмар?

Женщина замерла, словно от удара; Штирлиц ощутил, что она замерла, даже не оглянувшись.

— Зачем вы меня *так* спросили?

— Потому что нам предстоит работа, и я обязан

понять вас до конца...

— Вы меня еще не поняли?

— Нет.

Штирлиц обернулся, положил ей руки на плечи, Дагмар подалась к нему; он тихо, одними губами, прошептал:

— Куда вам вмонтировали звукозапись?

Она обернулась, указала глазами на большую настольную лампу...

— Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?

— Постоянно, — шепнула женщина. — Но вы, видимо, не обратили внимания: когда вы приходите, я выключаю штепсель из розетки... И то, о чем вы говорили во сне, слышала одна я...

(Слышала не только она одна: в ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала...)

...На улице, когда они вышли из машины, Штирлиц спросил:

— Вы все поняли из того, что я говорил во сне?

Она покачала головой:

— Русская няня не смогла меня научить ее языку в совершенстве.

...В ресторане играл аккордеонист; по приказу

имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы тысячелетнего рейха Геббельса, все рестораны обязаны были работать; водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.

Штирлиц попросил бутылку рейнского рислинга, более всего он любил те вина, которые делали возле Синцига и за Висбаденом; до войны он часто ездил на воскресенье в Вюрцбург; крестьяне, занятые виноделием, рассказывали ему о том риске, который сопутствует этой профессии: «Самое хорошее вино — «ледяное», когда виноград снимаешь после первого ночного заморозка; надо уметь ждать; но если мороз ударит после дождя, крепкий мороз, тогда весь урожай пропадет псу под хвост, продавай землю с молотка и нанимайся рудокопом, если «трудовой фронт» даст разрешение на смену места жительства».

— Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.

— Я — суеверная, за удачу не пью.

— Хорошо, тогда я скажу проще: я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны...

— Это будет подло по отношению к Герберту... Хоть мы только формально были мужем и женою,

но, тем не менее, это будет подло... Он ведь и жив только потому, что я по-прежнему здесь.

— Он мертв, Дагмар. Вам лгал Лоренс... Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам передают от него, написаны им за неделю перед смертью, его вынудили проставить даты вперед, впрок, понимаете?

Женщина кивнула, глаза ее мгновенно налились слезами, подбородок задрожал...

Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка; она быстро оглядела зал, остановилась на его, Штирлица, отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику.

Штирлиц положил ладонь на руку Дагмар, шепнул:

— За нами смотрят, а сейчас будут слушать... Пожалуйста, соберитесь... Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?

Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение потому, что пришла именно эта молоденькая девушка. Половина людей из службы слежки была влита в специальный батальон СС, отправленный на Зееловские высоты на Одере (Мюллер сказал правду); в коридорах РСХА он

услышал, что для работы привлечены наиболее проверенные девушки из гитлеровской организации «Вера и Красота»; два факта, сложенные вместе, — при той атмосфере *игры*, в которой он очутился, — позволили ему сделать немедленный и правильный вывод: каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то, значит, Мюллеру известен адрес его радиста.

«И этим моим радистом, — думал Штирлиц, медленно вальсируя с Дагмар, — вполне может быть его сотрудник. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что плейшнеровскую, которую он отдал им на Блюменштрассе в Берне, они уже две недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она — в их комбинации, это очевидно. Но в какой мере она с ними? Она умная, это плюс для моего дела. Она умная, значит, она не могла не почувствовать той изначальной неправды, которая объединяет людей здешней идеи. Это можно скрывать, но этого нельзя скрыть, так или иначе уши вылезут, и умный эти заячьи уши не может не заметить... Она несчастна, и не только из-за них... Она несчастна

по-своему, по-бабьи, как только и могут быть несчастны очень умные, да еще к тому же красивые женщины, у которых нет детей... Но если это так и если Мюллер понял это первым, а он умный человек, то отчего бы ему не подготовить ее к работе против меня? Но ведь так нельзя — не верить никому и ни в чем, Максим, так нельзя! Нет, можно, — возразил он себе, ощущая ладонью, как тонкая спина Дагмар нет-нет, да и вздрагивала от сдерживаемых слез, хотя глаза ее были сухи, только на скулах выступил пунцовый румянец. — Не только можно, но сейчас, в этой ситуации, нужно, потому что здесь готовят такое, что, видимо, очень опасно для моих соплеменников, но я еще не могу понять, что именно они готовят, а только один я здесь могу это понять, я просто-напросто не имею права не понять этого...»

— Дагмар, — шепнул он женщине, — ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем говорить с вами... Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас скажу... Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того уже, как купите машину — они там стоят возле бензоколонки, документы вам оформят сразу же, — покружите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом

маленьком городке, — когда будете совершенно одна, — кроме той телеграммы, которую вы обязаны отправить мне, пошлете вторую... Запоминайте, Дагмар... «Доктор Шнайдер, Ульфгаттан, 7, Стокгольм, Швеция. Срочно пришлите с оказией мое снотворное, иначе я совершенно болен. Кузен». Запомнили?

Женщина покачала головой, и по щеке ее скатилась быстрая слеза.

— Я повторю вам во время следующего танца... Вы сделаете это, Дагмар, ибо это нужно вам так же, как мне, а может быть, даже больше...

Телеграмма, которую выучила Дагмар, ничьей расшифровке, да еще в Швеции, не поддавалась. Это был сигнал тревоги, получив который Центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противником, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему не понятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в Центр, хоть и соответствует действительности, но, тем не менее, организована Мюллером именно так, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль.

Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру.

...Радист встретил его радостно, снова предложил кофе, посетовал, когда Штирлиц отказался, и передал ему шифровку Центра:

«Дайте еще более расширенную информацию: кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника? Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще».

Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что; она была первым шагом в рискованной и сложной контригре; он решил начать ее, не дожидаясь связника, присылка которого подразумевалась сама собой, в случае если Дагмар отправит его телеграмму:

«Дагмар Фрайтаг я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04. Она служит Шелленбергу по идейным соображени-

ям; для вас она может исполнять роль маяка, *светить* тех людей, с которыми ей предписано общаться. Вальтер Рубенау, которого мне предстоит отвезти в Швейцарию, должен наладить дублирующие контакты с экс-президентом Музи в целях поиска путей для спасения узников концлагерей. Я пробуду с ним два дня в Базеле, а затем выйду на связь с вами уже из рейха; в силу чрезвычайной конспиративности переговоров и страха Гиммлера, что об этом могут узнать большевики, связника в Швейцарию во время моей первой поездки прошу не посылать. Деньги, которые вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде.

Юстас».

Последняя фраза — так же как и слова об «идейности» Дагмар и о предстоящем «возвращении в рейх» — была главным в игре; пассаж о «перечислении денег в Асунсьон» не был заранее оговорен с Центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством; к Дагмар в Швеции *подсядет* че-

ловек из Москвы, и она на словах ему передаст то, что должна передать, он, Исаев, решил поверить ей до конца...

...Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с ней. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи; Дагмар вынесли на носилках: она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам «Интерпола». Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса, — и это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый, маленький человечек из спецгруппы Мюллера, стакан этот взял с собою; через полчаса туда будет влит грамм смертельного яда; таким образом, Штирлиц — если он решит бежать из рейха — будет передан в руки «Интерпола» в любом уголке земного шара как садист и убийца...

...Однако назавтра, ровно в назначенное время, от «Дагмар» из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окру-

жением Бернадота: «С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в рейх на встречу с высшими чинами рейха для обсуждения условий перемирия на западном фронте».

...Сообщение это, переданное в Москву (Штирлиц о гибели Дагмар ничего не знал, а Центр, понимая, что телеграммы могут быть расшифрованы противником, об этом ему не сообщил, начав свою, особую *игру*), тем не менее соответствовало действительности; советская разведка получила точные данные, что именно в тот день, когда пришла шифровка от «Дагмар», граф Бернадот действительно встретился с Генрихом Гиммлером в здании шведского консульства в Любеке.

Информация к размышлению — IV (Директор ФБР Джон Эдгар Гувер)

Директор ФБР несколько раз прочитал запись разговора «дикого Билла» с адвокатом из конторы Даллеса Дэйвом Лэнсом, которую его люди смогли зафиксировать, оборудовав аппаратурой тот столик, за которым ужинали друзья; поскольку Лэнс заранее заказал хозяину ресторана отменную еду, а все аппараты друзей Донована прослушивались ФБР (конечно же, в целях «охраны государственных интересов США и личной безопасности директора ОСС»), наладить *дело* не составляло труда для «особой команды» Гувера, занимавшейся выполнением его наиболее секретных поручений.

...Поскольку Гувер переживал сейчас такие же тревожные дни, как и Донован, он должен был знать все, что происходит в хозяйстве его могущественного конкурента — а потому возможного союзника — в борьбе за выживание; впрочем, президент пока еще открыто не обсуждал его, Гувера, увольнение с этим паршивым социали-

стом Гопкинсом, но, тем не менее, на порог Белого дома вход ему был последнее время заказан; Рузвельт обладал уникальной памятью; он, как никто другой, всегда помнил, на чем состоялся Гувер.

...Каждая страна обычно являет собою некое двузначие: потомки недоуменно вопрошают себя, как в одних и тех же географических границах могли соседствовать да, в общем-то, и определять лицо страны столь полярные тенденции, как Гитлер и генерал Людендорф — с одной стороны, и Эрнст Тельман, Томас Манн и Альберт Эйнштейн — с другой; Муссолини — на одном полюсе, Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти, Ренато Гуттузо и Альберто Моравиа — на другом; как могли существовать в одном историческом срезе Бисмарк и Маркс, Толстой и «серый кардинал» Победоносцев, Плеханов с Халтуриным и лидеры грязного черносотенства; как в республиканской Франции на одной и той же улице могла соседствовать штаб-квартира фашистских кагуляров гитлеровского ставленника де ля Рокка и мастерские Арагона и Пикассо; как, наконец, связать воедино такие несовместимости, как Хемингуэй, Драйзер, Фитцджеральд, Гершвин, Армстронг — по одну сторону, и Гувер, Форрестол и вожди

Ку-клукс-клана — по другую?!

Ситуация, сложившаяся в Америке после окончания первой мировой войны, была столь любопытной, что кое-какие проекции на последующие повороты политики вполне возможны и оправданны.

...Американские солдаты вернулись тогда из Европы победителями, но ведь вернулись домой далеко не все: часть молодых парней, воспитанных на лозунгах демократии, продолжали служить в оккупационных войсках, расквартированных Белым домом на захваченных территориях большевистской России; они, эти американские парни, впервые покинувшие свою родину, стояли под одними знаменами с агрессорами, вторгшимися в Советскую Республику по указу королевской Британии, милитаристской Японии, янычарской Турции — да мало ли еще кто рвал измученное тело России в те лихие годы?!

Однако доктрина великих свободолюбцев Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна не была тогда пустой фикцией в Штатах; многие люди верили, что именно право каждого человека, а уж тем более государства на свободу выбора обязано быть подтверждено законом, то есть не

только словом, но и делом.

Именно поэтому рабочая Америка активно и открыто поддерживала большевистскую Россию, провозгласившую — подобно Джорджу Вашингтону в свое время — свержение ига монархии и создание республики под понятным для каждого американца девизом: «Свобода, равенство и братство».

«Руки прочь от Советской России!» — был не просто лозунг в Америке; это было действо, сопровождавшееся забастовками, пикетами рабочих и демонстрациями полулегальных тогда профсоюзов.

Банки и монополии, провозгласившие, что «большевизм — хуже войны», а потому финансировавшие оккупационную армию за счет снижения заработной платы трудящихся, не могли далее терпеть то, что рабочий класс Америки открыто и недвусмысленно заявил свою позицию по отношению к Ленину и Советам.

Интересы правящего класса, как правило, воплощаются через честолюбивые интересы отдельной личности; так получилось и в Америке.

...Министром юстиции в кабинете Вудро Вильсона был директор банка «Страудсбург нэшнл» Митчел Пальмер; он также состоял председате-

лем совета директоров концернов «Ситизенс гэс», «Интернэшнл бойлер» и «Скрэнтон траст».

Получая сводки о состоянии здоровья президента Вудро Вильсона, страдавшего тяжелым недугом, Пальмер мечтал не только о том, чтобы стать героем правой Америки, разделавшись с левыми; ему навязчиво и изнуряюще виделось кресло в Белом доме; на гребне той операции, которую он задумал, Пальмер мечтал сделаться новым лидером заокеанского колосса, который затем он был намерен превратить в бастион мирового антибольшевизма.

Как и в любой операции, планируемой *сверху*, успех дела решает конспиративность, деньги и подбор верных людей, готовых на все.

Самая природа министерства юстиции предполагала секретность мероприятий; вопросы финансирования задуманного были решены загодя — во время тайной встречи Пальмера с двенадцатью его единомышленниками, хозяевами крупнейших банков и корпораций, недовольных «мягкотелой» политикой либерала Вильсона; что касается людей, готовых на все, то эту команду возглавил давний друг Пальмера, директор бюро расследований министерства Вильям Флинн и начальник вновь созданного секретного отдела

общей информации Джон Эдгар Гувер.

Гуверу тогда было двадцать пять лет; на войну он не был отправлен, поскольку устроился мелким клерком в министерство юстиции; его болезненная ненависть к неграм и левым открыла ему быструю дорогу вверх.

Именно он вошел к Пальмеру с предложением завести учетные карточки на радикалов, то есть на тех, кто пишет, говорит или думает не так, как *все*.

Пальмер долго передвигал на своем огромном столе чернильные приборы, раздражающе-педантично ровнял быстрыми, суетливыми пальцами разноцветные папки, а потом, наконец, сказал:

— Джон, но ведь это — антиконституционная мера.

— Она станет ею, если мы начнем давать интервью щелкоперам, — ответил Гувер. — До тех пор, пока *моя* работа будет внутренним делом министерства, стоящего на страже конституции, никто, нигде и никогда не сможет упрекнуть нас в нарушении основного закона.

Пальмер закурил свой медовый солдатский «честерфилд» и ответил так, как был обязан ответить министр, думающий о президентстве:

— Наша страна исповедует принцип доверия

к гражданину. Если вы полагаете, что ваше дело не нанесет урон святым постулатам свободы — начинайте *свое* предприятие. Надеюсь, вы понимаете, что я не потерплю ничего такого, что пойдет во вред конституции Штатов?

Через четыре месяца Гувер собрал первую в истории США картотеку на инакомыслящих, на все те ассоциации, клубы, союзы, общества, которые выступали за мир с Россией, демократию в Штатах и расовую терпимость; две комнаты в министерстве были забиты двумястами тысячами карточек на тех, кого Гувер посчитал врагами устоев.

Затем он оборудовал тайную типографию, где наладил выпуск «Коммунистического манифеста» и работ Ленина, то есть провокационно печатал запрещенную литературу; ее хранение и распространение было тогда чуть ли не подсудным делом.

Адреса, куда надо будет подбросить эти издания, хранились в сейфе Гувера; важно наметить день; все дальнейшее было тщательно срепетировано.

После этого Гувер поручил своему секретарю, человеку, фанатично ему преданному, провести три тайные встречи с лидерами двух гангстерских

групп, чьи дела тогда проходили в министерстве юстиции; контрабанда наркотиками и продажа запрещенного алкоголя позволила сотрудникам Пальмера арестовать пять наиболее мобильных мафиози, отвечавших в подпольном синдикате за *оперативную* работу.

— Я готов освободить ваших людей под залог, — сказал посланец Гувера шефам гангстерского подполья. — Залог будет не очень большим, хотя, как я понимаю, вы не постояли бы и перед более серьезными затратами, лишь бы взять ваших ребят из тюрьмы. Но за эту любезность вы обязаны будете стать моими добрыми друзьями — отныне и навсегда. А чтобы эта дружба была реальной и нерасторжимой, нужно действо. И оно обязано быть жестоким. Вы готовы к этому?

Собеседники переглянулись — предпочитали не говорить, согласно кивнули.

Посланец Гувера разъяснил:

— Нужно, чтобы вы провели пару взрывов бомб — следует пугануть некоторых людей, потерявших голову от растерянности... Красные лезут к власти... Входите в дело?

Через два месяца неизвестные взорвали бомбу на Уолл-стрите.

Пальмер встретился с журналистами:

— Кровавый террор планируют эмиссары, тайно засланные сюда красными. Нам навязывают гражданскую войну, что ж, мы к ней готовы...

А седьмого ноября, в день, когда трудовая Америка праздновала вторую годовщину большевистской революции в России, агенты министерства юстиции ворвались в те клубы, общества и ассоциации, которые были занесены в картотеку Джона Эдгара Гувера; людей избивали резиновыми дубинками, а то и просто деревянными длинными палками, в тюрьмы были брошены сотни левых.

Это была «проба сил».

А истинная операция прошла в начале января двадцатого года; Гувер не спал всю ночь, сидел у телефонов: в его кабинете установили девятнадцать аппаратов, и все «тревожные» штаты докладывали ему о ходе операции через каждые два часа.

Массовые аресты — схватили более пяти тысяч человек — были проведены в штатах Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс, Небраска.

Людей заковывали в кандалы и связывали одной цепью; именно так, словно рабов в былые времена, их провели по улицам городов на вокзалы, куда уже заранее были подогнаны тюремные

вагоны без окон.

В стране начался шабаш беззакония. Когда первая фаза облавы окончилась, один из ведущих чиновников штата Массачусетс мистер Лангри заявил журналистам:

— Ребята, вы меня знаете, я всегда говорю правду, я вам и сейчас скажу то, что думаю: будь моя воля, я бы каждое утро расстреливал во дворе нашей тюрьмы партию красных, а уж на следующий день разбирал их дела в суде, чтоб все было оформлено по закону, как полагается...

Обезумевший на почве расизма и антибольшевизма писатель Артур Эмпи (его мучили кошмары по ночам, пил сильнодействующее снотворное, поэтому не мог сдерживать дрожь в руках) начал турне по Америке.

— Славяне и евреи, а также негры с мексиканцами являются дрожжами нового большевистского бунта! Люди чужой крови готовятся устроить кровавое побоище истинным американцам! Поэтому запомните: лекарство от большевиков продается не в больнице, а в ближайшей оружейной лавке! Мой лозунг: «Против красных только один способ — высылка или расстрел на месте!»

Гувер к тому времени получил под свою картотеку еще три зала; вход охраняли моряки,

вооруженные кольтами и ножами; количество подозреваемых составляло теперь пятьсот сорок семь тысяч американцев; каждая шестидесятая семья страны подлежала — победи точка зрения Эмпи — высылке из страны или расстрелу.

В тюрьмах начались пытки: арестованных зверски избивали, вызывали на очные ставки жен и детей; мучили в их присутствии, требуя признаться в том, что они участвовали в большевистском заговоре в целях «свержения законно избранного правительства».

В тюремные больницы искалеченных не отвозили; часть выбросили из окон, чтобы скрыть следы побоев — «самоубийство», другие сошли с ума; третьи, не перенеся пыток, умерли.

Помощник министра труда Луис Пост не выдержал; он собрал журналистов и сказал им:

— Мы перестаем быть страною свободы! Мы превращаемся в олигархическое государство под лозунгом борьбы против «анархии». Сейчас «анархистом» считается каждый, кто выступает против бесконтрольной власти финансистов и тупых консерваторов, которые не желают или не умеют думать о будущем, о наших детях, а ведь им предстоит жить в ином мире, совсем не в таком, к какому привыкли мы, старики.

Луис Пост отправил своих сотрудников в тюрьмы, где томились арестованные «анархисты». Его люди вернулись в ужасе: они увидели ни в чем не повинных, истерзанных и замученных американцев, закованных в кандалы.

Пост обратился с открытым призывом к нации за содействием в прекращении «правого безумия».

Его немедленно обвинили в государственной измене и потребовали предать суду; Гувер лихорадочно выбивал показания, чтобы доказать связь семидесятилетнего патриота Америки с эмиссарами Москвы; дело было передано в конгресс; Пост тем не менее вышел победителем; облавы, однако, продолжались, тюрьмы были по-прежнему переполнены.

Автомобильный король Генри Форд, поддерживавший и финансировавший этот шабаш, купил ряд газет и начал печатать цикл статей под заголовком: «Заговор международного еврейства». Русские черносотенцы, эмигрировавшие в Нью-Йорк, подготовили публикацию антисемитской фальшивки — «Протокола сионских мудрецов» (копия с комментариями была отправлена в Мюнхен, Альфреду Розенбергу, молодому помощнику германского националиста Гитлера, который

по-настоящему громко и звонко провозгласил необходимость физического уничтожения большевизма как главной еврейской силы мира).

Ку-клукс-клан провел кампанию избиений негров, «купленных на корню» Москвою.

Ведущие газеты улюлюкали, требовали еще более жестких мер против красных, мексиканцев, русских, украинцев.

...Позже Гувер подготовил для министра Пальмера текст выступления на встрече с представителями прессы.

— Я не стану извиняться за действия людей моего министерства, — сказал Пальмер собравшимся. — Я не считаю нужным выгораживать их, потому что горжусь их работой. Если кто-то из моих агентов был груб с арестованными, то это извиняется той пользой, которую они сделали во имя демократии и свободы в этой стране... Я вообще намерен обратиться в конгресс с предложением ввести смертную казнь для тех, кто призывает к мятежу... Двух таких мы уже знаем — это марксистские террористы Сакко и Ванцетти, их ждет электрический стул, как бы ни вопили об их невиновности большевистские комиссары.

...Вот именно тогда, во время безумного шабаша ультраправых, мало кому известный сенатор

Гардинг бабахнул свое заявление:

— Мы живем в такое время, когда Америке нужны не герои, но целители, не таинственные чудодейственные средства от недуга, но последовательно конституционный образ правления...

Через несколько месяцев именно этому человеку было суждено стать президентом США.

Гувер никогда не забывал, как ему работалось под Гардингом.

Он просто-напросто не имел права забыть это, потому что именно ему — вновь назначенному директору ФБР — пришлось не только охранять Гардинга и его министров, но и заниматься исследованием обстоятельств таинственной гибели американского лидера; впрочем, Гувер отвел от себя руководство этим делом, и он имел все основания для того, чтобы держаться в стороне...

...И вот сейчас Гувер снова и снова листал те маленькие странички с грифом «совершенно секретно, напечатано в одном экземпляре, подлежит уничтожению», на которых был зафиксирован разговор Донована с Лэнсом о том, что Рузвельт делается опасным для Америки.

Да, это так.

Да, именно Рузвельт сделал то, что было ненавистно и Гуверу, и Доновану, как и всем тем, кто

стоял за ними: он признал Советы, он открыл в Москве посольство, он сел за один стол со Сталиным, он признал за большевиками право на равноправное участие в делах послевоенного мира, он мешает людям большого бизнеса предпринять необходимые шаги для того, чтобы сохранить Германию для Запада, он позволяет себе апеллировать к народу через головы тех, кто — по-настоящему — за этот народ отвечает, через голову Уолл-стрита и Далласа, Бостона и Огайо; президента занесло, он поверил в миф, а это недопустимо для политика; сказочник имеет право на то, чтобы рассказать свою добрую сказку и уйти; если он медлит, не надо мешать тем, кто намерен показать ему на дверь.

...Гувер вызвал своего помощника и сказал:

— Малыш, меня тревожит то, что наш президент по-прежнему игнорирует вопросы личной безопасности. Да, Гитлеру крышка, но перед концом он может пойти на все. Я боюсь за нашего президента. Поэтому, малыш, не сочти за труд сегодня же внимательно посмотреть уголовные дела о расследовании обстоятельств гибели Линкольна и Гардинга: уроки прошлого должны быть предостережением на будущее...

«Берлин. Юстасу.

Нас интересует информация о том, в какой мере серьезны контакты Шелленберга с графом Бернадотом. Тот ли это Бернадот, который являлся руководителем Красного Креста? Сообщил ли вам Шелленберг, с кем связан Бернадот на Западе, к кому конкретно просят его обратиться нацисты? Не может ли вообще все это быть дезинформацией?

Центр».

«Берлин. Юстасу.

Может ли быть дезинформацией со стороны Шелленберга упоминание имени экс-президента Швейцарии доктора Музи? Идет ли речь о нем или о его сыновьях? С кем встречался Музи из гитлеровцев? Известны ли ему подлинные имена его контрагентов?

Центр».

Фактор случайности

Секретная информация, пришедшая Борману из Линца, от гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера, насторожила его чрезвычайно.

...Все в рейхе (понятно, среди тех, кто обладал доступом к информации) считали, что люди СС, разгромив генеральский путч, смогли подчинить себе армию и, таким образом, сделались летом сорок четвертого года наиболее могущественной силой империи.

Такого рода мнение было правильным; именно поэтому Борман предпринял все для того, чтобы выровнять баланс сил, сгруппированных вокруг фюрера. Для этого он, использовав Геббельса, поддержал мощную кампанию Гиммлера в газетах, на радио, во время грандиозных митингов и манифестаций: «Слава воинам СС, надежной опоре нации!» Геббельс не был посвящен в святая святых плана Бормана, работал, как обычно, во имя *чистой* идеи; действительно, считал он, без сокрушительного удара войск СС генералы могли бы на какое-то время одержать верх в Берлине. Поэтому он принял за чистую монету

фразу, мимоходом брошенную Борманом: «Теперь большинство членов СС, оставшихся в тылу, следует срочно отправить на фронт, влить их в ряды армии, поставив на руководящие посты; вопрос моральной стойкости СС и их высокой национал-социалистской сознательности доказан на деле — один батальон Ремера разгромил штаб армии резерва и поставил на колени берлинский гарнизон, отравленный ядом продажной американской финансовой плутократии, купившей генералов за грязные доллары».

Гитлер подписал декрет об отправке членов СС в действующую армию...

Таким образом, к осени сорок четвертого Гиммлер уже не имел такой массовой опоры в рейхе, как раньше, ибо большинство офицеров его организации теперь гнили в окопах на Востоке и Западе. Правда, это перемещение массовой тыловой опоры рейхсфюрера не коснулось аппарата РСХА, но двухсоттысячный отряд *«черных»* СС, в основном гестаповцев, не шел ни в какое сравнение с шестимиллионной массой «коричневых», то есть рядовых членов НСДАП.

Теперь, после того как большинство «рыцарей СС» очутились в двойном подчинении — Гиммлера и армейского командования, — после того

как они оказались в блиндаже или казарме, без права передвижения, аппарат Бормана сделался единственным костяком рейха, его скелетом, реальной и бесконтрольной силой страны.

Каждую неделю Борман получал подробные отчеты от своих гауляйтеров. Германия была разделена на тридцать три гауляйтунга — то есть все земли, такие как Бавария, Гессен, свободный город Гамбург, имели свою огромную областную партийную машину.

Борман не отправил на фронт ни одного из своих функционеров, а в аппарате НСДАП работало более девятисот тысяч человек; все они служили ему, одному ему; он получал их ежемесячные отчеты; им он направлял директивы, с ними проводил инструктажи; именно на таком инструктаже, проведенном в Берлине в ноябре сорок четвертого, когда собралось более тысячи местных руководителей НСДАП, Борман сказал:

— Теперь, когда на плечи наших братьев по СС легла главная ответственность за будущее рейха, которое решается на полях битв, ваша задача, дорогие партайгеноссен, заключается в том, чтобы взять на себя часть их работы в тылу, помогать им ежедневно и ежечасно, скоординировать совместную деятельность и по всем

важным вопросам обращаться ко мне, чтобы я мог обсудить наиболее срочные дела с рейхсфюрером Гиммлером.

...Среди функционеров были еще те, которые помнили Эрнста Рэма и Грегора Штрассера, знали, что без них фюрер никогда бы не пришел к власти, ужасались тому, как страшна была судьба этих основоположников движения, и поэтому затаенно, тяжело боялись СС, расстреливавших многих ветеранов партии, посмевших выразить открытое несогласие с акцией бойцов из «охранных отрядов», устранивших Рэма и Штрассера.

Именно поэтому *пассаж* Бормана о «помощи СС» аппаратчикам НСДАП поняли как сигнал к действию, к безусловному подчинению СС местным организациям партии.

Гиммлер узнал обо всем этом постфактум, вернувшись в Берлин из поездки на восточный фронт, после того лишь, когда фюрер сказал ему:

— Все-таки я не устаю поражаться ненавязчивой и корректной доброте Бормана. Он не стал дожидаться вашего к нему обращения, а первым протянул вам руку братства... Полагаю, теперь вы не будете ощущать тех потерь, которые нанесла организации СС передислокация ваших лучших частей на поля сражений...

Гиммлеру оставалось только поблагодарить Бормана и, ненавидяще улыбаясь, пожать его руку.

С тех пор местные организации РСХА и СС должны были — хотя это и не было проведено особым постановлением — передавать свои ежемесячные отчеты в НСДАП.

Один из таких документов попал на глаза гауляйтера Верхней Австрии Айгрубера. В нем глухо говорилось про то, что несколько раз в районе Альт Аусзее, неподалеку от тех мест, где расположена вилла Кальтенбруннера (он обычно по субботам приезжал туда — до того, как сломалось положение на фронтах), зафиксирована работа коротковолнового передатчика, выходящего, судя по всему, на американскую разведывательную сеть в Швейцарии.

Айгрубер запросил в местном гестапо более подробный отчет о вражеской группе, внедренной противником в непосредственной близости к резиденции обергруппенфюрера Кальтенбруннера, однако вразумительного ответа не получил; удивленный, он запросил вторично. «Идет оперативная разработка», — ответили ему лаконично, намекая, что подробности могут нанести ущерб расследованию.

Айгрубер счел своим долгом поставить в известность об этом странном деле Бормана, ибо область, находившаяся в его ведении, вплотную примыкала к Альпийскому редуту, району Берхтесгадена, где дислоцировалась запасная ставка Гитлера — именно туда он должен был со дня на день перебраться из Берлина, чтобы продолжать борьбу против врага; помимо этого, здесь, между Линцем и Зальцбургом, находились соляные копи Альт Аусзее, куда были спрятаны экспонаты «музея фюрера» на сумму в девятьсот семьдесят три миллиона долларов.

...Именно эта информация понудила Бормана вызвать Мюллера и поручить ему безотлагательно и досконально выяснить всю правду. «Никто не знает об этом хранилище, — сказал Борман, — я заверил Гитлера, что шедевры мирового искусства никогда не попадут в руки врага: или они останутся нашими, или же они будут погребены в соляных шахтах и уничтожены подземными водами».

Мюллер запросил *своих*.

Ответ пришел такой же невразумительный, как и тот, который был отправлен Айгруберу.

Мюллер сразу же понял, что происходит это, скорее всего, потому, что в процессе расследо-

вания всплыло такое имя, говорить о котором в документе или же по телефону никак невозможно. Неужели Кальтенбруннер тоже начал игру, после того как встретился с Бернадотом?

И Мюллер решил, что в Зальцбург можно отправлять лишь самого верного и ловкого человека.

Кого? Холтоффа? Верен, но глуп, наломает дров, опасно. Айсман? С его принципиальностью он полезет в драку, не думая о последствиях. Конечно, идеальнее всего в этой комбинации был бы Штирлиц. Но он в игре, он нужен здесь.

Мюллер так и не решил, как поступить с этим делом, позвонил Борману, попросил пару дней на размышление; тот согласился, хотя голос его был холоден и лишен той доброжелательности, которая с недавнего времени стала характерна для него во время бесед с группенфюрером.

...Гестапо Линца и Зальцбурга было в растерянности именно по той причине, которую Мюллер ощутил кожей: действительно, передачи на Запад шли чуть ли не с того самого места, где размещался особый отдел связи СД, подчиненный непосредственно Кальтенбруннеру. Следовательно, по законам нацистской иерархии, местное гестапо обязано было войти с предложением в

отдел РСХА по Верхней Австрии; тот — в свою очередь — должен был согласовать этот вопрос с Айгрубером и обратиться, минуя Шелленберга и Мюллера, непосредственно к Кальтенбруннеру за санкцией на проведение оперативной разработки его ближайших сотрудников, сидевших в Альт Аусзее, в роскошной вилле, примыкавшей к замку шефа тайной полиции, за высоким дубовым забором под охраной пулеметчиков СС.

Гестапо Линца и Зальцбурга страшилось входить с такого рода предложением: в ярости Кальтенбруннер был неуправляем. Его реакцию нельзя было просчитать — в секретной службе знали, что на него работают в Альт Аусзее люди, отобранные лично им. Потому-то так и тянулось все это дело и никаких действий не предпринималось...

А между тем в Альт Аусзее, в штате Кальтенбруннера, действительно работал офицер СД, завербованный американской секретной службой в декабре сорок четвертого...

Необходимость кардинального решения

Начальник советской разведки дважды перечитал шифровку полковника Исаева, известного как «Штирлиц» лишь одному его помощнику, с которым он начинал работу в ГПУ еще с Берзинем и Пузицким; раздраженно отодвинул от себя красную папку, в которой ему принесли сообщение, и, сняв трубку кремлевского телефона, спросил:

— Что там мудрит Девятый?

— Он не умеет мудрить, он просто сообщает все, что собрал.

— Товарищ Сталин требует точных данных, а что мне ему докладывать? Мне сдается, вы не очень-то понимаете, как может кончиться *игра* Девятого. А сейчас нужны точные данные.

С этим он и поехал в Кремль.

— Ну и что вы хотите мне всем этим доказать? — медленно спросил Сталин. — Я не до конца понимаю, что передает этот ваш человек? Либо он наталкивает нас на то, чтобы мы предприняли новый, еще более жесткий демарш против Ру-

звельта, либо намекает на необходимость нашего контакта с гитлеровскими бандитами. Нельзя ли предложить вашему человеку прибыть в Москву? Пусть доложит ситуацию, сложившуюся в Берлине, подробно, глядя нам в глаза...

Вернувшись к себе, начальник разведки хотел было составить телеграмму, смысл которой сводился к тому, чтобы Исаев постарался вернуться домой, но, ознакомившись с его последней информацией из Берлина, принял решение прямо противоположное изначальному: аппарат умеет корригировать данности надежнее всех параграфов и указаний.

— Видимо, — сказал начальник разведки своему помощнику, — дни Исаева сочтены, но он понимал, на что шел, согласившись вернуться в Берлин. Продолжим игру — как это ни жестоко. Поскольку кто-то постоянно пугает нас, позволяя нам через Исаева узнавать о факте сепаратных переговоров с союзниками, — мы испугаемся. Мы очень испугаемся... Пусть службы тщательно продумают тексты предстоящих шифровок, которые мы станем отправлять в Берлин. Если Исаев поймет наш ход, он ответит так, как уже однажды было. Я имею в виду его смелый пассаж о переводе денег на его счета... Однако, — он

медленно закурил, тяжело затянулся, — лучше, чтобы он не понял... Да, именно так, генерал... За всем этим делом, которое разыгрывается в Берне, Стокгольме и Любеке, стоят жизни миллионов...

— Готовить спецсообщение для товарища Сталина?

Начальник разведки поднялся из-за стола, походил по кабинету, усмехнулся чему-то, одному ему понятному, и, наконец, ответил:

— Семь бед, один ответ...

— Пока подождем? — спросил помощник.

— Наоборот, сделайте это по возможности быстро.

— Ну и что это нам даст? — спросил Сталин, прочитав страничку, подготовленную начальником разведки. — Ничего это нам не даст, а противнику — если вами играют, а не вы ими играете — даст многое. Черчилль вполне может раздуть дело о нашей неверности, о том, что мы, а не они вступаем в переговоры с Берлином... Нет, я думаю, это ненужная затея... Сообщите вашему полковнику, чтобы он возвращался на Родину, тут мы его и послушаем.

— Если в Берлине получат такую телеграмму и он решится бежать, он погибнет.

— Почему? — Сталин пожал плечами. — Жуков

стоит в ста двадцати километрах от Берлина, вполне можно уйти.

— Гестапо, видимо, читает наши телеграммы. А в своих телеграммах наш человек начал свою игру, не дожидаясь приказания... Он в положении чрезвычайном... Гестапо, видимо, хочет использовать его как канал дезинформации... А может, и самой достоверной информации...

— Я не умею понимать двузначные ответы, — глухо сказал Сталин и тяжело закашлялся. — Или дезинформация, игра, хитрость или безусловно достоверная информация. Этот ваш полковник сможет дать определенный ответ: играют нацисты либо дают достоверную информацию? Или — или?

Начальник разведки сразу же понял, что именно этот раздраженный вопрос Сталина позволяет ему добиться того, в чем Верховный Главнокомандующий был готов — это совершенно очевидно — отказать ему. Поэтому он ответил сразу же:

— Я убежден, что такого рода ответ будет от него получен.

— И вы готовы поручиться перед Государственным Комитетом Обороны, что это будет абсолютно точный ответ?

Начальник разведки на какое-то мгновение

споткнулся, понимая, какую он берет на себя ответственность, но, будучи профессионалом, одним из немногих, кто остался в живых с времен Дзержинского, он понимал, какие огромные возможности на будущее даст ему *игра*, начатая гестапо и разгаданная — в самом начале — советской разведкой. Поэтому он ответил, внимательно посмотрев в глаза Сталину:

— Я беру на себя всю ответственность.

— Не вы, а я, — заключил Сталин. — Мне предстоит принять политические решения на основании ваших материалов. То, что вам забудется историей, мне — нет.

Сразу же после того как начальник разведки ушел, Сталин позвонил по ВЧ Жукову и Рокоссовскому. С Жуковым у него были сложные отношения, а Рокоссовского он любил, запрещая себе, впрочем, признаваться в том, что в подоплеке этой любви было и чувство вины. Попросив Рокоссовского, так же как и Жукова, срочно вылететь в Москву, он сказал ему:

— Я угощу вас настоящим карским шашлыком, а то вы ныне на европейской кухне, а она — пресная. Я всегда страдаю от ее серой безвкусности.

Первым он принял Жукова.

Рассказав о факте переговоров западных союз-

ников с нацистами, Сталин спросил:

— Как вам кажется, Жуков, возможно ли мирное противостояние англо-американцев с немцами в Берлине?

— Солдаты Эйзенхауэра и Монтгомери не смогут соединиться с нацистами, товарищ Сталин, это противоестественно; химические реакции возможны только среди тех реактивов, которые имеют элементы совпадаемости...

— Черчилль, первым провозгласивший крестовый поход против нашей страны в восемнадцатом, не имеет, таким образом, ничего общего с Гитлером — в своем отношении к Советам?

— Я имею в виду солдат...

— А кому солдаты подчиняются? Это хорошо, что вы помягчели сердцем, но война еще не кончена... Словом, я полагаю, что сейчас решающее слово за армией, надо войти в Берлин первыми и как можно раньше... Сможем?

— Сможем, товарищ Сталин...

— То есть армия сейчас должна принять главное политическое решение, утвердить статус-кво, взять Берлин и, сломав сопротивление фашистов, продиктовать им условия безоговорочной капитуляции... Но все это время с запада будут идти англо-американцы, не встречая сопротивления,

по хорошим трассам — Гитлер думал о войне впрок, строил автострады...

— Черчилль знает, что вам известно о сепаратных переговорах, товарищ Сталин?

Сталин не любил, когда ему задавали столь прямые вопросы, поэтому ответил коротко:

— Он знает то, что ему надлежит знать... Хотите Первомай встретить возле рейхстага? Если хотите, думаю, тыл сможет сделать все, чтобы помочь вам... Да и миру от этого будет легче в будущем: лишь доказав свою силу, можно требовать достойного уважения со стороны политиков...

Внимательно слушая Сталина, Жуков вдруг явственно увидел лицо маршала Тухачевского, его продолговатые оленьи глаза, когда тот излагал в Наркомате обороны свою концепцию танковых атак сильными моторизованными соединениями. И почти явственно услышал его голос: «Только доказав фашистам нашу силу, вооружив Красную Армию совершенной научной доктриной, базирующейся на передовой технике середины двадцатого века, мы сделаем войну невозможной, ибо гитлеры боятся только одного — монолитной силы, им противостоящей; они, словно грифы, слетаются на запах крови: нацисты почувствовали Франко, они увидали разлад

между коммунистами, анархистами и центристами — вот вам удар по Испании; уважения от Гитлера не дождешься, он слишком ненавидит нас, но страх перед нашей силой сдержит его от агрессии...»

...Сталин походил по кабинету, остановился возле окна, задумчиво спросил, словно бы и не ожидая ответа Жукова:

— Любопытно бы до конца понять логику Гитлера и его окружения... Отчего они *поддаются* армиям западных союзников? Почему не намерены хоть пальцем пошевелить, чтобы хоть как-то стабилизировать фронт на Рейне? А ведь могут, вполне могут. На что надеются, перебрасывая свои войска с запада на Одер? Даже если они соберут в Берлине миллион солдат, неужели Гитлер всерьез полагает, что это остановит нас? А если не Гитлер, то кто именно считает так среди его ближайших сотрудников? Или это есть попытка задержать нас до того момента, пока англо-американцы войдут в Берлин первыми? Вопрос престижа, а не сговора?

Он обернулся к Жукову, медленно обошел большой стол, на котором царил строгий порядок — журналы «Новый мир», «Знамя» и «Звезда» с разноцветными закладками сложены стопочкой;

так же аккуратно лежали новые книги. Остановился возле своего стула с высокой спинкой, садиться не стал, глухо спросил:

— Когда наши войска до конца подготовятся к наступлению? Когда сможем начать штурм Берлина?

Жуков ответил, что план штурма Берлина проработан в его штабе, наступление Первого Белорусского фронта может начаться не позже чем через две недели, маршал Конев будет готов к этому же сроку.

— Однако, — заключил Жуков, — войска Рокоссовского, судя по всему, задержатся с окончательной ликвидацией противника в районе Данцига и Гдыни до середины апреля и не смогут начать наступление одновременно с нами...

Сталин снова походил по кабинету, потом вернулся к столу, пыхнул трубкой и заключил:

— Что ж, придется начать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссовского... Необходимо кардинальное решение...

Звенья заговора

Мюллер положил на стол Бормана пять страниц убористого — почти без интервалов — машинописного текста и сказал:

— Думаю, тут более чем достаточно, рейхсляйтер.

Борман читал быстро; первый раз обычно по диагонали, делая на полях одному ему понятные пометки; второй раз он *проходил* по тексту скрупулезно, с карандашом, обдумывая каждое слово, но, однако же, лишь в тех строчках, которые мог *пустить в дело*, на остальные не обращая более внимания.

В этих пяти страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.

Рейхсляйтер сразу же отчеркнул целый ряд фраз: «фюрер полностью деморализован», «преступление Гитлера — с точки зрения законов войны — заключено в том, что он до сих пор медлит с эвакуацией ставки в Альпийский редут», «Гитлер не желает смотреть правде в глаза», «ка-

тастрофа, видимо, наступит в конце мая, Гитлер повинен в том, что мы проиграли выигранную кампанию», «то, что Гитлер не разрешает эвакуировать группу армий из Курляндии, то, что он до сих пор не позволяет перебросить *все* войска с запада на восток, свидетельствует о том, что он совершенно оторвался от жизни; он живет в бункере затворником, не понимая настроения нации, ему неведомо, что в рейхе нет хлеба и маргарина, он не желает знать, что люди мерзнут в нетопленых квартирах: его приказ бросать мальчиков «Гитлерюгенда» в бой чреват тем, что через двадцать лет в стране не будет достаточного количества мужчин того возраста, которому предстоит командовать возрожденной армией Германии», «единственная надежда на спасение германского национального духа заключена в том, чтобы сосредоточить под Берлином *все* наши армии и навязать большевикам такую битву, которая потрясет Запад, ибо это будет битва против идеи Интернационала, против русского коммунизма, битва за непреходящие европейские ценности»...

Борман поднял глаза на Мюллера:

— Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права

показать фюреру, это травмирует его ранимую душу.

— Рейхсляйтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были — круче.

— Ну, знаете ли, вгорячах всякое можно сказать... И Гудериан, и Гелен — честные люди, но они слишком прямолинейны, армейская каста... Именно поэтому ваш материал — в таком виде, как он сейчас записан, — не годится... Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого, примерно, рода данные: Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых, он не в силах более выносить постоянных бомбежек, и что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил... По-моему, логично, не находите?

— Вполне.

— Ну а что касается Гудериана, то пусть он скажет Типпельскирху или Хайнрици, что мечтает — после того как его подлечат — вернуться в окопы; танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. Пусть он скажет — но в весьма уважительных тонах, — что постоянные размолвки с Кейтелем, а особенно с Йодлем не дают ему

возможности проявить себя как военачальника, составившего имя на полях танковых битв...

— Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером, — заметил Мюллер.

Борман усмехнулся:

— Это лично я посоветовал ему так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер поручит именно Гудериану поехать в Пренцлау, в штаб группы армий «Висла», и вручить Гиммлеру приказ о том, что с рейхсфюрера слагается командование...

Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладонью, тихо спросил:

— Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет его к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?

Борман долго молчал, потом, вздохнув, ответил:

— Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее: никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед... Вы, наоборот, должны всячески внушать руководителю, что умение видеть грядущее присуще лишь одному ему, и никому другому... Знаете, как бы вам сейчас следовало сказать мне?

— Видимо, я должен был, — добродушно от-

ветил Мюллер, — выразить удивление тем, что столь достойный человек, каким все по праву считают рейхсфюрера СС, не сможет и впредь возглавлять группу армий «Висла»; рейх лишится возможности лишний раз убедиться в том, как благотворно влияние людей СС на безыдейные силы вермахта...

Борман покачал головой:

— Тогда вы бы сразу расписались в том, что служите дураку или параноику... А я психически абсолютно здоров, что, увы, лишает меня надежды прослыть гениальным... Ну, и я не полный дурень... Нет, милый Мюллер, вы должны были сказать, что такого рода решение вас совершенно изумило, а затем достали б блокнотик с ручкой, да и показали б, что вы ничего не можете сами, но лишь умеете скрупулезно выполнять то, что вам предпишет шеф.

Мюллер удержался от того, чтобы не сказать: «Вы навязываете мне свою манеру поведения, стоит ли повторять? Ведь именно поиск рождает новые повороты *качества*».

Борман, словно бы поняв эти мысли Мюллера, заметил:

— Да, да, именно так, я навязываю вам стереотип поведения, который привел меня в то кресло,

где я сижу сейчас, и делаю это потому лишь, что наши с вами отношения в последние недели стали особыми, Мюллер... А теперь скажите главное: сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собою не связанные: первое — начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Кребс, находившийся в тени потому, что был служащим военного атташата в Москве при Шуленбурге, когда тот был послом. Кребс слишком хорошо знал русских и всячески подчеркивал свое убеждение, что военная победа над Россией невозможна; второе — что на пост начальника штаба Кребса провел рабочий секретарь фюрера, некий Борман, полагающий, что именно Кребс — в нужное время — сможет договориться с советским Верховным Главнокомандованием о необходимости прекращения кровопролития.

— Смогу, — ответил Мюллер, окончательно убедившись в том, что у Бормана существует детально проработанный план спасения, в котором элемент случайного провала конечно же учтен, но главная ставка сделана на обстоятельную *планомерность* удачи.

— Я верю вам, — сказал Борман. — Так что теперь вы вправе задавать вопросы.

— Стоит ли, рейхсляйтер? Я бесконечно вам предан, ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а сто ходов и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла.

Борман заметил:

— Что-то вы заговорили, словно Шелленберг: слишком витиевато, а посему — подозрительно...

— Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен... Вот я и начал заливаться по-соловьиному, не сердитесь...

— Ответ убедителен... И, наконец, две последние позиции, Мюллер... Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Дёница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота... И начните там *работу*... Договоритесь с людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж пятерых ваших наиболее доверенных коллег... Пусть они едут туда немедленно... Пусть

они знают, что без вашей команды эта подводная лодка не вправе отойти от пирса ни на сантиметр... А вот эту папку с рядом вопросов по делу Рудольфа Гесса я доверяю не вам — а памяти ваших внуков. Прочитав это дело, можно сохранить главную тайну рейха или, наоборот, потерять ее, что вообще-то обидно. — Словно бы испугавшись того, что Мюллер спросит его о чем-либо, Борман быстро поднялся, передал папку группенфюреру и сказал: — До свиданья, вы свободны!

...Потом он принял Кальтенбруннера, проверив по часам *невозможность* даже случайной встречи Мюллера со своим непосредственным начальником; прочитал три странички, написанные в концлагере Канарисом, поинтересовался, насколько эти данные интересны, выслушал ответ, из которого явствовало, что такого рода информация в картотеках РСХА не зарегистрирована, не говоря уже об отделах армейской разведки, спрятал листочки в сейф, заметив при этом:

— А вот через меня такого рода информация проходила, Кальтенбруннер, и это не та информация! Канарис отдает вам шелуху, попробуйте с ним еще чуток поработать, но, мне сдается, ставить на него нет смысла — *выскользнет*...

Если снова начнет финтить — ликвидируйте его: нечего переводить лагерную брюкву и кофе на бесперспективного человека...

Затем он попросил Кальтенбруннера устроить для него встречу с посланником Парагвая таким образом, чтобы ни одна живая душа, кроме них двоих, об этой встрече не знала, и отправился встречать Кейтеля, который с минуты на минуту должен прибыть из Майбаха для ежедневного доклада фюреру о положении на фронтах...

...А поздно вечером, за час перед вечерним совещанием в ставке, к нему позвонил Штирлиц.

— Через два дня, — сказал Штирлиц, когда они увиделись, — ночью, в генеральном консульстве Швеции в Любеке рейхсфюрер Гиммлер начнет новый тур переговоров с графом Фольке Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно...

— Спасибо, — задумчиво откликнулся Борман. — Если бы я не верил вам и не имел возможности перепроверить такого рода факт, я бы счел это бредом... Не за границей, а здесь, не тайно, а на глазах нации, в рейхе! Немыслимо! Вы сообщили об этом Мюллеру?

— Нет.

— Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц.

Чем дальше, тем мне будет труднее уделять для вас время, вы понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру как мне, он получил мои рекомендации по большинству позиций, которые всех нас беспокоят.

Вернувшись в бункер, Борман прошел в маленькую комнату, где постоянно жил его помощник штандартенфюрер Цандер вместе с двоюродным братом Бормана, начальником гвардии охраны Альбрехтом, и, плотно прикрыв дверь, сказал:

— Цандер, кто из близких рейхсмаршалу людей послушает вашего совета?

— Майор Йоханмайер, — ответил Цандер.

— Да нет же, — досадуя чему-то, возразил Борман. — Он теперь адъютант фюрера, а не человек рейхсмаршала... Я спрашиваю про тех, кто постоянно находится вместе с Герингом...

— Полковник Хубер. Он готов оказать мне любую услугу.

— У него шрам на лбу?

— Да.

— По-моему, кто-то из его родственников по жене был связан с заговорщиками? Чуть ли не двоюродный дядя?

— Именно поэтому я и могу на него положиться.

— Кандидатура хороша... Вы ему верите абсолютно?

— У меня есть к этому все основания...

— Хорошо... Вы должны начать с ним работу в том направлении, что Герингу пора подумать о скорейшей передислокации в Альпийский редут, дабы именно оттуда продолжать борьбу с врагом... Руководить авиацией из Каринхалле невозможно... Вы должны мягко, но точно напомнить Хуберу, а тот, в свою очередь, рейхсмаршалу, что здесь, в канцелярии, может произойти всякое, поэтому приказ фюрера о том, что именно он, Геринг, назначен преемником Гитлера, имеет огромное значение для судеб нации, особенно если высокопоставленные изменники добьются успеха в тайных контактах с врагом... Пусть этот Хубер постоянно напоминает Герингу, что мир возможен лишь между солдатами, а Гиммлер никогда не был солдатом, потому-то фюрер и освободил его от должности командующего группой армий «Висла»... Да, да, приказ уже готов, я передам его вам... А он, Геринг, солдат, этого у него никто не отнимет... Более того, пообещайте Хуберу постоянно держать его в курсе событий, происходящих в бункере. Еще конкретнее — войдите с ним в сговор, сыграв роль человека,

обреченного мною на гибель... Пообещайте ему передать в нужный момент закодированным текстом ту дату, когда Геринг должен будет провозгласить себя преемником фюрера.

«Центр.

Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник — Ганс Кребс, в прошлом оказавшийся в опале, судя по словам Мюллера, потому, что был «чрезмерно уважителен по отношению к русским».

Юстас».

«Юстасу.

Можете ли получить информацию о мере готовности Кребса для контакта с тем, кого мы вам назовем?

Центр».

Начальник разведки напрасно ждал немедленного ответа на эту телеграмму, отдавая себе отчет, сколь большой интерес она вызовет в Берлине у тех, кто вел свою игру.

Штирлиц чувствовал, как в Центре ждут его ответа, ему теперь было до конца ясно, что его поняли дома, но он не стал отвечать, зная, что Мюллер сейчас сидит в своем кабинете, прики-

дывая тот вариант ответа Москве, который ему выгоден, причем — вполне вероятно — он решит обсудить эту препозицию с Борманом и лишь потом придумает такую ситуацию, при которой скажет о Кребсе *то* и *так*, что неминуемо заинтересует Штирлица.

...Мюллер приехал к нему без звонка, под утро, измученный, с тяжелыми синяками под глазами.

Включив приемник, он нашел волну Лондона, настроился на музыкальную передачу и только после этого тяжело опустился в кресло.

— Сейчас я расскажу вам нечто такое, — сказал он, покашливая, — что всякому здравомыслящему члену национал-социалистской партии покажется вздором и ужасом, однако идиотизм положения заключен в том, что каждое слово в этом документе, — он тронул мизинцем папку, переданную ему Борманом, — истина. Посмотрите это, Штирлиц. Посмотрите так, как это умеете делать вы, и объясните мне, что это такое...

Информация к размышлению — V (Гесс)

«Новые данные, которые получила наша служба «заграничных организаций», вынуждает НСДАП вернуться к делу Рудольфа Гесса, получившего членскую книжку партии и золотой значок под номером «17» в один месяц с фюрером, после того как они отбыли заключение в одной камере тюрьмы Ландсберг, где была написана «Моя борьба» — им, Гессом, под диктовку Адольфа Гитлера.

Возвращение к этому делу вызвано тем, что служба личной референтуры Гиммлера отказалась дать ответы на ряд вопросов, возникших в связи с информацией, поступившей из Лондона, где ныне находится Р. Гесс или же тот, за кого выдают некоего человека сотрудники британской секретной службы.

Не дали вразумительных ответов также и те люди из окружения рейхсмаршала Геринга, которые — в силу возложенных на них задач — обязаны были знать о полете Гесса все, поскольку именно они отвечали и за производство боевых машин, и за наблюдение за всеми самолетами,

появлявшимися в небе рейха начиная с 1 сентября 1939 года.

Итак, по пунктам:

1. 10 мая 1941 года в 17.45 из Аугсбурга под Мюнхеном вылетел самолет марки «мессершмитт-110», названный «церштёрером», — без двух дополнительных баков для бензина под крыльями. (В деле имеется фотография самолета, на котором улетел Гесс, изъятая при аресте у его адъютанта Пинча.)

2. 10 мая 1941 года в 22.00 радары британской авиации засекли пролет одиночного самолета в направлении Холи Айленда в Нортумберленде (сведения получены от агента «С-12», внедренного в ВВС Великобритании по линии «заграничной организации НСДАП»).

3. 10 мая 1941 года в 22.50 неизвестный пилот парашютировался в Шотландии, а самолет марки «мессершмитт» потерпел аварию. Пилот в дальнейшем заявил, что он — не «капитан Хорн» — как назвал себя вначале, — но заместитель фюрера Гесс. Он прибыл сюда с миссией мира для бесед с принцем Гамильтоном, другом его приятеля Альбрехта Хаусхофера; «мессершмитт», который назавтра был обнаружен на картофельном поле, имел, однако *два* дополнительных бака

для горючего.

4. Запрошенный нами директор департамента истории концерна «Мессершмитт» доктор Эберт не смог дать сколько-нибудь серьезную информацию по поводу самолета, на котором вылетел заместитель фюрера, поскольку изо *всех* хранимых дел на *каждый* аэроплан, когда-либо выпущенный заводами Мессершмитта, лишь описание и спецификация того, что взял себе Гесс, отсутствует в архиве предприятия.

5. Поскольку ни один самолет — по законам военного времени — не имел права подняться в воздух без соответствующей «полетной карты», поскольку «мессершмитт» Гесса пролетел над радарными зонами Мюнхена, Кельна, Амстердама и был обязан дать пароль наземной службе наблюдения (в противном случае его принудили бы приземлиться или — в случае отказа — сбили огнем зенитных батарей), были запрошены все подразделения люфтваффе, однако *нигде* и *никем* пролет *одиночного* самолета над территорией рейха 10 мая 1941 года зафиксирован не был. (Вполне, впрочем, вероятно, что люфтваффе Геринга не захотело — по каким-то особым причинам — передать НСДАП архивные дела, связанные с этим вопросом.)

6. Допуская мысль, что Гесс приземлялся на одном из военных аэродромов в районе Кельна или же на оккупированной территории Голландии для подзаправки горючим, люфтваффе было запрошено и по этому поводу. Нами получен ответ, в котором категорически отвергается такого рода возможность.

7. Из данных, пришедших из Глазго, тем не менее, становится очевидно, что в одном из подвесных баков разбившегося в Шотландии «мессершмитта» было обнаружено горючее, в то время как без подзаправки и без дополнительных баков самолет просто-напросто не смог бы достичь берегов Англии.

8. В конце марта 1941 года генерал люфтваффе Удет, самый доверенный кумир рейхсмаршала Геринга, был передислоцирован на юг Норвегии с эскадрильей «мессершмиттов» для «конвоирования судов». Все его машины были типа «церштёрер», то есть именно такие же, на которой вылетел из Аугсбурга заместитель фюрера. Штаб Удета не захотел или не смог представить в НСДАП сведения о полетах офицеров эскадрильи 10 мая 1941 года, так как, по его словам, документы той поры сгорели во время одной из бомбежек.

9. По свидетельству генерала люфтваффе Адольфа Галланда, командовавшего эскадрильей «мессершмиттов», дислоцировавшихся на побережье Северного моря, как раз в том месте, где должен был пролетать Гесс, к нему позвонил рейхсмаршал Геринг и потребовал поднять в воздух эскадрилью, чтобы сбить самолет, на котором летит в Англию заместитель фюрера, «сошедший с ума». Это произошло вечером 10 мая, то есть через час или два после вылета «мессершмитта» из Аугсбурга, до того еще момента, как он приблизился к побережью. Однако *назавтра* в штаб-квартире фюрера, куда Геринг был вызван вместе с другими лидерами НСДАП на экстренное совещание по делу Гесса, рейхсмаршал заявил, что он *ничего не знает* о полете Гесса.

10. Судя по информации, поступившей из Лондона, медицинский осмотр Гесса не зафиксировал каких-либо шрамов на теле пленника. В то время как во врачебной карте, составленной в нашем военном госпитале 23 ноября 1937 года, отмечены следующие *шрамы*, полученные заместителем фюрера на полях битв: 12 июня 1916 года он ранен в левую руку и ногу осколком снаряда под Думантом; 25 июля 1917 года он вновь ранен в левую руку; 8 августа 1917 года ранен в левое

бедро пулей возле Унгуреана.

11. Судя по информации, поступившей из Глазго, министерство обороны Великобритании хранит досье на все авиакатастрофы, произошедшие на территории страны; тем не менее, дело «мессершмитта», на котором прилетел Гесс, в делах министерства обороны якобы отсутствует.

12. По полученным из Дублина сведениям, военный кабинет Черчилля запретил делать фотографии Гесса. В мае 1940 года фюрер более всего опасался, что британцы, использовав наркотики, выведут Гесса к радиомикрофонам и он станет вещать на рейх; этого также не случилось, ибо все в Германии хорошо знают его голос. В одном из секретных меморандумов, которые были направлены кабинету Черчилля из того лагеря, где содержится ныне пленник, приводились слова Гесса о том, как он дружил с рейхсмаршалом Герингом, хотя всем известны их натянутые отношения, и при этом бранил рейхсфюрера СС, несмотря на то что их связывала дружба. Стало известно также, что пленник ест мясо и рыбу, причем жадно и чавкая, в то время как заместитель фюрера — вегетарианец и всегда отличался особо изысканными манерами.

13. Сейчас в свете предательских переговоров с

Западом можно сделать вывод, что контакты эти были начаты не вчера и не только лишь Канарисом и Шелленбергом.

Альбрехт Хаусхофер, сын известного основателя геополитики Ганса Хаусхофера, был отправлен Гессом еще 27 апреля 1940 года в Женеву, на встречу с президентом шведского Красного Креста доктором Буркхардом, во время которой обсуждался вопрос о необходимости заключения мира между рейхом и Великобританией. Тот же Альбрехт Хаусхофер по прямому поручению Гесса поддерживал контакт с «госпожой Робертс» в Лиссабоне с целью подготовить почву для заключения мирного договора с Лондоном. Следовательно, заместитель фюрера обладал надежной сетью *связей* на Западе с теми, кто готов был предпринять все возможное, чтобы содействовать его идее мира между Берлином и Лондоном накануне начала операции «Барбаросса».

Исходя из вышеизложенного, можно допустить, что Гесс летел не в Шотландию (туда был отправлен двойник на случай провала его миссии), а в одну из нейтральных стран, где функционируют *приватные* аэродромы; там Гесс мог пересесть на другую машину и оказаться в Лондоне со своими мирными предложениями,

в то время как «капитан Хорн» уже находился в секретном лагере для высокопоставленных узников, являясь *расхожей* фигурой в глубоко законспирированной «комбинации мира». Таким образом, можно допустить существование давнего контакта «Гесс — Черчилль».

14. Поскольку я, как заместитель Гесса, знал о его «мирных намерениях», но, естественно, считал их согласованными с фюрером; поскольку моим девизом всегда было и будет дружество по отношению к тем, с кем я работаю; поскольку подозрительность не свойственна идеологии и практике национал-социалистов, возникают следующие вопросы:

а) кто из высшего руководства рейха мог помогать Гессу в практическом осуществлении его плана?

б) кто из людей Геринга, имевших право распоряжаться полетами боевых машин, мог быть склонен Гиммлером к сотрудничеству и мог подготовить отвлекающий полет двойника Гесса в Шотландию с целью тотальной конспирации мирных переговоров заместителя фюрера с Черчиллем?

в) мог ли Геринг пойти на блок с Гессом?

г) мог ли Канарис или близкие ему люди из

генерального штаба армии оказать подобного рода помощь заместителю фюрера, любая просьба которого расценивалась в рейхе как указание Адольфа Гитлера?

д) есть ли достаточный материал для компрометации Гесса, в случае если он после окончания войны станет претендовать на лидерство в национал-социалистском движении, а если нет, то как их можно получить в самое ближайшее время?

Разглашение даже одного слова из данного меморандума карается казнью виновного и всех членов его семьи, где бы они ни проживали и сколь бы велики ни были их прежние заслуги перед НСДАП».

...Подписи Бормана под документом не было, только странная закорючка, однако именно такого рода закорючкой рейхсляйтер утвердил документы на семьдесят миллионов долларов, которые были внесены на имя «доктора Фрейде» в буэнос-айресском банке «Торнкист» в феврале 1945 года.

...Гесс — в бытность свою заместителем фюрера — не подписал ни одного финансового документа такого рода, так что в этом смысле он не был опасен Борману. Он, однако, был опасен с точки зрения иерархии престижей: все приверженцы

тоталитарного конформизма были, есть и будут почитателями званий, а не ума, должности, а не сердца, орденских декораций, а не чести и морали.

...Когда Штирлиц кончил читать, Мюллер нетерпеливо спросил:

— Ну?

— Пока не понимаю.

— Гиммлер? Он подтолкнул Гесса?

Штирлиц покачал головой:

— И вы ничего никогда ни от кого об этом не слыхали? До вас не доходила информация? Хоть отраженная?

— Штирлиц, я только год назад узнал, как убивали «братьев» фюрера, вождей нашей партии, ее создателей, Грегора Штрассера и Эрнста Рэма. Мне рассказали, что каждый из них перед расстрелом восклицал: «Хайль Гитлер!» Они плакали, убеждая палачей, что фюрер обманут, они молили об одном только — о встрече со своим кумиром. Мне лишь недавно показали письма Гитлера, которые он послал им накануне ареста. Он писал о своем чувстве дружбы и благодарности героям национал-социалистской революции, он объяснялся в любви к своим «братьям по партии» Грегору и Эрнсту, он называл их на «ты» и

просил их всегда быть с ним рядом.

— А вы убеждены, что Борман не хитрит с вами? Зачем надо было подменять Гесса?

Мюллер пожал плечами:

— У меня есть предположение. Первое: сам Борман — через Гиммлера — отправил в Шотландию двойника, а настоящего Гесса передислоцировали — это же было накануне удара по русским, всего за сорок дней до начала войны, — в секретные опорные базы НСДАП в Испании. Если фальшивый Гесс договаривается с англичанами о мире, тогда дело выиграно, начинается война на одном фронте, англичане выдают нам фальшивого заместителя фюрера, настоящий также возвращается, тайна операции соблюдена. Предположение второе: Борман в своей борьбе за власть — скорее всего, через Геринга — в самый последний момент каким-то образом подменил Гесса, и в Шотландию действительно прилетел двойник, отправленный — вместо сбитого Гесса — из Норвегии, с наших баз. Значит, Борман, пугая русских, может уже сейчас начать кампанию: «Истинный Гесс спрятан Черчиллем, выдадут безумного двойника, а заместителя фюрера англичане готовят к лидерству в Германии после гибели Гитлера!»

— Когда вам надо возвратить эти материалы? — спросил Штирлиц.

— Вы с ума сошли, — сказал Мюллер, поднимаясь. — Вы думаете, я оставлю их вам? Для работы? Я их вам не оставлю, Штирлиц, хотя я ничего сейчас не соображаю, ровным счетом ничего, и все мои предположения рождены не знанием, а растерянностью.

«И я ничего не соображаю, — сказал себе Штирлиц, провожая Мюллера на крыльцо особняка, к машине. — Я был убежден, что он приехал с разговором о Кребсе. Неужели я окончательно запутался? Это совершенно ужасно, если так. Значит, я испугал себя, и он не ведет никакой игры?»

...Лишь устало спускаясь по лестнице, Мюллер сказал то, чего так ждал Штирлиц:

— Мне все труднее понимать Бормана. Он, наперекор всем, протащил на пост начальника штаба Кребса. Гудериан бы стоял насмерть, а Кребс может сесть с красными за стол переговоров, чтобы пустить их сюда, но на приемлемых для нас условиях. Он может сделать так, что русские выиграют берлинскую битву без боя.

(Мюллер не мог себе представить, что материал, переданный ему рейхсляйтером, был одним

из звеньев дьявольской игры Бормана, который никогда и никому, кроме себя, не верил, имел абсолютно надежную информацию, что у англичан сидит именно Гесс, «Хорн», если и был такой, давно ликвидирован британцами как неугодный свидетель. Борман полагал, что, если эта дезинформация уйдет — через Мюллера — в Москву, она может оказаться той каплей, которая переполнит чашу терпения русских.

...Штирлиц, однако, просчитал возможный ход мыслей рейхсляйтера и, в свою очередь, решил, что игра на противоречиях Борман — Мюллер не только возможна, но и, в определенной ситуации, спасительна.)

«Центр.

По мнению Мюллера, генерал Кребс готов к контактам, однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Когда на мой счет были переведены деньги, причитающиеся за предыдущую информацию?

Юстас».

Эту радиограмму Исаева начальник разведки

решил пока что не докладывать Сталину, понимая, какой может оказаться его реакция. Он отправил в Берлин еще две шифровки, в которых — приняв игру Исаева — просил «Юстаса» выйти на связь не ранее, чем через неделю, помогая, таким образом, Штирлицу получить возможность выезда в Швейцарию с его новым «подопечным» Рубенау, и сообщал, что через десять дней в Берлине его «найдет связник».

Советская разведка справедливо полагала, что даже один выигранный для Исаева час может оказаться решающим и в его судьбе, и в судьбах сотен тысяч советских воинов, занимавших исходные рубежи для удара по Берлину.

Вот как умеет работать гестапо! — II

Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его Центром, рисовал замысловатые геометрические фигуры, пугавшие его своей безнадежной завершенностью, и каждый раз спотыкался на указании Москвы выйти на связь не ранее, чем через неделю.

«Сейчас дорог каждый час, — снова и снова говорил он себе, — как они могут позволять Штирлицу не гнать информацию постоянно? Каждая минута таит неожиданность, рука должна быть на пульсе больного, отчего же связь прервана на семь дней? Хотя, быть может, они делают главную ставку на связника? И боятся повредить Штирлицу, если станут понуждать его к такого рода активности, которая особенно чревата провалом? Допустим, я сегодня забираю Штирлица, выкладываю ему все шифровки, доказательства абсолютны, требую от него работы на себя, он отказывается; я могу применить такого рода пытки, что он согласится или сойдет с ума. Скорее, впрочем, случится второе. Ну, хорошо, допустим,

он все же сломается. И станет работать. Но он ведь и сейчас работает на меня, только втемную. Отчего же тогда я так разнервничался?»

Мюллер умел слушать свои мысли, он явственно различал интонации, манеру произносить слова, только обычно путался со знаками препинания: не мог понять, где следует *слышать* двоеточие, а где — тире.

Он вдруг споткнулся на слове «разнервничался», боже, какое оно старое, последний раз он слышал его от бабушки, она часто говорила всем, что у нее расшатана нервная система, а в доме смеялись: откуда у неграмотной старухи такие ученые обороты?

Мюллер сначала услышал свой короткий смешок, а уже потом ответ самому себе: «Ты разнервничался оттого, что приближается тот день, когда Штирлиц должен ехать в Швейцарию, а ты до сих пор не знаешь, как замотивировать то, что он туда не поедет. Для тебя было ясно с самого начала, что отпускать его к нейтралам нельзя, но ты позволил себе роскошь отнести на завтра то, что надо было придумать уже неделю назад, вот отчего ты так разнервничался. Лицо Штирлица постоянно стоит у тебя перед глазами, ты видишь, как оно постарело за эту неделю, он

стал стариком, виски седые, глаза в морщинах; он тоже понимает, что идет по тонкому канату между двумя десятиэтажными зданиями, а внизу стоит молчаливая толпа и жадно ждет того мгновения, когда он начнет терять равновесие, размахивать руками, силясь восстановить его, потом, в падении уже, будет стараться ухватить пальцами канат, но не сможет и полетит вниз, навстречу теплой толще асфальта, и захлебнется криком, мольбою, хрипом ниспослать ему смерть сейчас, немедленно, пока еще он летит, — это не так страшно, в этом хоть какая-то надежда, а когда тело шлепнется оземь, надежды не станет — отныне и навечно... Между прочим, вместо слова «разнервничался» сейчас произносят «разволновался», это некрасиво, смещение понятий, подмена смысла... С другой стороны, — продолжал устало думать Мюллер, — почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Кребсом, а упомянул лишь мою? Я выделил ему этот узел вполне определенно, он не мог не понять меня, отчего же он отправил в их Центр такую осторожную информацию? А если он ее *растягивает*? — возразил себе Мюллер. — Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета... С Дагмар все

было сработано отменно, шифровки от «нее» будут идти такие, в каких мы заинтересованы; эта самая Марта, которая дублирует Дагмар, даже в чем-то на нее похожа, допусти я слежку за нею в Швеции... Нет, видимо, я разнервничался оттого, — понял наконец Мюллер, — что все время вспоминаю Париж, день накануне вступления туда наших войск... Попытки властей хоть как-то сдержать панику, придать эвакуации организованность разлетелись вдрызг, когда наши танки вышли к Парижу; ситуация сделалась неуправляемой... И здесь, у нас, в Берлине, когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится сюда, положение тоже сделается бесконтрольным и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его Центром — перед тем как исчезнуть во Фленсбург, к подводникам, если Борману не удастся сговориться — в последний момент — с красными... Да и потом венец моего замысла — главный удар по русским — я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он ни в коем случае не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка — ставка на Запад — тоже окажется битой: там не принимают с пустыми руками, прагматики...

Ладно, стоп, — прервал себя Мюллер. — Ты распускаешься, а это никуда не годится. Запомни: если в минуту полного хаоса человек сможет думать о порядке и дробить факты на звенья, которые надлежит собрать в ящичек, где складывают детские фигурки из разноцветных камушков, тогда только этот человек победит. Если он начнет поддаваться эмоциям, иллюзиям и прочим химерам, его сомнет и раздавит... Складывай фигурки из камушков, времени мало... Итак, первое: сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме... Пусть останется без связи, пусть поищет связь, это всегда на пользу дела, пусть разнервничается. Второе: сейчас же закрыть «окно» на границе. Третье: немедленно погасить его гражданский паспорт со швейцарской визой... Четвертое: Ганс... Для «Интерпола» я сработал Дагмар; Штирлица схватят, если он все-таки — чем черт не шутит — прорвется к нейтралам; здесь, после того как я решу с Гансом, Штирлиц должен попасть в руки криминальной полиции. Все, дверь захлопнута, ку-ку... Вот так... А уж потом посмотрим, как станут развиваться события... И снова ты не до конца откровенен с собою, Мюллер... Ты все время норовишь организовать дело таким образом,

чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в Центр, должен звучать так: «Мюллер в свое время спас меня от провала и, таким образом, помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом; сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку, ты хочешь насладиться его унижением, но более всего ты ждешь презрительного отказа из его Центра, поскольку этот презрительный отказ и даст тебе силы превратиться в сгусток энергии, в концентрат воли, чтобы победить обстоятельства, выжить и начать все сначала...»

...Штирлиц вернулся к себе в Бабельсберг с пепелища маленького особняка в Потсдаме, где жил радист Лорх, увидел полицейскую машину возле своих ворот, ощутил *пустую* усталость и понял, что *игра* вступила в последнюю стадию. Он понимал, что сбежать отсюда нельзя, все дороги, видимо, перекрыты, так что иного исхода, кроме как вылезти из машины, захлопнуть дверь и пойти в дом, навстречу своей судьбе, у него нет.

Так он и сделал.

...Два инспектора криминальной полиции и фо-

тограф осматривали труп Ганса. Парень был убит выстрелом в висок, половину черепа снесло.

Посмотрев документы Штирлица, по которым он здесь жил, старший полицейский поинтересовался:

— Кто мог быть здесь, кроме вас, господин доктор Бользен?

— Никого, — ответил Штирлиц. — Следы есть?

— Это не ваша забота, господин доктор Бользен, — сказал младший полицейский. — Занимайтесь своим народным предприятием имени Роберта Лея, не учите нас делать свое дело...

— Дом куплен на имя доктора Бользена, а я — штандартенфюрер Штирлиц.

Полицейские переглянулись.

— Можете позвонить в РСХА и справиться, — предложил Штирлиц.

Старший полицейский ответил:

— У вас перерезан телефон и разбит аппарат, поэтому мы позвоним в РСХА из нашего отдела криминальной полиции. Едем.

В помещении районного крипо пахло гашеной известью, хлоркой и затхлостью; на стенах были тщательно расклеены плакаты, выпущенные рейхсминистерством пропаганды: «Берлин останется немецким!», «Т-с-с-с! Враг подслуши-

вает!», «Немецкий рыцарь сломает русского вандала». Фигуры и лица солдат на плакатах были неестественно здоровыми, мускулистыми и многозубыми.

«Такого хода я не мог себе представить, — подумал Штирлиц, когда его, почтительно пропустив перед собою, ввели в маленький кабинет, освещенный подслеповатой лампочкой. — И снова — ждать; меня ведут за собою события, я бессилен в построении своей линии, мне навязывают ходы и не дают времени на обдумывание своих».

За столом, таким же обшарпанным, как и этот кабинет, обставленный *мышиной*, нарочито унылой мебелью с многочисленными металлическими жетонами, на которых были выбиты длинные, безнадежные номера и буквы, сидел маленький человек в очках, оправа которых была жестяной, очень старой, чиненной уже, и что-то быстро писал на большом листе бумаги, отвратительно шаркая при этом ногой по паркету.

Подняв глаза на Штирлица, он разжал свои синеватые тонкие губы в некоем подобии улыбки и тихо произнес:

— Как все неловко получается, господин доктор Бользен...

— Во-первых, хайль Гитлер! — так же тихо,

очень спокойно ответил Штирлиц. — Во-вторых, я предъявил вашим сотрудникам свои документы... С фамилией вышло недоразумение, я живу в особняке под другим именем — так было решено в оперативных интересах, и, в-третьих, пожалуйста, позвоните бригадефюреру Шелленбергу.

— К такого рода руководителю я никогда не решусь звонить, господин доктор Бользен... Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, мы запросим РСХА в установленном порядке, я вам обещаю это... Пока что, однако, я попрошу вас ответить на ряд вопросов и написать подробное объяснение по поводу случившегося в вашем доме.

— Отвечать на вопросы я вам не буду... тем более писать... Хочу вас предупредить, что я обязан сегодня вечером выехать в служебную командировку... Если мой выезд задержится, отвечать придется вам...

— Не смейте угрожать мне! — Маленький очкарик стукнул ладонью по столу. — Вот! — Он ткнул пальцем в бумаги, лежавшие перед ним на столе. — Это сигнал о том, что случилось в вашем доме! До того как вы вышли оттуда! В то время когда вы там были, прозвучал выстрел! А потом вы уехали! И вы хотите сказать, что я обязан стать

перед вами по стойке «смирно»?! Да хоть бы вы были генералом! У нас все равны перед законом! Все! В вашем доме погиб солдат! И вы обязаны объяснить мне, как это произошло! А не захотите — отправляйтесь в камеру предварительного заключения! Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, вас найдут! Это какой-нибудь несчастный лесник или сторож будет сидеть, дожидаясь суда, а вас найдут быстренько!

И Штирлиц вдруг рассмеялся. Он стоял в маленькой комнате старшего инспектора криминальной полиции и смеялся, оттого что только сейчас по-настоящему осознал всю страшную, просто-таки невыразимую *нелепость* положения, в котором очутился.

«Нет, — поправил себя он, продолжая смеяться, — я не очутился. Меня поставили в такого рода положение, а я обязан обернуть ситуацию в свою пользу».

— Вы — мерзкое дерьмо! — сдерживая смех, сказал Штирлиц. — Маленькое, вонючее дерьмо! Вам не место в полиции.

Он выкрикивал обидные ругательства, понимая, какого врага в лице инспектора он сейчас получит; этого малыша наверняка не включили в игру, а с Гансом была игра, заранее спланиро-

ванная, теперь ясно; малыша играют втемную, и он сейчас будет свирепствовать, начнет дело по обвинению в оскорблении должностного лица, в неуважении власти и закона, а бумага, раз написанная в этом проклятом рейхе, не может исчезнуть, она будет тащить за собою другие бумаги, если только не включится лично Мюллер, а ему ох как не хочется включаться. Лишние разговоры. Сейчас, накануне краха, все прямотаки *осатанели* во взаимной подозрительности, доносах, страхе... Ничего, пусть лишнее доказательство их связи не помешает, коли он *понял* его, Штирлица, пусть берет ответственность, пусть выкручивается...»

Маленький инспектор полиции поднялся из-за стола, и Штирлиц увидел, как стар его пиджак (видимо, вторично перелицованный), сколь тщательно заштопана рубашка, как заглажен до шелкового блеска галстук.

— Граус! — крикнул маленький тонким, срывающимся голосом.

Вбежал пожилой полицейский и два давешних инспектора; замерли возле двери.

— Отправьте этого мерзавца в камеру! Он посмел оскорбить имперскую власть!

В холодной камере, по стенам которой медлен-

но струилась вода, Штирлиц, не снимая пальто, лег на нары, пожалев, что не надел сегодня свитер; свернулся калачиком, подтянул коленки под подбородок, как в сладком, нереальном уже детстве, и сразу же уснул.

И впервые за те недели, что вернулся из Швейцарии, он спал спокойно.

...Мюллер рассчитывал, что все произойдет совсем не так, как случилось.

Он полагал, что Штирлиц потребует в полицейском отделении немедленного разговора с Шелленбергом, и этот разговор будет ему предоставлен. Шелленберг тут же свяжется с ним, с Мюллером. «Я позвоню полицейскому инспектору крипо района Бабельсберг, выслушаю доклад, скажу, что выезжаю на место происшествия, взяв бригаду. *Находят* улики, которые уже организованы моими людьми после того, как инспекторы увезли Штирлица в полицию. Даю при штандартенфюрере *разгон* маленькому инспектору. Фамилия Шрипс смешная, а зовут звучно: Вернер. Жена Доротея, трое детей. Член НСДАП с июля 1944 года, вступил во время всеобщей истерии после покушения на фюрера. Тайно посещает церковь, не иначе, как правдоборец, содержит семью брата Герберта, погибшего на восточном

фронте, бедствует. Извинюсь перед Штирлицем за тупую неповоротливость криповца; рассеянно спрошу у своих, не обнаружили ли они каких-либо важных улик в доме; те ответят, что есть подозрительные пальцы на стене кухни возле следов крови, хотя нельзя утверждать окончательно, что пальцы эти оставлены уже после выстрела, надо, тем не менее, проводить тщательную экспертизу; я кладу отпечатки на стол, достаю лупу, прошу инспектора убедиться, что отпечатки подозреваемого им доктора Бользена совершенно не идентичны тем, которые обнаружены его, Мюллера, людьми; инспектор, однако, выкладывает свои отпечатки пальцев Штирлица, сравнивает обе таблицы, хочет что-то сказать, но я его прерываю, забираю отпечатки, снятые в крипо со штандартенфюрера, поднимаюсь и увожу Штирлица с собою, а уж в машине спрашиваю, зачем было нужно убирать Ганса? Если уж мешал, то можно было это сделать не дома». А теперь, после этого инцидента, просто-напросто рискованно пересекать границу, поездка в Швейцарию на грани срыва: эти криповцы страшные формалисты, напишут рапорт Кальтенбруннеру про «преступление доктора Бользена», которому попустительствует Мюллер, тогда вообще загра-

ничный паспорт — на время расследования, во всяком случае, — будет аннулирован.

Мюллер полагал, что такая комбинация не вспугнет Штирлица; угрозу его жизни он замотивировал во время первого их разговора после возвращения из Берна; отдал ему своего шофера; не очень бранился, когда Штирлиц, несмотря на приказ, надул мальчика и перестал возвращаться домой, работая по Дагмар Фрайтаг.

...Шел уже третий час после того, как Штирлица увезли в полицию, а звонка оттуда до сих пор не было. В секретариате Шелленберга теперь сидела женщина, которая бы немедленно об этом сообщила, предположи Мюллер, что *Красавчик* решит помудрить и не свяжется с ним сразу же.

Через четыре часа Мюллер потребовал точных данных от службы его личного наблюдения: номер машины, на которой увезли Штирлица (он вдруг подумал, а не подменили ли красные полицейских, но сразу же одернул себя: нельзя паниковать, все-таки пока еще мы здесь хозяева).

Номер машины был подлинным. Описания шофера, фотографа, инспекторов Ульса и Ниренбаха совпали абсолютно.

Через пять часов Мюллер потребовал от *своих*, чтобы был организован *сигнал* доброжелателя от

соседей: «Незнакомцы увезли славного доктора Бользена».

Через шесть часов, после того уже, как сигнал был зафиксирован в РСХА, расписан на сектор гестапо, занимавшийся безопасностью офицеров СС и их семей, Мюллер выехал в крипо Бабельсберга, решив не звонить туда предварительно.

Вернер Шрипс приветствовал Мюллера, как положено, зычным «Хайль Гитлер!» и уступил ему свое место за столом, заметно при этом побледнев.

— Где наш человек? — спросил Мюллер.

— Я отправил его на Александерплац, группенфюрер...

— В тюрьму крипо?

— Да.

— В чем вы его обвиняете?

— В оскорблении представителя власти, группенфюрер! Он позволил себе отвратительное и недостойное оскорбление должностного лица при исполнении им имперских обязанностей.

— Имперские обязанности исполняет фюрер, а не вы!

— Простите, группенфюрер...

— Вам известно, что вы задержали человека, находившегося при исполнении служебного

долга?

— Мне известно только то, что я задержал человека, подозреваемого в убийстве, который к тому же оскорблял должностное лицо.

Мюллер перебил:

— Он просил вас позвонить в РСХА?

— Да.

— Отчего вы отказались выполнить его просьбу?

— Он потребовал, чтобы я позвонил бригадефюреру Шелленбергу! А я не имею права преступать ступени служебной лестницы.

— И за то, что вы отказали ему, он позволил себе недостойные высказывания в ваш адрес?

— Нет. Не только после этого. — Малыш в круглых очках рапортовал ликующе, остро себя жалея: — Я потребовал, чтобы доктор Бользен написал отчет по поводу случившегося в его доме... Он отказался и заявил, что не даст мне по этому поводу никаких объяснений... Поэтому я...

Мюллер снова перебил:

— Он вам так ничего и не написал?

— Нет, группенфюрер!

— И не дал объяснений?

— Нет, группенфюрер!

— Покажите мне копию обвинительного заклю-

чения. И не смейте никому и никогда говорить об этом инциденте. Дело об убийстве в доме Бользена я забираю с собою.

«Штирлиц помог мне своим поведением, — подумал Мюллер. — Он облегчил мою задачу. Я вытащу его из-под трибунала — а он сейчас может попасть под трибунал с пылу с жару, — и вопрос о Швейцарии отпадет сам по себе. Он станет метаться — мне только этого и надо, после метаний он придет ко мне и станет выполнять все те условия игры, которые я ему продиктую — взамен за спасение».

Мюллер пробежал текст обвинительного заключения, подписанного маленьким Вернером Шрипсом и двумя полицейскими, давшими свидетельские показания, попросил пригласить инспекторов в комнату и сказал:

— Всего того, о чем вы здесь написали, — не было. Ясно?

— Да, — тихо ответили оба инспектора, приезжавшие за Штирлицем.

Мюллер обернулся к коротышке Шрипсу.

— Это было, — ответил тот. — Я никогда не откажусь от моих слов, группенфюрер.

Мюллер поднялся и, выходя из комнаты, коротко бросил:

— Завтра в семь часов утра извольте быть в приемной РСХА.

...Через два часа, когда Штирлица привели в кабинет Мюллера, тот спросил:

— Объясните — зачем все это?

— Хотелось спать, — ответил Штирлиц.

Мюллер потер лицо мясистой пятерней, покачал головою:

— А что? Тоже объяснение...

— Я устал, группенфюрер, я устал от игры, в которую втянут, которую не понимаю, сколько ни стремлюсь понять, и, видимо, не пойму до самого конца.

— Хорошо, что в полиции вы не стали оставлять пальцы. На кухне, возле несчастного Ганса, есть один отпечаток не в вашу пользу, хотя я допускаю, что вы не имели отношения к трагедии... Почему Шелленберг нарушил условия игры? Зачем он убрал моего парня?

— Он не нарушал. Ему это не выгодно.

— А кому выгодно?

— Тому, кто не хочет пускать меня в Швейцарию, группенфюрер.

Мюллер снова ощутил страх от того, как его *считал* Штирлиц, поэтому ответил атакующе:

— Какого черта вы оскорбляли этого самого ко-

ротышку?! Зачем?! Я вызвал его сюда к семи утра! Вот, читайте его рапорт вкупе с обвинительным заключением! И подумайте о законах военного времени... Читайте, читайте! Про отпечатки пальцев там есть тоже! Если я смогу вас отмыть — отмою! А не смогу — пеняйте на себя!

«Главное — держать его при себе, — продолжал думать Мюллер, — наблюдать пассы, которые он станет предпринимать; готовить финал; слежка за ним поставлена так, что он не уйдет, пусть будет даже семи пядей во лбу; он — моя карта, и я сыграю эту карту единственно возможным образом...»

Резко и *страшно* зазвонил телефон: теперь у Мюллера стоял аппарат прямой связи со ставкой.

— Мюллер!

— Здесь Борман. — Голос рейхсляйтера был как всегда ровен, без всяких эмоций. — Мне срочно нужен... этот офицер... я забыл имя... Привезите его ко мне...

— Кого вы имеете в виду? — снова пугаясь чего-то, спросил Мюллер.

— Того, который ездил на Запад.

— Шти...

— Да, — перебил Борман. — Я жду.

Информация к размышлению — VI (Снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер)

...Через полгода после того, как Гувер в двадцатом году блистательно провел ночь «длинных ножей» против левых, в Чикаго, раскаленном и душном — дождей не было уже три недели, солнце пекло невероятно, астрологи, которых после окончания войны расплодилось невиданное множество, предрекали конец света и планетные столкновения, — собрался съезд республиканцев, который должен был выдвинуть своего кандидата на пост президента.

Ставили в основном на мультимиллионера Вильяма Томпсона — тот *состоялся* на медеплавильных заводах, тесно связан с армией, сталелитейной промышленностью и банками Моргана, — однако опасались, что демократы начнут кампанию протеста, поскольку возможный кандидат возглавлял миссию Красного Креста в России и совершенно открыто при этом заявлял, что снял со своего текущего счета более миллиона долларов, обратив их не на лекарство

и продовольствие, а в оружие для белого движения.

Дискуссии в штабе партии были жаркими, время шло, решение не принималось; председатель Хэйс пытался примирить разные течения, но не мог; Томпсона провалили (сработало незримое влияние группы Рокфеллера).

Ночью, накануне заключительного заседания съезда, было собрано заседание мозгового и политического центров штаба; группу Моргана представляли сенатор Генри Кэббот Лодж и Джеймс Водсворт; владелец газеты «Чикаго трибьюн» Маккормик защищал интересы «Интернэшнл харвестер компани»; Ку-клукс-клан осуществлял свое весомое влияние через сенатора Уотсона из Индианы. Именно в эту ночь на узкое совещание был приглашен директор и издатель «Харвис Викли» Джордж Харви, который славился умением из гения сделать болвана, а круглого идиота представить великим мыслителем.

— Созидание начинается с раскованности воображения, — говорил он своим репортерам. — Придумайте статью, а уж потом подгоняйте под нее человека, факт, страну, историю, черта, луну — это ваше право, пусть только задумка служит моему делу. В свое время я придумал Вуд-

ро Вильсона, и он стал президентом. Я первым понял необходимость переворота в Бразилии, придумал его, и он произошел. Вот так-то, ребята: смелость, раскованность и убежденность в победе! Все остальное я оплачу, валяйте вперед, и — главное — не оглядываться.

Харви приехал в Чикаго из Вашингтона, где он встретился с Джоном Эдгаром Гувером вечером; говорили два часа, обсуждали возможных кандидатов; Харви ставил быстрые, резкие вопросы; Гувер отвечал с оглядкой; он не считал нужным открывать все свои карты — то, что он теперь начал вести досье не только на левых, но и на сенаторов и конгрессменов, было его личной тайной, об этом не знал даже министр.

— Послушайте, Джон, — сказал наконец Харви, — не надо играть со мною в кошки-мышки. Я догадываюсь, как много вы знаете; мне будет обидно за вас, если вы не подскажете, кто из возможных претендентов на пост президента замазан: если нашего человека истаскают мордой об стол после того, как за него проголосует республиканская партия, вам станет трудно жить, я вам обещаю это со всей ответственностью.

Гувер тогда ответил:

— Я не из пугливых, Джордж. Я поддаюсь ласке;

грубость делает меня несговорчивым.

— Если мы пройдем в Белый дом, я обещаю вам поддержку нового президента и полную свободу действий во благо Америки.

— Это теплее, — улыбнулся Гувер. — Я бы не советовал вам ставить на возможного кандидата Эльберта Хэри. Пусть он президент наблюдательного совета концерна «ЮС стил корпорэйшн», пусть он дорого стоит, но его не любят: в юности, в колледже его били за то, что он обижал девушек... Не ставьте на губернатора Лоудена — на него покатят бочку, потому что его ребята неосторожно работали с теми, кто держит подпольную торговлю алкоголем, он — на мушке прессы. Ищите темную лошадку, иначе демократы побьют вас.

— Вам, лично вам, выгодна победа серости? — спросил Харви.

— Да, — сразу же ответил Гувер. — Вы — умный, с вами нет нужды хитрить. Мне выгодна серость, потому что мне двадцать шесть, и я хочу состояться, а это можно сделать лишь тогда, когда над тобою стоят невзрачные люди; яркий президент не простит мне — меня, ибо я очень хорошо знаю себе цену.

...В час ночи, после яростных схваток в огромном номере отеля «Блэкстон», где жил председа-

тель партии Хэйс, секретарям было приказано срочно разыскать того самого сенатора из Огайо, который требовал для Америки не героев, но целителей. Им был Уоррен Гардинг, высокий, вальяжный, красивый, одетый так, как нравилось американцам, простодушный и открытый — что еще надо Америке!

Когда Гардинга привели в номер, Харви, не поднимаясь с кресла, потер уставшее лицо жесткой пятерней (долго причесывал жесткие волосы, нервы ни к черту, пора бросать эту изматывающую работу «создателя президентов»: хоть и хорошо оплачивается, но забирает все силы), закурил сигару и спросил:

— Мистер Гардинг, я вижу, вы пьяны. Ответьте честно: вы в состоянии понимать наши вопросы или хотите часок отдохнуть?

— Мистер Харви, я рожден на юге, поэтому умею пить. Мне легче отвечать вам, когда я под мухой, я тогда говорю смелее, я перестаю опасаться ваших змеиных колкостей, я знаю, какой вы дока в вашем деле, вот так-то.

— Змея не колется, она — жалит, — заметил Харви. — Но если вы делаетесь смелым после того, как хорошо хлебнули, тогда скажите нам: если мы сейчас выдвинем вашу кандидатуру на пост

президента, кто сможет ударить вас, поймать на чем-то и скомпрометировать так, чтобы вместе с вами провалилась партия?

— Я чист, — ответил Гардинг упавшим голосом, слишком уж неожиданным было все происходившее. — Никто не сможет меня ударить или замарать, я — чист.

...В марте двадцать первого года Гардинг стал президентом.

Бывший заместитель министра военно-морского флота США Франклин Делано Рузвельт, выставлявшийся демократами на пост вице-президента, поздравил соперника одним из первых.

Председатель республиканской партии Хэйс получил пост министра почт; министром финансов стал миллиардер Меллон, который представлял интересы сталелитейных, алюминиевых, угольных и нефтяных корпораций; министерство торговли возглавил бывший директор «АРА» Герберт Гувер; министром юстиции сделался ближайший друг президента Харри Догерти.

Сев в Белый дом, Гардинг сразу же провозгласил свою внешнеполитическую концепцию: «Америка прежде всего». По поводу внутриполитической стратегии новый президент предпочел отмолчаться, заявив: «Нам необходимо по-настоящему

возродить религию. Библия — моя настольная книга».

Меллон внес уточнения, проведя закон об отмене налога на сверхприбыли:

— Инициативный человек может добиться всего, если только законы и налоги не калечат его инициативу.

Финансисты начали качать из налогоплательщиков деньги; Гардинг предался веселью; в Белом доме, на втором этаже, каждую ночь собирались его друзья во главе с новым блюстителем законности Догерти; дым стоял коромыслом; на рассвете президент уезжал из своей резиденции «подышать свежим воздухом» — для него снимали номер в отеле, там ждала подруга, мать его незаконной дочери.

Агентура докладывала о ночных бдениях Джону Эдгару Гуверу; начальник отдела информации складывал донесения в свой личный сейф, который хранил дома; Догерти его делами не интересовался; с тех пор как новый министр назначил своим «специальным помощником» Джесса Смита, вся «политическая часть» юридического ведомства страны перешла — как и обещал накануне выборов Харви — безраздельно в руки Гувера.

Но в любой стране политика не может быть не увязана с экономикой.

Джон Эдгар Гувер знал все о том, что вытворял полковник Чарльз Фобс, приглашенный новым президентом на пост начальника «управления помощи ветеранам войны». Он покупал у бизнесменов кирпич, стекла, дерево для госпиталей по невероятно высоким ценам — деньги-то не свои, государственные, — а продавал эти дефицитные товары строителям за центы; разницу делил с теми, кто покупал. Директор строительной фирмы «Джекобс энд Барвик» Джеймс Барвик продал Фобсу мастику для полов; правительство уплатило за нее семьдесят тысяч долларов. Этой мастики хватило бы для строительных нужд «управления помощи ветеранам войны» на сто лет. Друзья из фирмы «Томсон энд Кэлли» приобрели у Фобса лекарств и бинтов на полмиллиона долларов, однако же истинная цена этих товаров — как подсчитали эксперты Джона Эдгара Гувера — составляла более шести миллионов долларов; разницу поделили; вино лилось рекой; девочки из мюзик-холлов танцевали на столах; *гудели* от души.

Министр внутренних дел Фолл продал топливному магнату Догони нефтеносные резервы

военно-морского флота США; взятка, которую получил министр, исчислялась в четыреста тысяч долларов.

Министр юстиции Догерти работал умнее: контакты с подпольным миром торговцев наркотиками и алкоголем осуществлял его «специальный помощник» Джесс Смит; операции по прекращению возбужденных уголовных дел и торговлю помилованиями курировал адъютант Смита агент министерства юстиции Гастон Миле; он передал *наверх* семь миллионов; взятки менее пятидесяти тысяч не принимались.

За три месяца Джесс Смит пропустил через свои руки тридцать миллионов долларов.

И в это время грянул гром: опасаясь разоблачений, вышел в отставку министр внутренних дел Фолл; полковник Фобс был отдан под суд; пресса начала скандал.

Джесс Смит пришел к Догерти.

— Гарри, — сказал он, — надо рвать связи, мне кажется, за нами следят.

— Кто? — поинтересовался Догерти. — Кто может следить в этой стране за министром юстиции? Кто подпишет приказ на установку наблюдения? Кто разрешит допрос свидетелей? Кто санкционирует начало дела? Я? — Он рассмеялся.

— Вряд ли. Хоть я и пью по утрам «блади Мери», но горячка у меня пока еще не началась...

— Гарри, — сказал Смит, — я стал бояться самого себя.

— Малыш, — укоризненно вздохнул министр Догерти, — я не узнаю тебя.

— Лучше я уйду, Гарри... Мне хватит на то, чтобы обеспечить счастливую жизнь даже праправнукам, я больше не могу быть в деле, пойми...

— Мы вместе пришли сюда, малыш, мы вместе отсюда уйдем. Иного выхода у тебя нет, заруби это себе на носу. Я прощаю друзьям все, что угодно, пусть даже они переспят с моей самой любимой подружкой, но я не прощаю дезертирства, это — как выстрел в спину. Ты понял меня?

— Я тебя понял, но и ты постарайся меня понять, Гарри. Не ты, а я беру деньги от тех, за кем идут наши же шпики. Не ты, а я гоняю по городу, прежде чем положить эти деньги в банк. Не ты, а я потею, пока кассир пересчитывает купюры, ибо я все время думаю про то, что деньги эти могут оказаться мечеными, и зазвенит пронзительный звонок, и выбегут полицейские, и схватят меня... Гарри, мне было так хорошо, когда я держал свой магазин, отпусти меня, Гарри...

— Иди и проспись, малыш, — ответил Догерти и

ласково потрепал своего помощника по затылку.
— Ты неважно выглядишь, отдохни, малыш...

Джесса Смита нашли в номере отеля с головой, разнесенной пулей восьмого калибра; кольт валялся возле радиатора отопления.

Пока убивали его друга, Догерти проводил ночь в Белом доме; весело пили своей командой; алиби было абсолютным.

Наутро он выступил с заявлением для печати.

— У Джесса был диабет, — сказал Догерти, сдерживая рыдания. — Это очень коварная болезнь... Она отражается на рассудке... Она привела к самоубийству многих людей, прекрасных и чистых. Я буду всегда помнить моего нежного, доброго, доверчивого друга Джесса Смита, это был самый благородный человек изо всех, с кем меня сводила жизнь...

Разыгрывалось действо более циничное и страшное, чем его изображали на картинках, списанных с тех пиров, которые закатывались сильными мира во времена чудовищной чумы.

Страна клокотала, как закупоренная кастрюля на раскаленной плите.

Во время одного из приемов в Белом доме, куда был приглашен и начальник бюро «особой информации» министерства юстиции Джон Эдгар

Гувер, вице-президент США Калвин Кулидж, державшийся, как обычно, особняком, спросил молодого юриста:

— Как вы думаете, кто из сильных правоведов сможет публично отмести всю ту скандальную информацию, которую распускают про администрацию некоторые газеты?

Гувер посмотрел прямо в глаза Кулиджу, трудно откашлялся и ответил — вопросом на вопрос:

— А вы действительно полагаете, что можно обойтись без публичного разбирательства?

...Через несколько недель президент, возвращаясь из турне по Западному побережью, скоропостижно скончался в номере отеля «Палас» в Сан-Франциско.

Сначала медицинское заключение о гибели Гардинга гласило, что смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг; затем была выдвинута новая версия — отравление крабами, которые президент изволил откушать на пароходе.

Однако же крабов вообще на пароходе не было, да и никто из сопровождавших его симптомов отравления не ощущал.

Первое правительственное сообщение гласило, что внезапная смерть наступила, когда возле несчастного находилась лишь его жена.

Однако же вскоре пришлось признать, что рядом с ним был и его лечащий врач бригадный генерал Чарльз Сойер.

Истинную причину можно было понять, произведя вскрытие президента.

Однако же вскрытие произведено не было.

(А затем, чем громче звучали голоса, требовавшие расследования истинных причин гибели президента, тем таинственнее развивались события; личный доктор президента генерал Сойер был найден мертвым в своем кабинете, на вилле Вайт Окс Фарм; адвокат Томас Фельдер, приглашенный министром юстиции Догерти на место погибшего Джесси Смита, умер при таинственных обстоятельствах после того, как его привлекли к судебной ответственности; при загадочных обстоятельствах погибли *подельцы* полковника Фобса и министра юстиции Догерти — бизнесмен Томпсон и член руководства республиканской партии Джон Кинг; топливный магнат Эдвард Догени, передававший взятки министру внутренних дел Фоллу, был убит выстрелом из кольта своим секретарем, который, в свою очередь, был обнаружен в соседней комнате мертвым; версия была типичной для той поры: самоубийство.)

Через пять часов после смерти Гардинга бледный до синевы вице-президент Кулидж был приведен к присяге и сделался двадцать девятым президентом США.

Он никого не поменял в правительстве, кроме министра юстиции Догерти.

Он никого не понизил и не повысил в должности, кроме Джона Эдгара Гувера, который в возрасте двадцати семи лет был назначен им директором Федерального бюро расследований.

После того как назначение было утверждено, Кулидж пригласил молодого шефа американской контрразведки в Белый дом и сказал:

— Джон, вы понимаете, что на предстоящих выборах нашу партию станут шельмовать те, кто хочет видеть Америку дестабилизированной. От вас во многом зависит, чтобы в стране сохранилось спокойствие. Все то, что произошло с Гардингом, Догерти и Фоллом, — следствие заговора Коминтерна, не так ли? В разыгравшейся трагедии видна рука врага из Восточной Европы. Разве вам так уж трудно объяснить американцам истинные причины трагедии?

Через год Кулидж был переизбран на посту президента США.

Страна, словно гигантский состав, катилась в

пропасть.

До того дня, который вошел в историю как «черная пятница», оставалось пять лет, но те, кто мог видеть и чувствовать, видели и чувствовали надвижение краха, однако предпринять ничего не могли; власть предержащие не позволяли говорить об истинных причинах кризиса, во всем, как всегда, винили красных и негров, Коминтерн и ГПУ.

Поскольку негодование народа было нескрываемым, поскольку Белый дом впал в состояние паралича, никаких действий не предпринималось, Гувер начал тайно собирать досье на ближайшее окружение Кулиджа: он понимал, что вскоре должен прийти тот, кто наведет порядок.

К смене караула он готовился тайно, впрок и с оглядкой.

Джон Гувер тасовал имена тех, на кого ставили в Уолл-стрите. Однако среди этой колоды претендентов пока еще не было имени Рузвельта.

А когда тот пришел (сменив Герберта Гувера, просидевшего один президентский срок) и назвал кошку — кошкой и потребовал от ФБР борьбы с организованной преступностью, а не с мифической красной угрозой, Гувер понял:

началось состязание, в котором победит тот, у кого крепче выдержка. Авторитет Рузвельта был так высок, что об открытой борьбе против него не могло быть и речи.

Сейчас, весной сорок пятого, стало ясно: если он и дальше будет в Белом доме, то все те нормы морали, которым поклонялись Гувер и люди его круга, окажутся девальвированными.

Настал час решений.

Хорошо информированный человек значительно реже совершает ошибки

...Борман имел все основания потребовать от Мюллера срочно доставить Штирлица...

Радиограммы, зашифрованные особым кодом, сработанным специально для Верхней Австрии секретным отделом НСДАП, читались только помощником Бормана: с тех пор как в Линце был депонирован «музей фюрера» — миллиард долларов как-никак, — все сообщения, связанные с этим *узлом*, составлялись в Зальцбурге лично гауляйтером Айгрубером, а принимал их в Берлине штандартенфюрер Цандер, самый близкий человек рейхсляйтера...

«По неподтвержденным сведениям, — час назад сообщил Айгрубер, — люди, близкие к Кальтенбруннеру, заняты переправкой и укрытием в горных курортах Альт Аусзее значительного количества золотых слитков. При этом верные члены НСДАП полагают, что именно в связи с этим просматривается цикличность передач вражеского радиста, сориентированного на За-

пад. Местное подразделение РСХА по-прежнему затягивает расследование, ссылаясь на особое мнение по этому делу, якобы существующее у партайгеноссе Кальтенбруннера. Более того, был зафиксирован интерес непосвященных к тем штольням, где укрыт «музей фюрера».

Эта информация легла на ту, которую только что прислал Борману заместитель начальника концлагеря по линии местного отделения НСДАП, и не какого-нибудь лагеря, а того именно, где содержался Канарис.

Он сообщил, что Кальтенбруннер бывал здесь трижды, уводил изменника с собою в лес, просил заварить для него настоящий кофе, был с ним демонстративно любезен. Поэтому заместитель начальника — на свой страх и риск — установил аппаратуру в ту комнату, где происходили «кофепития»; расшифровывать запись не стал, а выслал ее в рейхсканцелярию с нарочным, в пакете за сургучными печатями.

Борман прослушал запись беседы Кальтенбруннера с Канарисом не без интереса. Ничего особенно тревожного в диалоге хитрой лисы и простодушного костолома с университетским образованием не было, но один пассаж заставил Бормана задуматься.

На вопрос Канариса, какой себе представляет будущую работу Кальтенбруннер, тот со странным смешком заметил: «А вы думаете, что работа вообще возможна? Я мечтаю о том лишь, чтобы заполучить одно право: жить».

Можно, конечно, было бы считать этот ответ конспираторским: Канарису нельзя верить ни на гран, рассказывать ему о планах работы по восстановлению и реорганизации идей национал-социализма в мире значило бы предать это будущее, ибо двуликий Янус умеет торговать — он и с чертом может провести посредническую операцию, однако, когда Кальтенбруннер вскользь заметил адмиралу, что первая информация, переданная ему Канарисом, далека от того, чтобы считаться по-настоящему интересной, тот возразил: «Ведь у нас был договор: когда мы исчезнем, я смогу лично, в вашем присутствии, провести беседу с теми мультиворотилами Латинской Америки, которые состоялись благодаря мне; без меня у вас ничего не выйдет; вы — разведчик, вы знаете, сколь ювелирна работа с теми, кого ты создал из ничего, а затем вывел к могуществу; они перестали быть вашими агентами, вы отныне зависите от них, а не они от вас, ибо вы просите деньги в министерстве финансов, а

те выписывают любую сумму со своих бесконтрольных счетов».

Мысль верная, но именно эту верную мысль Кальтенбруннер отчего-то не зафиксировал в своем первом и единственном отчете ему, Борману, хотя, как выяснилось, он встречался с Канарисом трижды.

...В машине Мюллер спросил Штирлица:

— Вы звонили ему?

— Нет. — Про то, что Борман во время последней встречи просил его отныне держать связь через Мюллера, Штирлиц говорить не стал: стоит ли уступать позицию без боя?

— Как вы думаете, чем вызван этот звонок? — искренне недоумевая, поинтересовался Мюллер.

— Не знаю, — сухо ответил Штирлиц. — Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал все те правила, которые мы с вами оговорили.

О том, что радиограммы на Москву расшифрованы, знал только один Мюллер; слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности: «После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов». Группенфюрер и это аккуратно замотивировал при разговоре с рейхсляйтером;

операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией, в РСХА никто об этом не знает; и уж конечно никто и не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица втемную.

Однако, пока в мире царствует скрытая сила Случая, пока существует сектор разностей, пока в одном с ним здании работают Кальтенбруннер и Шелленберг, удара можно ждать с любой стороны, и каким он будет — предугадать заранее невозможно.

— Он мог узнать про ваш арест? — продолжал спрашивать Мюллер, совершенно, впрочем, не нуждаясь в ответах Штирлица, просто ему так было удобнее думать, времени мало, надо проиграть все допустимые вероятия этого неожиданного вызова.

Если Борман прикажет немедленно вывезти этого паршивца Рубенау в Швейцарию, придется Штирлица перехватывать на дороге, сажать на конспиративную квартиру, ломать его и принуждать к игре с московским Центром в открытую.

— Думаю, что нет, — ответил Штирлиц.

— А если ему сообщили из главного управления крипо? — спросил Мюллер и усмехнулся своему вопросу: кто из криминальщиков решит

обратиться к рейхсляйтеру, перепрыгивая через иерархические ступени? Ерунда, такое возможно где угодно, но только не в Германии. — Вы будете *чувствовать* меня во время беседы, Штирлиц... Сосредоточьтесь, постарайтесь настроиться на мою волну, это — в ваших же интересах.

— Я готов, но если б я знал то, что знаете вы, группенфюрер... Меня может повести не туда... Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания...

— Вы — в деле, Штирлиц. Я не умею предавать... Добрый и доверчивый гестапо-Мюллер всегда страдал за свою доброту... У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий... Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

...Борман принял их в своем маленьком кабинете, на втором этаже массивного здания штаб-квартиры НСДАП на Вильгельмштрассе, прямо напротив рейхсканцелярии. Обменявшись молчаливым партийным приветствием с вошедшими, Борман предложил обоим сесть в кресла напротив себя и сказал:

— Мюллер, я хочу, чтобы вы придали Штирлицу пару-тройку своих верных людей и срочно

отправили их в Линц.

— Да, рейхсляйтер, — ответил Мюллер, испытывая неожиданное облегчение.

— Задача: в районе Альт Аусзее работает враг. Там же, — Борман посмотрел на Штирлица, — в соляных штольнях депонированы сокровища, которые принадлежат партии и нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?

— Нет, — ответил Мюллер. — Мы, секретная служба, грубые люди, рейхсляйтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек, Штирлиц нужен мне здесь... Если же существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.

— Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер, — сухо заметил Борман. — Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет Штирлицу необходимую помощь.

— Нет, — скрипуче возразил Мюллер. — Айгрубер — человек совершенно определенного склада, рейхсляйтер, он — простите меня — слепой фанатик, он ничего не видит и не слышит, он

только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Мы так не умеем работать...

Штирлиц хотел было сказать, что он постарается найти верную линию поведения; ему надо вырваться из Берлина; судя по тому, как Мюллер отбивается от этой его поездки в Верхнюю Австрию, Ганс был убит именно для того, чтобы лишить его возможности маневра, *игра* Мюллера ясна ему; теперь можно уходить, а Мюллер не хочет этого, но сказать сейчас слово против него — значит провалить задумку, ибо, даже если Борман и прикажет, а Мюллер вынужден будет на словах, здесь, в этом кабинете, подчиниться, все равно он останется хозяином положения, когда они выйдут отсюда. Нет, надо молчать, слушать и ждать, будь трижды неладно это постоянное, изводящее душу ожидание...

Борман понял, что необходимо найти выход из сложного положения, он не был намерен сдаваться; в общем-то, можно согласиться с тем, что оба они оказались в сложном положении; то, что было нормой поведения раньше, ныне казалось игрой. Однако надо было найти такую форму отхода, которая не была бы унизительной для престижа рейхсляйтера. Это Борман умел.

— Ну если вы так высоко занеслись, Мюллер,

сидя здесь, в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения... Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера... Да, да, именно так. На его вилле «Керри», где расположена специальная группа шестого управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с сотрудником гестапо, как бы вы отнеслись к этому? Будучи честным человеком, вы бы оборвали собеседника, обвинив его в клевете. Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага...

Штирлиц улыбнулся:

— Ну отчего же... С точки зрения нашей профессии, рейхсляйтер, это порою даже выгодно: отличная возможность начать игру.

Борман поднялся:

— Вот вы мне и докажите, что Кальтенбруннер ведет игру втемную, а не расчетливо и коварно покрывает врага в своем доме! Вот вы и принесете мне на стол доказательства абсолютной надеж-

ности вашего шефа! Но если в ваших сердцах шевельнется хоть тень сомнения в его честности, вы немедленно же сообщите об этом мне. Лично. Сюда или в рейхсканцелярию.

И Штирлиц тогда задал вопрос, который позволил ему вырваться вперед, обогнать Мюллера, освободиться от его опеки, никак не обижая его при этом, оставляя за ним право на окончательное решение:

— Как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека гауляйтер Айгрубер? Ревность, опека, желание дать мне указание, как должно поступить, — такого рода коллизия исключается?

— Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Увы, ревность гауляйтера я не исключаю. Если результаты проверки кончатся благополучно — связывайтесь со мной, поставив его обо всем в известность... Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет очевидна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо, выходите прямо на меня...

Мюллер заметил:

— Спасибо, рейхсляйтер, теперь нам будет легче думать об этом деле.

Он понял, как обошел его Штирлиц на крутом вираже, он снова отдал дань уму и точности этого человека, поэтому решил сейчас выложить на стол свою козырную карту, которая, по его мнению, могла бы заставить Штирлица остаться в Берлине или, на крайний случай, как можно скорее вернуть из Линца к *ноге*, подобно охотничьему псу, вкусившему сладкого запаха теплой крови.

— И последнее, рейхсляйтер, — сказал Мюллер. — Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше, частично по Франции, которые я у него просил. Это — уникальные материалы, слов нет. Если ценности «музея фюрера» в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этой кладези информации по тем высоко стоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы — в будущем — сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в пятьдесят страниц; я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других...

— Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку, предварить

начало обстоятельной работы, систематизировать ее.

— Я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет трудно раскассировать дело по секторам: армия, промышленность, идеология...

Мюллер лениво глянул на Штирлица, словно бы ожидая, что тот поможет ему, скажет «я готов начать предварительную работу немедленно, а после первой прикидки сразу же отправлюсь в Линц», но Штирлиц молчал, не отрывая глаз от Бормана, словно бы показывая этим, что он лишен права на окончательное решение.

— Нет, — сказал Борман, — все-таки туда надо ехать именно Штирлицу, потому что, по мнению экспертов Айгрубера, передачи сориентированы на Даллеса, на его центр... На фронте пока еще спокойно, хоть военные и пугают нас возможностью русской атаки. Штирлиц — со свойственным ему тактом — проведет работу в Линце за три-пять дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена...

И снова Штирлиц обошел Мюллера, ибо поднялся с кресла первым, давая этим понять, что он считает разговор оконченным — приказ Бормана

ему ясен и принят к исполнению.

Мюллеру ничего не оставалось, как сказать:

— Простите, дружище, не сочли бы вы возможным подождать в приемной? У меня конфиденциальный вопрос к рейхсляйтеру.

Штирлиц вышел.

— Рейхсляйтер, — снова кашлянув, сказал Мюллер. — Витлофф, подготовленный доктором Менгеле для внедрения в русский тыл, уже переброшен вашими людьми?

— Нет еще. Отчего вас это интересует? От кого пришла информация о нем?

— От ваших же людей. Там, в охране «АЕ-2», есть мой знакомец с времен Мюнхена, не браните его, для него я не что иное, как маленький слепок с вас... Интересует меня Витлофф потому, что та игра против русских, о которой я вам недавно говорил, входит в завершающую стадию и мне нужны верные люди, верные не кому-либо, но именно вам, партии... Мой план выверен, уточнен; пора идею обращать в дело...

...Дожидаясь Мюллера в приемной, прислушиваясь к тишине, царившей здесь, — налетов не было, телефоны имели только три выхода: на Гитлера, Гиммлера и Кейтеля, ни с кем другим рейхсляйтера не соединяли, — Штирлиц сказал

себе: «Надо уходить, поездка в Линц — последний шанс. Все, что можно было понять, я понял, выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно, случайностью, но эта случайность едва не стоила мне сердечного приступа. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в Центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда, и связника нет и, видимо, не будет, я стал объектом двусторонней игры, но если я хоть как-то могу понять наших, то здешних я вообще перестал понимать. Или же они больные люди, лишенные способности понимать происходящее. Из Берлина мне не уйти, думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, — безумие, меня схватят через день, — как бы я ни менял внешность... А Линц — это горы, там можно отсидеться, можно, в конце концов, идти по тропам на восток; Мюллер не сможет послать за мною слежку, он будет их инструктировать в том смысле, чтобы была обеспечена моя безопасность, а это развязывает мне руки: «еду по оперативной надобности, будьте от меня в ста метрах», — пусть потом ищут... Я не верю Мюллеру, когда он сказал про документы Гелена. Это крючок для меня, он хочет, чтобы я заглотнул

этот крючок, он и в машине станет ждать, что я проявлю интерес к этим материалам Гелена, действительно бесценным для любой разведки. А я не проявлю к ним интереса, не проявлю, и все тут!»

Тем не менее, вернувшись в гестапо, Мюллер достал из сейфа плоский чемодан и положил его перед Штирлицем:

— Это лишь один из материалов Гелена... Здесь — данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях. Имейте в виду, что другие материалы, в частности по России и Чехии, составлены по другой методе. Придумайте — пока будете добираться до Австрии, — как свести все это пухлое многообразие к тоненьким листочкам бумаги, напечатанным на рисовой бумаге, переданной мне нашими японскими коллегами... Когда вернетесь, я поселю вас на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток — хорошенькие. Возьмете на себя Югославию и Францию... Это — дорого стоит, больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте...

...Резко зазвонил телефон, связывавший Мюллера с Кальтенбруннером.

— Да, — ответил Мюллер, — я слушаю, обергруппенфюрер... Да... Да... Хорошо... Иду... — Мюллер поднялся, покачал головой: — Что-то срочное. Ждите меня в приемной. Шольц угостит чаем, я вернусь через двадцать минут.

...Штирлиц пил чай, сидя возле окна, рассеянно слушая, как Шольц отвечает на лихорадочные звонки и — в самой глубине души, тайно и сладостно, — надеялся, что в Линце к нему подойдет высокий парень, который знает, как сейчас курят сигареты на Западе, назовет нужные пять слов пароля, выслушает отзыв и скажет: «Товарищ Исаев, я прибыл для того, чтобы обеспечить вашу отправку на Родину».

— Может быть, я мешаю вам? — спросил Штирлиц Шольца. — Я могу подождать в своем кабинете.

— Группенфюрер сказал, — сухо ответил тот, — что вы нужны ему именно здесь.

Информация к размышлению — VII (Генерал Гелен[22])

Он теперь каждый день вспоминал давешний визит Мюллера; в глазах его то и дело возникало лицо группенфюрера; он *точечно* видел седые волоски на левом виске, плохо выбритом «папой-гестапо»; Гелен был мастером «детали»; он любил повторять:

— Как в кинематографе мелочь определяет уровень талантливости, так и в нашем деле сущий пустяк может оказаться поворотным моментом в грандиозной операции. Если бы адмирал Канарис не обратил внимания на ножки Мата Хари, не пригласил ее в ресторан «Максим», а потом не отвез в свою загородную квартиру — кто знает, как бы развивались события на театре военных действий и сколько немецких жизней оказались бы погубленными англо-французскими мерзавцами в мокрых и грязных окопах... Вспомните фильм большевистского режиссера Эйзенштейна про матросский бунт в Одессе: я не знаю, намеренно

---

22 Примечания: 22

Рейнгард Гелен умер в 1980 году. Являлся создателем и руководителем секретной службы ФРГ.

или случайно покатилась коляска по лестнице на набережную, однако если это была задумка — то, значит, Эйзенштейн никакой не русский, а настоящий немец. Если же это оказалось случайностью, недоработкой его ассистентов, то и тогда честь ему и хвала, значит он умеет и в мелочи заметить главное...

Как это ни странно, именно небритое лицо Мюллера заставляло Гелена то и дело возвращаться в своих раздумьях о будущем к чему-то очень важному, что смутно им чувствовалось, но покуда еще не было до конца понято.

Он понял все, вернувшись с доклада Йодлю. Картина будущих решений предстала перед ним абсолютная — в своей завершенности.

«Если такой аккуратист, — сказал себе Гелен, — как Мюллер, не смог тщательно выбриться, то он будет так же невнимателен ко всему тому, что не укладывается в его схему жизни на то время, которое отпущено всем нам — до того момента, когда настанет крах. Тотальную слежку он сейчас осуществлять не может. Он сохранил за собою лишь самые главные *направления*; все, что по бокам, а тем более за спиною — он уже не может охватить. Чем резче и неожиданнее будет мой *поступок*, тем больше шансов на успех, на то, что

я смогу вырваться отсюда на Запад».

Гелен долго готовился к *действу*, но уж когда он заканчивал обдумывание всех поворотов предстоящей операции, его поступки отличались холодной стремительностью.

...Он не сразу пришел к мысли стать кадровым военным, хотя вся его семья относилась к числу тех, которых называли «прусской костью»; впрочем, сам он пруссаком себя не считал, а мать и вовсе родилась в Голландии.

Однако же, вступив в ряды армии после того, как был подписан Версальский договор, когда Германия была практически лишена права иметь воинские формирования, Гелен выполнил свой долг истинного патриота: империя без войск невозможна, необходимо сделать все, что в силах каждого немца, дабы вернуть стране могучую армию; будущее решает не станок и плуг, считал он, но штык и орудие.

В 1923 году юный Гелен стал обер-лейтенантом; окончив привилегированную школу кавалерии, он сделался адъютантом заместителя начальника генерального штаба; отец, один из идеологов великогерманского национализма, выпускал учебники истории, в которых звал молодежь к реваншу: «Мы — нация без жизненного про-

странства!» Он же первым начал печатать карты для генерального штаба; сыну карьера была обеспечена.

А когда Гитлер пришел к власти, издательство Гелена-отца было — за заслуги перед движением — провозглашено «образцовым народным национал-социалистским предприятием».

Во время вторжения в Польшу Гелен был одним из самых молодых майоров вермахта; именно там он стал офицером связи между генералами Манштейном и Гудерианом.

Именно здесь, в Варшаве, после победы он познакомился с флегматичным, постоянно сморкающимся полковником Кинцелем, возглавлявшим особый отдел генерального штаба «Иностранные армии Востока». Гелен тогда уже стал личным адъютантом начальника генерального штаба Гальдера; именно тогда он по-настоящему ощутил *сладостное* чувство службы на сильного.

Кинцель нежно перебирал папки с донесениями от русской резидентуры, работавшей под руководством заместителя военного атташе в Москве генерала Кребса, долго и тщательно сморкался, говорил простуженно, постоянно покашливая:

— Я даю большевикам два месяца на то, чтобы они откатились за Урал. Колосс на глиняных ногах обречен на то, чтобы удобрить поле для германских колонистов. Дни Сталина сочтены.

Гелен придерживался иной точки зрения: он любил читать, отец выпускал книги и по истории. Где-где, а в истории парадоксов хоть отбавляй. Впрочем, зная, что Кинцель тесно связан со службой обергруппенфюрера Гейдриха, стремительно растущий Гелен (он уже стал подполковником) молчал и поддакивал.

Лишь после того как войска вермахта откатились от Москвы, он понял, что настало время действовать.

...Отец Гелена, директор издательства «Фердинанд Хирт, типография и книжная торговля», записался на прием к гауляйтеру Бреслау и был принят на следующий же день, вечером, после окончания работы — знак особого уважения.

— Я должен просить вас, уважаемый партайгеноссе, — сказал он руководителю окружной организации НСДАП, сидевшему под огромным портретом Гитлера, — чтобы наша беседа осталась тайной, ибо я никак не хочу причинить зло моему сыну, Рейнгарду, а речь пойдет именно о нем.

— Вы знаете, — ответил гауляйтер, — что слово партийного функционера национал-социалистской рабочей партии тверже камня и крепче стали. Могли бы говорить, не предваряя такого рода просьбой.

— Мой сын служит у генерал-полковника Галь...

— Я знаю, — перебил гауляйтер, — пожалуйста, существо дела, фюрер учит нас экономить время, я даю вам пять минут, извольте уложиться с вашим вопросом...

— Речь идет о том, что подразделение разведки генерального штаба, работающее против русских, находится в руках человека, связанного родством со славянами.

— Вы сошли с ума, — лениво откликнулся гауляйтер, но в глазах его вспыхнул быстрый холодный огонь. — Такого рода пост может быть занят лишь кристально чистым арийцем.

— Тем не менее, — упрямо повторил Гелен-старший, — у жены полковника Кинцеля есть какой-то родственник польской крови... Нет, нет, Кинцель прекрасный офицер, он делает все, что должен делать, и наше зимнее выравнивание фронта под Москвой никак не может быть поставлено ему в вину: кто мог предполагать такие

морозы?! Но, тем не менее, когда я узнал об этом от Рейнгарда, то я счел своим долгом сообщить вам.

Родство со славянами, как и простое знакомство с коммунистами, предполагало лишь одно: немедленное увольнение со службы — до начала разбирательства; есть сигнал, и достаточно; если потом выяснится, что человека «оклеветали» — ему найдут другое место; рейх прежде всего; личные обиды не имеют права на существование.

Кинцель был снят со своего поста через три дня; это было беспрецедентно долго, но за него вступался лично Гальдер, однако это не помогло, хотя полковник просидел лишние два дня в штабе; без заступничества начальника генерального штаба его бы вывели за ворота в течение двадцати четырех часов.

Проверкой было установлено, что у его жены нет родственников низкой расы, компрометирующих истинного арийца, однако дело было сделано — в кресле Кинцеля уже сидел полковник Рейнгард Гелен; генерал Гальдер вручил ему серебряные погоны лично, через час после назначения на высокий пост.

На следующий же день Гелен собрал своих

помощников и сообщил им, что он — по согласованию с начальником РСХА Гейдрихом — меняет весь состав офицеров армейской секретной службы, начиная с полков, причем, если первый и второй отделы фронтовой, корпусной, дивизионной и полковой разведок будут по-прежнему заниматься своими обязанностями по сбору секретных данных, саботажу и диверсиям, то работу третьих отделов — контрразведка, наблюдение за личным составом штабов вермахта — он, Гелен, отныне намерен координировать с шефом РСХА Гейдрихом.

После этого Гелен покинул генеральный штаб и совершил стремительный вояж из Винницы — где он расположился по соседству со ставкой фюрера — в Берлин, Белград, Софию и Гамбург.

Здесь он встретился с ветеранами германской разведки, которые говорили по-русски так же свободно, как рейхсляйтер Альфред Розенберг; все они были выходцами из Петербурга и Москвы, провели свое детство в поместьях под Рязанью и Нарвой, *помнили* былое, мечтали о том, чтобы это прекрасное былое вновь обрело реалии настоящего и — особенного — будущего.

Первым, кого посетил Гелен, был генерал Панвитц; он состоялся в девятнадцатом году,

когда возглавлял вооруженные подразделения, расстреливавшие немецких радикалов; его беспощадность Адольф Гитлер ставил тогда в пример руководителям СА.

— Колебания в период кризисов невозможны; поколения простят ту кровь, которая прольется на нивы, где зацветут всходы после того, как плевела будут уничтожены!

Поскольку фон Панвитц командовал казачьими соединениями генерала Шкуро, расквартированными в Югославии, Гелен провел с ним пятичасовую конференцию, наметил план работы по созданию крепкого штаба, составленного из царских офицеров, готовых на все, лишь бы повалить большевизм, договорился об откомандировании к нему десяти наиболее проверенных казачьих вождей и отправился к Вильфриду Штрик-Штрикфельду, майору запаса, работавшему по изучению и систематизации тех данных, которые передал нацистам генерал-лейтенант Власов.

Поскольку в годы первой мировой войны Штрик-Штрикфельд был царским офицером, служил в белой армии и Россию знал великолепно, Гелен поручил ему осуществлять все контакты с рейхсляйтером Розенбергом и рейхсфюрером

Гиммлером, которые к Власову относились ревниво и передавать его вермахту пока что намерены не были.

После этого Гелен встретился с генералом Кестрингом, работавшим в аппарате Кребса, когда тот курировал военный атташат в Москве, и предложил ему возглавить формирования «патриотов русской национальной идеи, которые готовы строить свое государство восточнее Урала».

И, наконец, Гелен нанес визит вежливости бригадефюреру Вальтеру Шелленбергу, попросил его советов, выслушал молодого шефа политической разведки с восхищенным вниманием, хотя знал куда как больше, чем этот красавчик, только вида не показывал, а уж потом посетил Мюллера.

— Группенфюрер, без вашей постоянной помощи я просто-напросто не смогу функционировать: русские — люди непредсказуемых поворотов, мне важно, чтобы именно ваши сотрудники пропускали через свое сито всех тех, кого отберет Штрик, а уж после Панвитц и Кестринг примут под свое командование...

Через два месяца Гелена вызвал Геббельс; созданная полковником секретная группа «Активная пропаганда на Восток», возглавленная ставленником Розенберга прибалтийским нем-

цем фон Гроте, начала выпуск листовок; писали пропагандисты Геббельса, Власов их визировал.

Рейхсминистр высказал соображение, что пропаганда Гелена слишком осторожна.

— Смелее называйте вещи своими именами, — советовал Геббельс. — Русские обязаны подчиняться, они не умеют мыслить, они должны стать слепыми исполнителями наших приказов.

— Русские умеют мыслить, господин рейхсминистр, — рискнул возразить Гелен, — их философские и этические школы, начиная с Радищева и кончая Соловьевым, Бердяевым и Кропоткиным, я уж не говорю о Плеханове и Ленине, начинены взрывоопасными идеями; с точки зрения стратегии мы обязаны сейчас позволить им считать себя не очень-то уж неполноценными; после победы мы загоним их в гетто, но пока стреляют партизаны...

— Их уничтожат, — отрезал Геббельс. — Нация рабов не имеет права на иллюзии...

Тогда Гелен обратился к Скорцени:

— Отто, вы вхожи к фюреру, я прошу вас помочь мне: нельзя столь пренебрежительно дразнить русского медведя, как это делаем мы. Я ненавижу русское стадо не меньше, а быть может, больше рейхсминистра Геббельса, но я выезжаю на

фронт и допрашиваю пленных: наша неразумная жестокость заставляет их прибегать к ответным мерам.

Скорцени покачал головой:

— Рейнгард, я не стану влезать в это дело. Фюрер никогда не пойдет на то, чтобы санкционировать хоть какое-то послабление в славянском вопросе: если евреи должны быть уничтожены тотально, то русские — на семьдесят процентов; мы же с вами читаем документы ставки, нет смысла воевать с ветряными мельницами.

...После того как Гелен составил свой развернутый меморандум по Красной Армии, после того как он приобщил к нему страницы с выдержками из допросов перебежчиков, данные перехватов телефонных разговоров в России и отправил это — через Гальдера — в ставку, фюрер присвоил ему звание генерал-майора; это случилось через несколько недель после того, как лучшие офицеры и генералы, думавшие о судьбе Германии перспективно, были удушены на рояльных струнах, подцеплены за ребра на крюки, куда вешали разделанные туши, или же расстреляны в подвалах гестапо.

Именно тогда, приехав в Бреслау, к отцу, — после того как кончился семейный ужин и

мужчины остались одни в большой, мореного дуба, библиотеке — Гелен-младший сказал:

— Все кончено, отец, мы проиграли и эту кампанию.

— Но оружие возмездия... — начал было отец, однако сразу же замолчал, признавшись себе, что говорит он так потому, что постоянно ощущает на спине холодные глаза невидимого соглядатая.

Поднявшись, Гелен-старший включил радио — ему, как главе «народного предприятия», было позволено держать дома приемник, у всех остальных зарегистрировали или отобрали, — нашел Вену (передавали отрывки из оперетт), вздохнул, покачал головою:

— Не слишком ли ты смело говоришь, мой мальчик?

— Так сейчас говорят все.

— Но ты генерал, а фюрер перестал верить военным после безумного акта Штауффенберга.

— Акт был далеко не безумным, отец. Просто, думаю, операция была не до конца додумана, не учтен именно этот самый фактор страха... Он вдавлен в каждого из нас; увы, не только в заговорщика, но и в того, кто призван его карать...

— Государство невозможно без страха.

— Государственный страх обязан быть совер-

шенно особым, отец... Ты прав, он необходим, однако он обязан быть совершенно отличным от обыкновенного, привычного, бытового, если хочешь. Он, этот государственный страх, должен быть таинственным, надмирным, он — словно провидение, он карает лишь тех, кто отступает, остальным он не должен быть ведом; ведь овцы лишены этого чувства, им наделен лишь тот баран, который ведет отару, чует волка и испытывает при этом ужас; все остальные лишь повторяют его чувствования и, как следствие, поступки... Я долго думал над тем, в чем сокрыта суть такого глобального понятия, каким я считаю *стиль*... Согласись, Севилья и Гренада, завоеванные испанцами, по сю пору хранят прелесть арабской архитектуры, тогда как Барселона несет в себе ядро парижского или даже берлинского рационализма. Прямолинейность Лондона грубо противоречит римским улицам возле Колизея... Каждая культура, проявляющая себя в стиле, имеет свою таинственную временную длительность... Время третьего рейха историки будут исчислять всего лишь двенадцатью годами, отец, в следующем году мы станем разгромленной державой...

— Рейнгард...

— Отец, если бы я не был патриотом нации, я бы не говорил так... Ныне лишь слепцы из партийного аппарата Бормана повторяют завывания доктора Геббельса; мы, люди армии, должны думать о будущем...

— Но возможно ли оно?

— Оно необходимо, следовательно, возможно. Наступит время для создания нового *стиля*, отец... Знаешь, я особенно дотошно выспрашивал Власова о причинах, побудивших его перейти на нашу сторону... Он лгал мне... Он смят страхом... Его бормотанье о необходимости восстановления веры, об особом призвании русской нации в борьбе с красным дьяволом — перепевы того, что вкладывал в его голову мой Штрик-Штрикфельд... Власов запутался в самом себе... Он оказался неподготовленным к поражению, а потому был раздавлен, словно мокрица... А мы уже сейчас обязаны быть готовы к тому, чтобы восстать из пепла... Я думаю над этим... Я пока еще не пришел к определенным выводам, но, тем не менее, хочу просить тебя выйти в отставку и, сославшись на сердечное недомогание, срочно уехать с моей семьей в Тюрингию, в горы, за Эльбу...

...Вернувшись в генеральный штаб, Гелен приказал напечатать свою «Красную библию» в

двадцати экземплярах, включив туда лишь сотую часть тех материалов, которые были собраны сонмом его офицеров, разбросанных по всем подразделениям вермахта.

Наиболее ценные документы он микрофильмировал в трех экземплярах, первый спрятал в сейф, в ящичек, на котором было написано: «Лично для доклада рейхсфюреру СС» (необходимый камуфляж — боялся гестапо; те никогда не рискнут лезть в то, что адресовано Гиммлеру, хотя он и не думал показывать этому паршивцу свои архивы); второй экземпляр скрыл в тайнике, оборудованном в том доме, где теперь жила его семья в горах; а третий надежно закопал в ущелье возле альпинистского приюта Оландсальм, высоко в Альпах, на границе со Швейцарией.

...И вот сейчас, то и дело возвращаясь мыслью к визиту Мюллера, который вырвал *огрызок* его материалов, собранных в «Красной библии», Гелен мучительно искал выход: бегство из Майбаха-II на Запад невозможно, его расстреляют, как дезертира; ждать приказа истерика и маньяка, запершегося в бункере, — значит обрекать себя на гибель; *тот*, кто тонет, мечтает захлебнуться в компании себе подобных: не так страшно, эгоист и в смерти продолжает быть эгоистом.

Гелен засыпал и просыпался с мыслью о том, как ему выбраться из Берлина, как получить *право* на поступок, и, наконец, ночью во время короткого отдыха между бомбежками его словно бы кто толкнул в шею.

Гелен поднялся, в ужасе прошелся по кабинету, потому что ему казалось, будто он забыл то, что ему сейчас виделось во сне — спасительное и близкое, разжевано, только оставалось проглотить.

— Оп! — Гелен остановился, облегченно рассмеявшись, ударил себя ладонью по лбу. — Ах, ты, боже мой! Бур! Конечно, я же видел во сне Бура!

Именно он допрашивал вождя Армии Крайовой, поднявшего поляков на мятеж в Варшаве, чтобы не пустить туда русских, в течение двух недель; они поселились в маленьком особняке на берегу Балтики, много гуляли, *проходили* историю восстания по дням, час за часом.

Именно тогда Бур-Комаровский и рассказал ему схему организации своего подполья.

Именно эта схема легла впоследствии в основу гитлеровского подполья, названного Гиммлером — по предложению Гелена — «Вервольфом» то есть «оборотнем».

Но Гелен всегда отдавал другим лишь малую

часть того, что имел; главное он хранил для решающего часа.

(Впервые он стал думать о том, как замотивировать свое бегство на Запад, когда полковник Бусе сказал, что продуктивная работа под бомбежками малопродуктивна; эти слова запали ему в голову; он не мог себе представить, что Бусе, являясь агентом гестапо, выполнял задание Мюллера, влияя на Гелена в том смысле, чтобы тот сам попросил Кейтеля об освобождении его со своего поста; после беседы с Бусе Гелен дважды *подбросил* генерал-полковнику Йодлю мысль о том, сколь целесообразно оборудовать запасную штаб-квартиру; тот, однако, никак на эти слова не прореагировал — в нем тоже бушевал страх; не русских боялся он, которые стояли на Одере, но безликого плотного человека в черном кожаном пальто с рунами СС в петлицах; не страна, а громадное царство страха.)

...Утром следующего дня Гелен позвонил в бункер генералу Бургдорфу и попросил об аудиенции.

Бургдорф, который теперь пил не переставая — начинал с раннего утра, держался весь день на вермуте или «порту» и забывался лишь на пару часов перед рассветом, — ответил, раскатисто

смеясь:

— Если вас не разбомбят русские, приезжайте прямо сейчас, угощу отменным обедом...

Гелен, решив осуществить идею Бусе не через Йодля, а в ставке, разложил перед Бургдорфом свои документы — тысячную, понятно, их часть, — но тот не слушал, каламбурил, вспоминал пешие прогулки по горам, интересовался, когда Гелен последний раз был в театре, и более всего порадовался тому, что генерал выбрал себе кодовое обозначение «30».

— Нет, но отчего именно «доктор тридцать»? Я понимаю, господин «пять» или «доктор два», но «тридцать»?!

— Мне было тридцать, когда я решил посвятить себя борьбе против русских, — ответил Гелен. — Так что в моем кодовом имени нет никакой хитрости, обычная символика... Генерал, я прошу вас устроить мне аудиенцию у фюрера... Мне нужно десять минут...

Бургдорф выпил вермута, налил себе еще, усмехнулся:

— А с Борманом не хотите побеседовать? Какая умница, какой скромник, чудо что за человек...

— Генерал, — повторил Гелен, с трудом скрывая тяжелую ненависть, возникшую в нем к этому

пьяному, но, тем не менее, лощеному генералу, — речь идет о судьбе немцев...

— Полагаете, об их судьбе еще может идти речь? — удивился Бургдорф. — Вы оптимист... Тем не менее, я люблю оптимистов и поэтому постараюсь помочь вам.

Через сорок минут Гитлер принял Гелена.

— Мой фюрер, — сказал генерал, — судьба тысячелетнего рейха решается на полях сражений, и она решится в нашу пользу, в этом нет никаких сомнений...

— Ну почему же? — тихо возразил Гитлер. — Даже Шпеер написал мне в своем меморандуме, что война проиграна... Вы придерживаетесь противоположной точки зрения?

Гелен ждал всего чего угодно, но только не этих слов. Он понял, что, замешкайся хоть на секунду, потеряй лицо на какой-то миг, все для него будет кончено; он даже ощутил болотный привкус теплой воды, когда мальчишкой тонул, упав с мостков в озеро под Бреслау; ошибка в разговоре с Гитлером непростительна, исход ее похож на падение в холодную воду, когда опускаешься на илистое, жуткое дно, голова работает, руки гребут, но к ногам прикована бетонная балка — тянет вниз, стремительно, тяжело, упрямо,

нет спасения; конец; кровавые пузыри; взрыв легких...

— Я верю в германского солдата, мой фюрер, — ответил Гелен, — я верю в нашу нацию, которая ни в коем случае не потерпит иностранного, особенно русского, владычества... Вот здесь, — он еще теснее прижал папку с документами локтем к ребрам, — мое заключение о том, как в самый короткий срок наладить активный террор в тылу русских. Но я не могу работать под постоянными бомбежками, мне необходима хотя бы неделя для того, чтобы уехать на одну из альпийских баз и там свести воедино список агентуры, которой можно будет передать все склады с оружием и динамитом, заложенные мною в русском тылу, и подготовить список последовательности в тотальном разрушении средств коммуникаций на Востоке...

— Вы слишком долго доказываете разумность очевидного, — сказал Гитлер. — Отправляйтесь в Альпийский редут незамедлительно... Я жду вас с подробным отчетом через неделю... И поздравляю вас со званием генерал-лейтенанта, Гелен, я умею ценить тех, кто думает так же, как я...

(Через шесть дней Гелен вместе со своим штабом был не в Альпийском редуте, но в Мисбахе, в

тридцати километрах от швейцарской границы. Там он отпустил шоферов и охрану, приказав им ехать в Берхтесгаден. А еще выше в горы с ним отправилось всего пятнадцать человек — самые близкие сотрудники. Ночевали в горном приюте Оландсальм; окна деревянной хижины стали плюшевыми от инея; луна была огромной и близкой; снег отдавал запахом осенних яблок. Гелен выпил рюмку водки и уснул, как младенец; ему снились стрижи, обгонявшие огромный самолет...

Эта война для него кончилась.

Пришло время менять стиль, ибо наступала пора войны качественно новой.)

Вот как умеет работать гестапо! — III

— А что будем делать с Рубенау? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся от Кальтенбруннера и снова пригласил его к себе в кабинет, обменявшись с адъютантом Шольцем быстрым всепонимающим взглядом. — Пусть сидит? Его поездку в Монтрё, видимо, следует отменить?

— Почему? — Мюллер удивился. — Если он готов к работе — отправляйте: в Базеле его примут мои ребята из нашего консульства. Я уже предупредил шифротелеграммой; обговорите с ним связь; запросите Шелленберга, какие задания он вменит вашему еврею, после того как тот свяжется с Музи или со своими раввинами... Зачем же отменять его поездку? Это любопытное дело, оно позволяет понять, что на самом деле задумал ваш шеф и мой друг... Я не верю ни одному его слову, он скрытен, как девушка в переходном возрасте; Рубенау следует превратить в подсадную утку — пусть на него кидаются нейтральные селезни, а мы поглядим, как на их предложения станет реагировать Шелленберг... Рубенау — фигура

прикрытия, это ясно, но что Шелленберг им прикрывает? Это меня интересует по-настоящему.

— Когда я успею обговорить связи, проинформировать Шелленберга, отправить Рубенау?

— После Линца, Штирлиц, по возвращении в Берлин.

— Думаете, я успею вернуться? — хмуро улыбнулся Штирлиц.

— Успеете.

— Сомневаюсь.

— Что ж, тогда ваше счастье... В Линце красивая весна; там будет значительно тише, чем здесь, уличные бои не предвидятся.

— Как же я вас оставлю одного? — вздохнул Штирлиц. — Да и я сам — без вашей помощи — не выберусь из мясорубки; в Линце тоже станут искать людей нашей с вами профессии.

— Мясорубка, — повторил Мюллер. — Хорошо определили то, что грядет.

— Когда выезд? Сколько времени у меня осталось? — спросил Штирлиц, неожиданно для себя решив, что сейчас, в Бабельсберге, он переоденется, достанет из-под паркета паспорт на имя финского инженера Парвалайнена, отгонит машину к каналу, имитирует аварию (пусть ищут на дне тело) и уйдет на берег озера, на мельницу

Пауля; старик умер две недели назад, там теперь никого, а за домом есть подвал, о котором никто не знает, потому что Пауль рыл его по ночам, чтобы прятать излишки муки; там сухо. «Можно прожить неделю, и две, и три, а потом придут наши; я возьму с собою консервы и галеты, я не зря их копил, мне хватит, да и потом от голода умирают, если кончилась надежда, полная безысходность, грядут холода, а сейчас началось тепло, соловьи поют — они бомбежек не боятся, оттого что про них ничего не понимают, думают, маленькие, что это такой гром... Да, я ухожу, у меня нет сил, я сорвусь, я чувствую, что в Линце меня ждет западня, и никто не подойдет ко мне в ресторанчике «Цур пост» со словами пароля; не надо лгать себе, это, в конце концов, жалко...»

Мюллер потер затылок, заметил:

— Снова погода меняется... Времени у вас не осталось. Вам не надо от меня уезжать вообще, Штирлиц...

— А собраться в дорогу?

— Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище, не сердитесь... А Рубенау в подвале, у вас есть пара часов, валяйте, расскажите ему

про то, что он должен делать, в конце концов я его отправлю сам, двух девок с ним пущу — офицеров нет, все при деле...

«Все. Конец, — понял Штирлиц. — Я в кольце, меня теперь будут держать плечами, я зажат... А я ведь чувствовал, что грядет, только боялся себе в этом признаться; нет, не то чтобы боялся, просто, видимо, оттягивал тот миг, когда признаться все равно пришлось бы... Напрасно я не поверил чувству, оно сейчас точнее разума; анализ необходим тем, кто стоит по восточную сторону Одера: наши вправе сейчас анализировать, потому что за нами победа; а здесь наступил крах, всеми руководит чувство животного выживания, а не разум; они потеряли голову, мечутся, и я не мог не настроиться на их волну, правильно делал, что настроился на нее — «среди рабов нельзя быть свободным», как вещал Клаус, однако я слишком долго позволял себе роскошь не соглашаться с самим собою, и настала расплата.

Погоди, — сказал он себе, — не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств». У тебя заранее продуманы *ходы*, надо пробовать все, что только можно, надо бить на чувство, расчет, эмоции — это может сейчас пройти. Логика — во-вторых,

но сначала я должен обратиться к чувству... И потом нельзя уезжать, не сделав все, чтобы спасти детей этого самого Рубенау, он — сломанный человек, но разве его дети виноваты в том, что пришел Гитлер? Чем больше добра старается делать человек, тем больше ему воздается; мир умеет благодарить за добро; это — закономерность, чем скорее люди поймут это, тем лучше станет им жить...»

— Хорошо, — сказал Штирлиц, — пусть будет так, я понимаю, что после гибели бедолаги Ганса вы вправе постоянно тревожиться за мою жизнь... С Рубенау я управлюсь быстро, но...

— Что «но»? — спросил Мюллер. Он не терпел, когда не договаривали, Штирлиц знал это и умел этим пользоваться.

— Да нет, пустое...

— Штирлиц!

— У меня давно уже вызрела любопытная идея, только...

— Валяйте вашу идею — но скоренько! Тьма работы... Нежданно-негаданно из Мюнхена сюда к нам выехала Ева Браун, дамочку никто не ждал, Кальтенбруннер поручил мне наладить охрану и встречу ее поезда... Ну?

— Я думаю вот о чем, — задумчиво сказал Штир-

лиц, — отчего бы вам, лично вам, группенфюреру, не попробовать отладить свою, личную связь с Музи? Или с богословами из Монтрё? Почему вы постоянно отдаете инициативу другим?

Штирлиц увидел, что Мюллер ждал чего угодно, только не этих его слов.

— Погодите, погодите, — сказал он (был, видимо, настроен на что-то другое, напряженно *взвешивал* ответ; к такого рода посылу оказался неподготовленным). — Я не совсем понимаю: как это — прямая связь с Музи? Я и Музи? Да нет же, Штирлиц, не витайте в эмпиреях, кто станет говорить с гестапо-Мюллером?!

— Который подчиняется Гиммлеру, отправившему обергруппенфюрера Вольфа к Даллесу... И оба они прекрасно себя чувствовали за одним столом. А Вольф на три порядка выше вас в иерархии рейха... Почему вы отдаете Музи и раввинов Гиммлеру, Вольфу и Шелленбергу? Причем — безраздельно? Попытка — не пытка, давайте попробуем...

(Судьба Рубенау была решена Мюллером в тот день, когда Штирлиц начал с ним работать. Ему было уготовано то же, что и Дагмар, — смерть; после этого Мюллер организовывал такую информацию от «Рубенау» — этим займутся его

люди в бернской резидентуре, они только ждут сигнала, — которую Штирлиц немедленно *погонит* на Москву. Там — как и в «Шведском варианте» — вряд ли будут спокойно относиться к организованным гестапо «новостям»; главное — постоянно пугать Кремль близкой возможностью компромисса между Гиммлером и Даллесом, и пугать не со стороны, а через их серьезнейшего агента, через Штирлица. При этом устранение Рубенау перекрывало все пути для ухода Штирлица за границу. А впрочем, куда еще можно уйти из рейха, кроме как в Стокгольм и Берн? Некуда.

Однако то, что предложил сейчас Штирлиц, было настолько неожиданным, что Мюллер дрогнул, смешался, почувствовав перспективу.)

— А что? — задумчиво сказал Мюллер, и лицо его на какое-то мгновение перестало быть постоянно собранным, морщинистым, хмурым, сделалось *мягким* и заинтересованным. — Дерзкая идея... Но где гарантия, что Рубенау не обманет? — Лицо снова собралось морщинами. — Нам доложит, что раввины готовы потолковать со мною с глазу на глаз, а сам даже побоится в их присутствии произнести мое имя?

Штирлиц покачал головой:

— Гарантия есть... Вы же знаете, как он любит

своих детей... Давайте сделаем так: вызывайте его сюда, я вас ему представлю — в открытую, незачем темнить, — и задам вопрос в лоб: может он провести такой разговор в Монтрё или нет?

— Конечно, он ответит, что готов! Он скажет, что безумно любит меня и мечтал бы записаться в СС, что же еще он может ответить?! — Мюллер задумчиво снял трубку телефона, негнущимся, словно карандаш, пальцем набрал номер: — Алло, как у вас там с оцеплением вокзала? Хорошо, докладывайте постоянно, как движется поезд фройляйн Браун, я несколько задержусь... В дороге бомбежек не было? Что? Где? Полотно восстановили? Ясно... Понятно... Наши люди подняты по тревоге? Ладно, ждите... — Он положил трубку. — Англичане разбомбили железнодорожный путь, поезд дамочки был в сорока километрах, пригнали русских пленных, чинят дорогу... К счастью, это не по моему ведомству, так что Кальтенбруннер будет сидеть на транспортниках, у нас есть еще время, валяйте дальше...

— Дальше валять нечего, вы же не верите Рубенау...

— Я не верю ни одному еврею, Штирлиц. Я верю только тому еврею, который мертв. Впрочем, так же я отношусь к русским, полякам, югославам...

— Ну это все для доктора Геббельса, словопрения, — поморщился Штирлиц. — Я человек дела — предлагаю испробовать шанс... Прикажите отправить его девочку в швейцарское посольство, вы знаете, как это можно сделать, пусть ее отвезет туда жена. А после этого устройте им здесь встречу: он, его жена и сын... И пусть жена скажет, что вы, лично вы, группенфюрер Мюллер, спасли его дочку. А вы ему пообещаете, что отправите в посольство и мальчишку — после того как он привезет вам письмо от Музи или раввинов с предложением о личной встрече... Отчего этот козырь должен брать Шелленберг? Или Гиммлер? Почему не вы? Я бы на вашем месте сказал Рубенау — и пусть он передаст это Музи, — что вы, именно вы, готовы отпустить вообще всех узников лагерей, а не только финансистов и ювелиров. Вы тогда выиграете интеллектуалов, ибо вы, и никто другой, окажетесь их спасителем...

Мюллер задумчиво сказал:

— Мальчишка — после того как он вырос здесь, в гетто, без еды и прогулок — не сможет делать новых еврейчиков, а девка — сможет, бабы — выносливее, так что будем торговать мальчиком...

Штирлиц знал, что Мюллер скажет именно так — они всегда норовят поступать наоборот, ни-

кому не верят; он на это именно и рассчитывал, когда говорил про то, что в посольство надо отвезти девочку; Рубенау просил за мальчика. «Как его зовут-то? Ах да, Пауль, сочинил симфонию в семь лет, бедненький человечек; а у Мюллера действительно нет времени, иначе бы он прослушал мою работу с Рубенау в камере, он бы тогда не клюнул на поддавок с девочкой; интересно, кто же из его людей изучал наш разговор в камере? Ах, если бы он сейчас поручил мне съездить за женщиной. Он никогда на это не пойдет, — сказал себе Исаев, — не надо играть в жмурки с судьбою, смотри ей прямо в глаза...»

— А почему бы действительно не попробовать? — задумчиво спросил Мюллер. — Почему бы и нет?

Через два часа Рубенау сидел в кабинете Мюллера, лающе плакал и при этом улыбался сквозь слезы; жена его тоже плакала, прижимая к груди дочь, и повторяла, по-детски всхлипывая:

— Это все господин Мюллер! Мы должны молиться за него, Вальтер! Это он, его нежное сердце! Ты должен отплатить ему таким добром, какое только можешь сделать, Вальтер! Это господин Мюллер, он сказал, он сказал мне, он сказал...

— Успокойтесь, — деревянно хохотнул Мюллер;

лицо как маска, улыбка, насильно положенная на губы, казалась гримасой брезгливости. — Успокойтесь... Я бы и вашу милую девочку оставил там, у швейцарцев, но вы понимаете, надеюсь, как я рискую, спасая мальчика? Когда ваш муж приедет в Швейцарию, пусть он найдет в телефонной книге Лозанны адрес господина Розенцвейга — это мюнхенский адвокат; я, именно я, переправил его через границу, чтобы беднягу не арестовали в тридцать восьмом, когда начались гонения... Спросите его, скольких евреев я спас, спросите... Рубенау, вы убедились, что мой человек, беседуя с вами, нисколько вас не обманывал?

— Да, господин Мюллер! Я убедился! Я готов служить как собака! Я закажу моим друзьям и внукам — если они будут — молить за вас бога и просить счастья вашим детям...

Мюллер повернулся к женщине:

— Госпожа Рубенау, вас отвезут на хорошую квартиру... Вы будете там в полной безопасности... Если только ваш муж не решится на нечестность...

Женщина воскликнула, прижав к себе дочь:

— Он не посмеет! Он сделает все, добрый господин Мюллер!

— Все может сделать бог, — ответил Мюллер. — Человек — раб обстоятельств.

— Человек — не бог, — согласно кивнул Рубенау. — Но я буду делать все, что только можно!

— Это — хорошо, — легко согласился Мюллер. — Но ведь можно говорить, что сделаю все, и при этом ничего не делать... Погодите, не возражайте, сначала дослушайте меня... От вас шарахнутся, когда вы скажете, что я отправил вас, я, не кто-нибудь, а шеф гестапо...

Рубенау покачал головой:

— Там сидят умные люди, господин Мюллер, они понимают, что если и можно чего-то добиться, так это тогда, когда имеешь дело с хозяином предприятия... А кто, как не вы, хозяин предприятия?

— Хозяин предприятия — рейхсфюрер Гиммлер, я — маленькая сошка, о которой слишком много говорят... Я выполнял то, что мне предписывали, поэтому и стал седым в мои-то годы... А когда вскроют после смерти, то обнаружат, что я жил с разорванным — от жалости к людям — сердцем...

И вдруг Рубенау (Штирлиц прямо-таки поразился) спокойно заметил:

— Это — для выступления с кафедры, в соборе, господин Мюллер. Если вы так станете говорить

со швейцарскими господами, они решат, что я их шельмовал... Дело есть дело, вы делали свое дело, и нечего оправдываться: каждый ставит на свой интерес, чтобы добиться успеха...

...Когда женщину увели, Мюллер достал бутылку водки, налил рюмку, протянул Рубенау:

— Выпейте.

— Я опьянею, — сказал тот. — Я разучился пить...

— Пора учиться заново, — усмехнулся Мюллер.

Рубенау выпил, зажал ладонью губы, начал судорожно, харкающе, до слез, кашлять.

Мюллер посмотрел на Штирлица, и странная, озорная улыбка, не деланная, а искренняя, появилась на его лице.

— Ишь, как корячится, — хмыкнул он, — прямо-таки пантомима... Хотите выпить, Штирлиц?

— Нет.

Мюллер плеснул себе в рюмку, сразу же *сладко* выпил, встал из-за стола и присел на ручку стула, на котором сидел Рубенау.

— Послушайте меня внимательно, — сказал он. — Меня не устроят слова, от чьего бы имени они ни исходили. Понимаете? Меня устроит только документ. Вы должны привезти документ, в котором ваши раввины или сам Музи предложат

договор. Форменный договор. Я освобождаю ваших евреев, а вы освобождаете меня от любой ответственности, раз и навсегда, где бы то ни было. Сможете привезти такой договор?

Рубенау посмотрел на Мюллера кроличьими глазами и очень тихо ответил:

— Не знаю...

Штирлиц ждал, что Мюллер ударит его, бросит на пол и начнет топтать ногами, но группенфюрер, наоборот, положил руку на плечо Рубенау:

— Молодец. Если бы ты пообещал мне привезти такой документ сразу же и без колебаний, я бы решил, что ты — неблагодарный человек... Ты ответил хорошо, я благодарю тебя за честность... Теперь скажи: ты, лично ты, Рубенау, видишь в этом деле хоть один-единственный шанс на удачу? Допускаешь мысль, что раввины напишут такое письмо на мое имя?

— Пять шансов из ста, — ответил Рубенау.

— Это много, — сказал Мюллер. — Это серьезно. А можно что-нибудь сделать, дабы увеличить количество шансов?

— Можно, — заметил Штирлиц.

Мюллер и Рубенау оглянулись на него одновременно.

— Можно, — повторил Штирлиц. — Для это-

го надо сказать швейцарцам правду. А правда очевидна: Гиммлер не намерен отпускать заложников, он торгует ими только для того, чтобы выиграть время. Если господа в Монтрё станут раздумывать, высчитывать возможность диалога с группенфюрером Мюллером, тогда все заключенные погибнут.

— Они мне могут не поверить, — сказал Рубенау. — Они же знают, что здесь у меня в залоге жена и девочка...

— Ну при нужде мы ведь мальчика легко вынем из посольства, это не штука, — заметил Мюллер. — Узнай мы о вашей неискренности — а мы люди рукастые, узнаем, — ваш мальчик вернется к сестре и маме в гетто. Я не угрожаю, нет, вы думаете об интересе своей семьи, я — о своей... Что же касается того, поверят они вам или нет, то это можно прокорректировать: мы организуем так, что вам поверят, мы поможем вам в Швейцарии, мы поможем тому, чтобы там поняли правду про... Словом, почва будет взрыхлена... Я это сделаю через час, туда уйдет сообщение...

— Тогда шансы возрастут еще больше, — сказал Рубенау. — Тогда моя задача значительно облегчится...

...Через три часа, когда Рубенау увезли на вокзал

и посадили на поезд, а Штирлиц ушел к радистам составлять текст телеграммы резидентурам гестапо в Базеле и Берне, Мюллер вдруг с ужасом подумал, что все случившееся может быть дьявольской игрой Штирлица, который решил разбить его блок с Борманом; он сейчас позвонит рейхсляйтеру от радистов и скажет, в каком поезде отправлен Рубенау, и еврея на следующей же станции снимут и отвезут к Кальтенбруннеру, и он там расскажет все; и тогда — конец; Борман уберет его, Мюллера, никакие объяснения невозможны...

Мюллер позвонил в отдел оперативной радиосвязи и попросил штурмбанфюрера Гешке (тот одно время возглавлял референтуру гестапо по делам, связанным с русской разведывательной сетью в рейхе: потом был отправлен личным представителем шефа гестапо на ключевой пост — к связистам, вполне надежен) проследить за тем, чтобы Штирлиц ни в коем случае не мог позвонить в город; затем связался с отделом гестапо на транспорте и передал двум женщинам, сопровождающим пассажира в седьмом вагоне, купе первого класса, наспех зашифрованный приказ: их подопечный Рубенау должен быть отравлен (ампулу передадут в Штутгарте на перроне);

сделать это надо после того, как кончится пограничная проверка германской стражей в Базеле; на столике, перед тем как женщины покинут вагон, должен быть оставлен железнодорожный билет, на котором надо написать следующее: «Передать доктору Бользену, народное предприятие имени Роберта Лея, Бабельсберг, Ягдштрассе, 7; касса 4, кассир Лумке» (хорошо, что вспомнил еще одного мюнхенского головореза, давно не использовал; раньше работал по кражам на транспорте, агент бесценный; мелочей нет, все надо хранить, закладывая в дело заранее); проводник должен быть проинструктирован, чтобы дать показания швейцарской полиции, что в купе вместе с убитым ехал мужчина лет сорока пяти, корректный интеллигент, сел в вагон в Берлине...

...Через час к Мюллеру ввели жену Рубенау.

— Только возьмите себя в руки, я не выношу истерик, — сказал Мюллер. — Должен сообщить вам трагическую новость: ваш муж погиб. И убил его тот человек, который сидел напротив вас, вон в том кресле. Его фамилия — Штирлиц, он скрылся, мы его ищем.

Женщина упала, потеряв сознание. Когда Мюллер дал ей нашатыря и привел в чувство, конечно же, началась истерика; он, тем не менее, знал,

как прекращать бабьи истерики: ударил кулаком по столу, закричал:

— Вам дорога жизнь детей?! Или нет?! Ну, отвечайте!

— Да, да, да, — судорожно вздыхая, сквозь слезы ответила женщина. — Да, да, да...

— Тогда возьмите себя в руки и запомните, что я вам скажу... Вот паспорт для вас и для Евочки. — Он протянул женщине документ и конверт с пятьюстами франками. — Вас сейчас посадят на поезд, уезжайте в Швейцарию. Вот вам фотография человека, который убил вашего мужа. У него две фамилии: одна — Бользен, а другая — Штирлиц. Здесь же, — он протянул ей второй конверт, — довесок к фото; отпечатки его пальцев. Пока ваш маленький Пауль сидит здесь, в посольстве, молчите. Но как только он окажется с вами, в Швейцарии, идите в полицию и рассказывайте им все. Абсолютно все. И начинайте искать убийцу вашего мужа: он сейчас может оказаться в Швейцарии. Мстите ему — за себя и за меня. Ясно? Но забудьте отныне мое имя. Если посмеете помнить — я вам не позавидую.

Последняя попытка

От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы; еще лежал снег; лыжный сезон здесь — особенно на хороших склонах с северной стороны — временами продолжался до первых чисел мая.

Штирлиц был — как и всю дорогу от Берлина — зажат на заднем сиденье между Ойгеном Шриттвассером и Куртом Безе, машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера.

Инструктируя группу перед самым отъездом — после того как Штирлиц ознакомился с личными делами всех офицеров, работавших в Альт Аусзее, в кабинете шефа гестапо, — Мюллер повторил:

— Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я вам всем скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. Когда он вернулся в рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Дважды он чудом вылез из переделки. Если случится третья — ему несдобровать. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять Штирлица одного хоть на одно мгновение. Работать — вместе: питаться — вместе; спать — в одной комнате;

даже писать ходите вдвоем... Запомните, ребята, — он обратился к трем высоким малоподвижным эсэсовцам, — Штирлиц — человек нездоровой храбрости. Он готов идти против врагов с открытым забралом. Это нравится рейхсфюреру, мне, конечно, тоже, но я отвечаю за его жизнь перед имперским руководством, именно поэтому отправляю вас с ним.

— Спасибо, группенфюрер, — сказал Штирлиц, — я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете обо мне, но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован — в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз — одно, а если мы начнем проводить собеседования за круглым столом, никакого результата я не получу...

— Вилла, откуда идут передачи на Запад, — ответил Мюллер, — окружена пятнадцатью гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага; подступы простреливаются с вышек; гуляйте себе по дорожкам и ведите беседы с глазу на глаз... Я понимаю, в особняке никто из тамошних людей с вами открыто говорить не станет, им известно лучше, чем кому бы то ни было, где, каким образом и с какого рас-

стояния прослушиваются их разговоры. Но вам придется записывать беседы в парке, Штирлиц. И передавать их Ойгену, а вы, — он посмотрел на Шритвассера, — организуете их немедленную доставку в Берлин, это ваша забота, Ойген: Штирлицу нет нужды забивать голову мелочами.

— Это не мелочи, — возразил Штирлиц. — Я, таким образом, буду лишен возможности прослушивать свои беседы еще и еще раз, перед встречей с другими сотрудниками, стану путаться в именах и фактах... Мне так трудно работать, группенфюрер...

— Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать, — отрезал Мюллер. — Это все, друзья. Я вручаю вам Штирлица, которого люблю. Я горжусь им. Вы должны вернуть его сюда через неделю и получить заслуженные награды. Хайль Гитлер!

— Группенфюрер, — сказал Штирлиц, — а почему бы мне не работать в наручниках?

Мюллер рассмеялся:

— Если бы сейчас положение не было таким напряженным, я бы приковался к вам, употребил мазь для человека-невидимки и поучился бы мастерству интриги, которым вы владеете в совершенстве... Вы мне нужны живым, Штирлиц...

Не сердитесь, дружище, до встречи!

...В Альт Аусзее они приехали, когда стемнело; Вилли повалился головой на баранку и громко захрапел; потом вздохнул, усмехнувшись:

— Я побил все рекорды! Почти семьсот километров за двенадцать часов! Я сплю, не будите меня, здесь так тихо, и воздух чистый! Спокойной ночи!

— Когда я еду не в своем «хорьхе», — сказал Штирлиц, — у меня начинает болеть голова.

Ойген, вылезая из машины, пробурчал:

— Это понятно. Я, например, в детстве всегда падал с чужого велосипеда. Привычка — ничего не попишешь, как это говорят английские свиньи? «Привычка — вторая натура», да?

— Именно так, — сказал Вилли.

— У вас хорошее произношение, — заметил Штирлиц. — Долго работали в Англии?

— Я прожил три года на Ямайке, обслуживал наше консульство, вот была райская жизнь!

...Ворота виллы «Керри» открывались медленно: работал автомат; когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом

попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку.

Потом вышел третий охранник, сел рядом с Вилли (тьма была кромешная, щелочки, оставленные в фарах, дорогу не освещали, асфальт петлял между соснами), показал путь в третий коттедж — там были приготовлены две комнаты.

— Спокойной ночи, — сказал охранник, выбрасывая руку в нацистском приветствии. — Завтрак будет накрыт здесь же, на застекленной веранде, в семь тридцать. Сдайте мне, пожалуйста, ваши продуктовые карточки на повидло и маргарин.

— Погодите, — остановил его Штирлиц. — Погодите-ка. Кто сейчас дежурит?

— Я не уполномочен давать ответы, штандартенфюрер! Без разрешения начальника смены я не вправе вступать в разговоры с теми, кто к нам прибывает, простите.

— Какой у начальника номер телефона?

— Назовите радиооператору ваше имя, вас соединят с ним незамедлительно.

— Благодарю, — сказал Штирлиц. — И покажите моим коллегам, где здесь кухня, как включать

электроприборы, — мы намерены выпить чая.

— Да, штандартенфюрер, конечно!

Вилли вышел с охранником, а Штирлиц, обернувшись к двум, что остались с ним, спросил:

— Ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте начистоту: кто из вас храпит?

— Я, — признался Курт. — Особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу же проснусь...

— Я не храплю, — сказал Ойген. — Я натренирован на тихий сон.

— Это как? — удивился Штирлиц.

— Когда Скорцени нас готовил к одной операции на Востоке, так он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать свое дыхание...

— Разве такое возможно?

— Возможно. Я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминание самого дорогого... Это точно, не улыбайтесь, я пробовал на себе. Скорцени велел нам испытать все: он ведь очень тщателен в подборе людей для своих групп...

— Вы должны были ассистировать Скорцени в Тегеране? — уточнил Штирлиц. — Во время

подготовки акции против «Большой тройки»?

Ойген, как и мюллеровский шофер Ганс, словно бы и не слышал вопроса Штирлица, продолжал говорить:

— Я помню, у нас был один парень, так он слишком громко смеялся... Скорцени сам занимался с ним, неделю, не меньше... Что уж они делали, не знаю, но потом этот парень улыбался беззвучно, как воспитанная девушка...

— Воспитанные девушки не должны громко смеяться? — удивился Штирлиц, достав из чемоданчика пижаму. — По-моему, истинная воспитанность заключается в том, чтобы быть самим собою... Громкий смех — если он не патологичен — прекрасное человеческое качество.

Вернулся Вилли, сказал, что вода уже кипит, поинтересовался, как Штирлиц отнесется к глотку бренди; перешли на застекленную веранду; начали пировать.

— Ойген, не сочтите за труд, позвоните дежурному офицеру смены, пригласите его на чашку кофе.

— Да, штандартенфюрер, — ответил тот, поднимаясь. — Будет исполнено.

...Штурмбанфюрер Хётль оказался седоголовым, хотя молодым еще человеком; он поднял

свою рюмку за благополучное прибытие коллег из центра, поинтересовался, как дорога, много ли бомбили, выразил надежду, что это последняя горькая весна, рассказал два еврейских анекдота; добродушно посмеивался, наблюдая, как заливался Вилли; словно ребенок, право...

— А еще есть очень смешной рассказ про великого еврейского врача, который умел лечить все болезни, — продолжил он, заметив, как понравились его анекдоты. — Привели к нему хромого на костылях и говорят: «Рубинштейн, вы самый великий врачебный маг в Вене. Спасите нашего Гансика, он не может стоять без костылей, сразу падает!» Рубинштейн взялся толстыми пальцами с грязными ногтями за свой висячий нос и начал думать, а потом сказал: «Больной, ты здоров! Брось костыли!» Ганс, как и всякий еврей, был трусом и, конечно, костыли не бросил. Рубинштейн снова попрыгал вокруг него и закричал: «Ганс, я тебе что сказал?! Ты здоров! Так брось костыли! Я тебя заклинаю нашим Иеговой!» И Ганс послушался горбоносого Рубинштейна, бросил костыли...

Хётль замолчал, полез за сигаретами.

Вилли не выдержал, поторопил:

— Ну и что стало с Гансом?

Хётль сокрушенно вздохнул:

— Разбился.

Вилли чуть не сполз со стула от смеха; Ойген, криво усмехнувшись, заметил:

— Как только мы отбросим русских от Берлина, надо уничтожить всю еврейскую сволочь. Слишком мы с ними церемонились. Лагеря строили для этих свиней. В печь, всех в печь, а некоторых отстреливать из мелкокалиберных винтовок! Пусть наши мальчики из «гитлерюгенда» набивают руку...

Штирлиц поднялся, обратился к Хётлю:

— Дружище, не составите мне компанию? Я обычно гуляю перед сном...

— С удовольствием, штандартенфюрер...

— За ворота штандартенфюреру выходить нельзя, — сказал Ойген, по-прежнему тяжело глядя на Штирлица, хотя обращался к Хётлю. — Ему постоянно угрожает опасность, мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.

Хётль, поднимаясь, спросил:

— А партайгеноссе Кальтенбруннер в курсе вашей командировки?

«Оп, — подумал Штирлиц. — Хороший вопрос».

— Он знает, — ответил Ойген. — В Берлине

знают. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива — личное поручение рейхсляйтера Бормана. А для этого нам придется чуть-чуть поиграть с дядей Сэмом, надо проверить, не пробовал ли он сунуть сюда свой горбатый нос...

— Ах так, — ответил Хётль. — Что ж, мы все к вашим услугам...

...Гуляя по парку, Штирлиц долго не произносил ни слова; звезды в небе были близкими, зелеными; тревожно перемигивались, и было в этом что-то судорожное, предутреннее, когда расстаются любимые, и вот-вот начнет светать, и настанет безнадежность и пустота, и во всем будет ощущаться тревога, а после того как щелкнет замок двери и ты останешься один, воспоминания нахлынут на тебя, и ты с ужасом поймешь, что тебе сорок пять, и жизнь прошла, не надо обольщаться, хотя это — главное человеческое качество, а еще — ожидание чуда, но ведь их не бывает более, чудес-то...

— Хётль, — сказал Штирлиц, — для того чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.

— Польщен, штандартенфюрер. Я к вашим услугам.

— Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?

— Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание...

— Сложным, — ответил Штирлиц.

— Я начну с Докса, — сказал Хётль. — Он живет здесь с сорок второго года, с первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник, бесконечно предан делу фюрера, примерный семьянин; горнолыжник, стрелок, безупречен в поведении...

Штирлиц поморщился:

— Хётль, я читал его анкету, не надо повторять штампы, за которыми ничего нет. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в сорок третьем году?

— Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.

— На каком?

— Под Минском.

— В войсках СС?

Хётлю были неприятны быстрые вопросы Штирлица, он поэтому ответил:

— Вы же знакомы с личными делами всех тех,

кто работает здесь, у обергруппенфюрера... Значит, вам должно быть хорошо известно, что я служил рядовым в войсках вермахта...

— В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?

— Я позволил себе говорить то, что не имел права говорить.

— А именно?

— Я был пьян... В компании, где находился друг покойного Гейдриха — я, понятно, об этом не знал, — я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил, — словно бы испугавшись чего-то, быстро добавил Хётль. — Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Эренбурга... А Гейдрих был очень щепетилен в славянском и еврейском вопросах.

— И за это вас разжаловали?

— В основном да.

— А не «в основном»?

— Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.

— Когда вы примкнули к нашему движению?

— В тридцать девятом.

— А к СС?

— Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером... Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена... Поэтому Кальтенбруннер рекомендовал меня в СС лично, в сороковом...

— Что еще вы знаете о Доксе?

— Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.

— Хорошо, я поставлю вопрос иначе: вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?

— Пошел бы.

— Спасибо, Хётль. Дальше...

— Штурмбанфюрер Шванебах... Мне трудно говорить о нем... Он храбрый офицер и безусловно честный человек, но наши отношения не сложились...

— Вы бы пошли с ним на задание?

— Только получив приказ.

— Дальше...

— Оберштурмбанфюрер Растерфельд... С ним я готов идти на любое дело.

— С каких пор вы его знаете?

— С сорок первого года.

— А вам известно, что именно Растерфельд

готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?

Хётль остановился:

— Этого не может быть...

— Я покажу вам документы... Пойдемте, пойдемте, держите ритм... И последний вопрос: он знает, что вы спите с его женой? Может, у вас любовь втроем и все такое прочее? Или все значительно серьезней?

Хётль снова остановился; Штирлиц полез за сигаретами, закурил, неторопливо бросил спичку в снег, вздохнул:

— Вот так-то, Хётль. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку с Востока вас вернул обергруппенфюрер Кальтенбруннер, но система проверки РСХА работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху... Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь! А вы попались! Ах, черт! — воскликнул вдруг Штирлиц и как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место, сунул диктофон в карман и тихо сказал: — Вы поняли, что я упал поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я

ушибся... Мои коллеги не спят, кто-нибудь из них идет следом за нами, но в отдалении, поэтому вы сейчас напишете мне лично обязательство работать на гауляйтера Айгрубера и на НСДАП, ясно?

Штирлиц достал блокнот, протянул Хётлю:

— Быстро, Хётль, быстро, это в ваших же интересах.

— Что писать? — спросил тот; Штирлицу показалось, что у Хётля начался аллергический приступ. Даже в темноте стало видно, как он побледнел. Штирлиц понял это по тому, как под глазами у штурмбанфюрера внезапно залегли черные тени.

— Да что в голову взбредет, — ответил Штирлиц. — Обязуюсь работать на гауляйтера Верхней Австрии... В случае измены... И так далее...

— Я не могу писать на ходу...

— И не надо. Я подожду.

Хётль написал текст, протянул блокнот Штирлицу; тот смотреть не стал, перевернул страничку, спросил:

— Зрение хорошее?

— Да.

— Посмотрите сюда.

Хётль нагнулся и сразу же отпрянул: в блокноте Штирлица была записана последняя радиограм-

ма, отправленная из Альт Аусзее неустановленным оператором на Запад.

— Хётль, — сказал Штирлиц, — передайте вашим шифром... Тихо, тихо, не суетитесь... Я не собираюсь вас губить, я заинтересован в вас так же, как и Кальтенбруннер... Передайте вашим шифром мои цифры... А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфеннига...

«Это моя последняя попытка, — думал Штирлиц, — хоть это один шанс из ста, но все-таки это шанс».

В шифровке он сообщал Центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если Центр сочтет возможным организовать его побег на Родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альт Аусзее вполне возможен. Виллу охраняют двенадцать человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хётль.

...Через час Даллес получил странную радиограмму из Альт Аусзее, от агента «Жозеф»; под этим именем был зашифрован Хётль, предложивший свои услуги ОСС осенью сорок четвертого года в Будапеште, работая вместе с Эйхманом по торговле евреями; провернули хороший бизнес,

несколько миллионов франков, и не бумажками, а бензином и военными грузовиками; один из выпущенных взамен за это финансистов позвонил в американское посольство, передал текст, сказанный ему Хётлем. С этого и началось.

Цифры Штирлица, переданные в Берн Хётлем, расшифровке специалистами ОСС не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллеса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Радо.

...Даллес попросил прийти к нему ближайших помощников, Гюсмана и Геверница, познакомил их с новостью и спросил, добро посмеиваясь в прокуренные усы:

— Ну, что станем делать? Думайте, парни, задачка невероятно интересна... Пойдем на контакт с русской разведкой? Или воздержимся?

Даллес имел исчерпывающую информацию по поводу всего того, что сейчас происходило в Вашингтоне; он понимал, что ситуация сложилась в высшей мере сложная. Он был убежден, что на Рузвельта давят силы, стоящие за той финансовой группой, которая давно и упорно боролась

за влияние на государственный департамент против тех, кто блокировался вокруг «Салливэна и Кромвэлла» — адвокатской фирмы Даллесов, сориентированной на самую правую концепцию Уолл-стрита.

Он понимал, что схватка за сферы влияния в Германии, да и в Европе вообще, вступила в последнюю, решающую фазу: компаньоны ему не простят, потеряй он свой пост; все те нити, связывавшие его с германской промышленностью, которые он так трепетно налаживал и берег все эти годы, просто-таки не имеют права перейти в другие руки; это будет означать крушение его жизни, карьеры, будущего.

Он понимал, что Рузвельт ведет сложную партию: президент взял на себя смелость доказать американцам, что в мире вполне могут сосуществовать такие разностные структуры, как Запад с его свободным предпринимательством и большевистское государство, построенное на примате государственного планирования. Даллес отдавал себе отчет в том, отчего Рузвельт с маниакальной настойчивостью добивался того, чтобы Сталин прилетел в Касабланку, на встречу «Большой тройки», или же — на худой конец — в Тегеран: этим Рузвельт доказывал тем, кто поддерживал

его политику в банках и концернах, что диалог со Сталиным вполне возможен: он, государственный политик, понятно, не потерпит, чтобы его страну хоть в какой-то мере третировали, но в нем нет имперских амбиций, и он умеет соблюдать договорные обязательства.

Даллесу и тем, кто поддерживал его концепцию — прямо противоположную концепции Рузвельта, — весною сорок пятого было весьма трудно маневрировать: мир отринул бы открытое размежевание с русскими и сепаратный договор с рейхом; слишком свежи раны, слишком трагично пережитое, не ставшее еще *памятью*. Скорее бы! Память поддается корректировке, что-то можно замолчать, что-то переписать наново, что-то подвергнуть остракизму. Однако главная задача момента заключается в том, чтобы удержать занятые позиции.

Именно поэтому Даллес собрал на совещание Геверница и Гюсмана, ибо просто-напросто отказать «Жозефу», попавшему, видимо, в сложное положение и прижатому русскими, нельзя, но и помогать Советам, особенно в том регионе рейха, который представлял для Даллеса особый интерес (как-никак, речь шла о картинах и скульптурах, общая стоимость которых исчисля-

лась чуть что не в миллиард долларов), он не мог, не имел права.

Поэтому, выслушав Гюсмана, который полагал возможным сообщить «Жозефу», что его просьба будет исполнена, запросить обстоятельства, которые понудили его согласиться передать такого рода шифрограмму, но, понятно, никому и ничего не передавать: наступает суматоха, одна радиограмма утонет в ворохе других — сколько их сейчас в эфире. Даллес с ним не согласился, как и не согласился с Геверницем, предложившим организовать наблюдение за квартирой человека, которому адресовано послание, и сделать так, чтобы правительство конфедерации, узнав о нем, предприняло демарш и выдворило его из страны.

— Нет, — сказал Даллес, пыхнув сладким голландским табаком, набитым в прямую английскую трубку, — нет, это не путь. В Верхней Австрии наклевывается, видимо, что-то чрезвычайно интересное, но вправе ли мы рисковать? Помогать русскому резиденту в Линце, прижавшему нашего агента? Нет, понятно. Начать с ним игру? Заманчиво. Но мне и так достается в Белом доме за тот курс, который мы проводим, и я не знаю, чем кончится вся та свистопляска, которая

поднялась после провала миссии Вольфа... У меня есть соломоново решение: я думаю отправить телеграмму Донована, в копии государственному секретарю с сообщением о произошедшем. Более того, я изменю самому себе и потребую *указаний*, как следует в данном случае поступить. Я убежден, что наш запрос вызовет такую свару в Вашингтоне, которая будет продолжаться не день и не два, а добрую неделю. И я не убежден, что Вашингтон даст нам указание выполнить просьбу «Жозефа»...

— Не «Жозефа», — поправил его Геверниц, — а того русского резидента, который сел ему на шею и завернул руки за спину...

Даллес покачал головой, улыбнулся:

— Все зависит от того, милый, как будет сформулирована наша телеграмма. Если мы выведем в левый угол «Жозефа», если мы сделаем упор на то, что к нам обратился с просьбой офицер СД, близкий Кальтенбруннеру, те люди, которые стоят на общих с нами позициях, вполне могут затребовать исчерпывающую информацию о нашем агенте: отчего он пошел на контакт с русскими, нет ли за всем этим игры нацистов... Нам придется готовить ответную телеграмму, а это не простое дело, нужно время, вопрос серьезный,

вот вам еще одна неделя... А я рассчитываю, что дней через пятнадцать все кончится, будем откупоривать шампанское... Конечно, бюрократия — ужасна, но в данном случае — да здравствует бюрократия! Подождем, сейчас надо уметь выждать...

Информация к размышлению — VIII (Есть ли пророк в своем отечестве?)

...Рузвельт пришел к власти, когда заокеанский колосс переживал пору трагического упадка; четырнадцать миллионов безработных, то есть — если считать, что каждый обездоленный имел жену и ребенка, — более сорока миллионов нищих и голодных населяло тогда Америку.

...Когда внезапно умер Вудро Вильсон, администрации Гардинга, Кулиджа и Герберта Гувера были заняты лишь одним: личным обогащением; «после нас хоть потоп»; полное наплевательство на нужды народа; конгрессмены и сенаторы произносили красивые слова о национальном благе, демократии и социальной гармонии, а в это время полиция избивала забастовщиков, арестовывала демонстрантов, а шпики Джона Эдгара Гувера денно и нощно пополняли свою картотеку на инакомыслящих; к ним были отнесены не только коммунисты, профсоюзные деятели и радикалы; все люди левых убеждений были под подозрением; опорой и надеждой

тайной полиции, ее осведомителями и добрыми друзьями сделались крайне правые, державшие в своих штабах портреты Гитлера; «Те, кто требует жесткой власти, — наставлял молодых сотрудников ФБР Гувер, — не опасны; наоборот, они — наш резерв; в конечном счете немецкий фюрер хочет всего лишь изгнать из страны чужеродные элементы, наладить экономический порядок и уничтожить левых демагогов».

...Рузвельт, однако, пришел в Белый дом не на коньке «жесткой власти», но провозгласив «новый курс».

Прежде чем обнародовать свою экономическую платформу, он обратился к народу:

— Единственное, чего мы сейчас должны по-настоящему бояться, так это самой боязни, то есть страха! Мы должны бояться безымянного, бессмысленного, ничем не оправданного страха, который парализует все наши силы, делает нас нерешительными, мешает нам перейти от отступления к наступлению! Изобилие — на пороге, но оно невозможно, поскольку люди, которые управляли хозяйственным товарооборотом страны, из-за своего тупого упрямства и непонимания нового времени потерпели поражение и спокойнейшим образом умыли руки.

Эти бесчестные менялы осуждены общественным мнением, люди отреклись от них и в сердце, и в мыслях своих. Но американцы не потерпели поражение! Они не потеряли веру в основные принципы нашей демократии. В трудный момент американский народ потребовал прямых и решительных действий. Он требует дисциплины, порядка и руководства. Он сделал меня орудием своей воли. Я принимаю эту ответственность.

Рузвельт произнес свою первую речь через месяц после того, как Гитлер стал канцлером Германии, и за пять дней перед тем, как Геринг поджег рейхстаг; десятки тысяч честных немцев были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря; над страной мыслителей и поэтов опустилась коричневая ночь ужаса.

А в день вступления Рузвельта на президентский пост банкиры Америки закрыли двери Уолл-стрита; крах, банкротство, безысходность...

Рузвельт, однако, знал, на что шел, выставляя свою кандидатуру.

Его «мозговой трест», составленный из людей одаренных, пока не искушенных в различного рода политических махинациях, пришел вместе с ним к руководству страной, имея точно продуманную программу. Над ней работали люди

разных убеждений, темпераментов, политических ориентаций; их объединяло одно, главное: отсутствие страха перед догмами и вера в то, что Америку можно вывести из кризиса без революции, о которой теперь открыто говорили нищие рабочие и голодные безработные.

Вместе с ним в Белый дом пришел Гарри Гопкинс[23]; родившийся в бедной рабочей семье, сам в прошлом социалист, он возглавил управление социального обеспечения, и, когда журналисты спросили его, какие дискуссии с предпринимателями он намерен провести, Гопкинс ответил:

— Голод — не тема для прений.

Рузвельту помогал драматург Роберт Шервуд и министр внутренних дел Гарольд Икес, отвечавший за природные ресурсы страны; профессор Тагвелл, изучавший вопросы труда и заработной платы, и поэт Арчибальд Маклин; судья Розенман, специализировавшийся ранее на борьбе со взяточничеством, и первая в истории страны женщина-министр Фрэнсис Перкинс, считавшая своим долгом посещать заводы не менее двух раз в месяц для встреч с рабочими.

Примыкал к «мозговому тресту» президента и

---

23 Примечания: 23

После прихода к власти Трумэна был вынужден уйти в отставку.

член кабинета Уилки[24].

Большой бизнес относился к словам — будь то речи президента, выступления левых, проповеди священников, пьяные бредни психов, истерия фашистов — совершенно спокойно, ибо не слово определяет мир, но дело, а оно невозможно без капиталовложений, банковских операций, строительных проектов и внешнеполитических блоков, призванных гарантировать наибольшие прибыли.

Поэтому и предвыборные речи Рузвельта, и его первое обращение к народу Уолл-стрит воспринимал как очередную необходимость. Народу угодны празднества, торжественные речи, посулы; пусть себе; праздник кончится, портфели разойдутся среди нужных людей, все покатится своим чередом; армия и полиция справятся с теми, кто недоволен; тюрьма — хорошее место для того, чтобы подумать; плебс надо уметь держать в руках, остальное — приложится.

Однако Рузвельт — через десять дней после того, как его семья переехала в Белый дом, — созвал специальную сессию конгресса и потребовал для себя чрезвычайных полномочий.

---

24 Примечания: 24

После прихода Трумэна к власти был вынужден уйти в отставку.

Ни один президент Соединенных Штатов не имел такой гигантской власти, какую получил Рузвельт; конгресс не смог отказать ему, ибо впервые — после Линкольна — народ стоял горою за своего избранника.

И на следующий день после того, как чрезвычайные полномочия были получены, Рузвельт временно запретил все банковские операции в стране; урезал расходы на содержание громоздкого государственного аппарата; провел законопроект о национальной экономике; запретил вывоз золота; ассигновал пятьсот миллионов долларов на помощь населению; создал гражданские отряды для охраны природных ресурсов страны; провел законы о реорганизации сельского хозяйства и промышленности; заставил правительство предоставить кредиты домовладельцам, чтобы хоть как-то решить катастрофическую жилищную проблему; отменил «сухой закон», на котором наживались гангстеры и подкупленные правительственные чиновники; легализовал создание новых профсоюзов.

Крупный капитал почувствовал, что дело пошло совсем не так, как предполагали советники корпораций, ведавшие вопросами внутренней политики.

Первым выступил против Рузвельта миллиардер Дюпон.

— Мы являемся свидетелями непродуманного наскока правительства на все стороны политической, социальной и экономической жизни страны.

Признание Рузвельтом Советского Союза, установление нормальных дипломатических отношений с Кремлем, открытое выступление против Гитлера подлили масла в огонь; король автомобильной империи Генри Форд собрал журналистов и заявил им:

— Мы никогда и ни в коем случае не признаем профсоюза рабочих автомобильной промышленности... Мы вообще не признаем никакой профсоюз... Профсоюзы — это самое худшее зло, которое когда-либо поражало этот мир.

(Генри Форд был первым и единственным американцем, которого Гитлер наградил «Большим крестом германского орла»; на своих заводах он запрещал рабочим во время вечеринок танцевать «разнузданные негритянские танцы типа чарльстон и шимми»; позволялось вальсировать или же исполнять танго; фокстрот тоже «не рекомендовался»; строго требовалось соблюдение старых традиций; начальник «личного отдела» концер-

на Гарри Беннет проверял родословную каждого рабочего, отыскивая негритянскую, славянскую, мексиканскую или еврейскую кровь в его жилах. Если находил — увольнял немедленно.

Еще в двадцать третьем году Адольф Гитлер на одном из митингов в Мюнхене сказал:

— Хайнрих Форд является истинным вождем растущего в Америке молодого и честного фашистского движения. Меня особенно радует его последовательная антисемитская политика; эта политика является и нашей, баварской.

...Руководитель заводов Форда во Франции Гастон Бержери был первым, кто приветствовал немцев, вошедших в Париж; директор филиала «Форда» в Мексике Хулио Брунет финансировал фашистскую организацию генерала Родригеса, который организовал путч против прогрессивного президента страны Карденаса.)

...Финансисты смогли найти ходы в верховный суд США, и закон о промышленности, принятый президентом, был признан недействительным.

Рузвельт, однако, не сдался. Он собрал в Белом доме пресс-конференцию, зачитал журналистам некоторые телеграммы, полученные им — шел сплошной поток посланий с просьбой «сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти страну», — и ска-

зал:

— Видимо, заключение верховного суда должно означать то, что правительство отныне лишено права решать какие бы то ни было экономические вопросы. Что ж, посмотрим, согласится ли правительство с такой точкой зрения.

И он провел новый закон — через конгресс, — который давал ему право на создание «Управления по регулированию трудовых отношений».

И тогда люди картелей, большого бизнеса страны, тайно встретились в Нью-Йорке для того, чтобы выработать единую программу действий против президента.

Джон Эдгар Гувер продолжал работать вширь и вглубь: провел красивую комбинацию, подтолкнув преступный мир к активным действиям в больших городах, устроил несколько перестрелок с гангстерами и доказал президенту, что в период отмены «сухого закона», в годину борьбы с организованным бандитизмом необходимо повысить роль и значение ФБР, бизнес финансировал создание десятков фильмов о сыщиках Гувера, об их мужественной борьбе за правопорядок; эталоном молодого американца должен быть полицейский, который преследует бандитов, стреляет в коммунистов и спасает дочку миллионера от

посягательств негра.

ФБР по-прежнему вело картотеки на левых, *ставило* слежку за прогрессивными писателями, помогало человеку Форда, начальнику его штаба Беннету, прятать свои отношения с главой мафии Аль Капоне, но при этом никак не занималось делами фашистских организаций, разбросанных по всей Америке.

Форд и его люди, поддерживая Гувера, гарантировали Аль Капоне и другим лидерам мафии незримую помощь; те развернули в стране жесточайший террор; по ночам на улицах продолжали греметь выстрелы; банды гангстеров были вооружены не только ножами и пистолетами, но и пулеметами и гранатами; в городах разыгрывались форменные вооруженные столкновения; необходимость дальнейшего расширения ФБР, таким образом, диктовалась *жизнью*.

А в ФБР сидел человек монополий, который держал руку на пульсе жизни преступного мира. Убрать его было трудно — замены среди людей рузвельтовского штаба для него не было; ошибка политика, гнушающегося «черной работой», сыграла с президентом злую шутку: во главе политической и криминальной контрразведки страны стоял злейший противник нового курса,

зашоренный консерватор, мечтавший о «сильной руке», когда слово «нельзя» не обсуждается, указание руководителя непререкаемо и подлежит беспрекословному выполнению, новая мысль требует внимательного цензурования, а чужекровные идеи являются уголовно наказуемыми.

Как и Форд, директор ФБР не признавал новых танцев, как и Дюпон, выключал приемник, когда передавали музыку «черномазых», как и Морган, носил лишь традиционную одежду и обувь и на каждого, кто приходил к нему в костюме, купленном в Париже или Лондоне, смотрел с подозрением, как на отступника, подверженного чужим, а следовательно, вредным, неамериканским веяниям.

...Первые годы войны промышленники и банкиры — особенно та их часть, которая в отличие от Даллеса, Форрестола и Форда не была связана тесными деловыми узами с национал-социалистским финансистом Шредером, плативším Гиммлеру, — стояли вместе с Рузвельтом, ибо он возглавлял не просто демократическую партию, но весь народ Америки; однако, чем ближе было поражение Германии, чем реальнее становился мир, в котором Объединенные Нации должны

будут работать рука об руку во имя прогресса, чем настойчивее повторял Рузвельт свои слова о необходимости послевоенного содружества с Россией, тем организованней оформлялась оппозиция его идеям и практике.

Информация к размышлению — IX (Максим Максимович Исаев)

— Хётль, — сказал Штирлиц, когда Ойген и Вилли принялись аккуратно просматривать документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат гауляйтера Айгрубера о начале работы, — составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.

— С удовольствием, — ответил Хётль; лицо его за ночь осунулось, отекло.

— Одну минуту, — остановил их Ойген. — Я починил ваш аппаратик, штандартенфюрер... Не понадобится?

Штирлиц вспомнил напутствие Мюллера и понял, что слова Ойгена — не просьба, но приказ; ответил:

— Вы очень внимательны, старина, я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму.

Ойген вернулся через пару минут, передал Штирлицу диктофон, заставив себя улыбнуться; однако улыбка была вымученная; глаза опуще-

ны; губы *играли*.

— Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётле, — заметил Штирлиц. — Придется мне его маленько позаписывать, а? Не возражаете, Хётль?

— Ну отчего же? — ответил тот. — Подслушивания боится только враг, честный человек не опасается проверки.

— Видите, Ойген, — продолжал Штирлиц, — Хётлю даже доставляет особую радость, когда его подслушивают, значит, он не мусор на улице, а явление, его мыслями интересуются; отсюда — чувство самоуважения, ощущение собственной значимости, нет, Ойген?

Тот поднял на Штирлица глаза, полные безысходной, тяжелой злобы:

— Именно так, штандартенфюрер.

— Ну и славно, нет ничего приятнее, как работать с единомышленниками. Пошли, Хётль, спасибо, что вы нашли для меня время после утомительного дежурства...

...В парке, закинув голову так, что в глазах было одно лишь безбрежное, густо-синее небо да еще кроны сосен, Штирлиц остановился, вздохнул полной грудью стылый воздух, в котором явственно ощущался запах горных ручьев,

стремительных, прозрачных, улыбнулся и тихо сказал:

— Самое поразительное заключается в том, что сейчас я совершенно явственно представил себе *мельк* форели, которая взносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу... Любите ловить форель?

— Не пробовал.

— Зря. Это еще более азартно, чем охота. Удачный заброс — моментальный поклев; никаких тебе поплавков, никакого ожидания; постоянное состязание *удач*...

— Здесь кое-кто ловит форель, — не понимая, куда клонит Штирлиц, настороженно ответил Хётль.

— Я знаю. Тут у вас хорошая форель, небольшая, а потому особенно красивая; сине-красные крапинки очень ярки, абсолютное ощущение перламутровости... В Испании я пытался заниматься живописью, там красивая рыбалка на Ирати, в стране басков... Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем... Любите живопись?

Хётль полез за сигаретами, начал нервно прикуривать; порывы ветра то и дело гасили пламя зажигалки.

— Да не курите вы на прогулке! — сердито ска-

зал Штирлиц. — Поберегите легкие! Неужели не понятно, что при здешнем воздухе никотин войдет в самые сокровенные уголки ваших бронхов и останется там вместе с кислородом... Уж коли не можете без курева, травите себя дома...

— Штандартенфюрер, я так не могу! — закашлялся Хётль. — Вы включили аппаратуру?

— Вы же видели... Конечно не включал...

— Покажите...

Штирлиц достал из кармана диктофон, протянул Хётлю:

— Можете держать у себя, если вам так спокойнее.

— Спасибо, — ответил Хётль, сунув диктофон в карман своего кожаного реглана. — Почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аусзее, где хранятся картины Гитлера?

Штирлиц снова закинул голову и, вспомнив стихотворные строки из затрепанной книжечки Пастернака: «...в траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав лежим мы, руки запрокинув и в небо головы задрав, и так неистовы на синем разбеги огненных стволов...», — почувствовал всю *весомость* слова, ощутил поэтому горделивую, несколько даже хвастливую радость

и, вздохнув, сказал:

— Как это ужасно, Хётль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй, потаенный смысл... Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?

— Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи... Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.

— «Я тоже». А кто еще интересуется?

Хётль пожал плечами:

— Все, кому не лень.

— Хётль, — вздохнул Штирлиц, — вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик, я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну; крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель... Вы же видите отношение ко мне спутников, которые не выпускают меня с территории этого замка... Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен... А в этом я заинтересован по-настоящему...

— Но как же тогда понять, — пропустив Штирлица перед собою на узенький мостик, переброшенный через глубокий ров, по дну которого, пенясь, шумел ручей, сказал Хётль, — что вас,

подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме... Да и потом Эйхман вводил меня в свои комбинации: он играл «друга» арестованного, а я бранил его за это во время допроса — все-таки не первый год работаю в РСХА, наши приемы многообразны...

— Это верно, согласен... Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хётль... Мне ведь тоже приходится вам верить... А я вправе допустить, что вы работаете на Запад с санкции Кальтенбруннера, он знает о вашей деятельности, давным-давно ее разрешил и вы поэтому еще вчера передали ему в Берлин мою шифровку и сообщили о нашем нежданном визите.

— Но если вы допускаете такую возможность, как вы можете работать со мною?

Штирлиц пожал плечами:

— А что мне остается делать?

Хётль согласно кивнул:

— Действительно, ничего... Но даже если мне — в силу личной выгоды, говорю вполне откровенно, — придется сообщить Кальтенбруннеру о визите вашей группы, о вас я не произнесу ни слова, которое бы пошло вам во вред.

— Призываете к взаимности?

— Да.

— Но вы ведь уже сообщили Кальтенбруннеру о нашем прибытии, нет?

— Мы ведь договорились о взаимности...

— Я бы советовал повременить, Хётль. Это — и в ваших интересах.

— Постараюсь, — ответил тот, и Штирлиц понял, что он, конечно же, ищет возможность каким-то ловким способом сообщить Кальтенбруннеру, если уже не сообщил...

— Кого интересуют соляные копи, где складированы картины? — спросил Штирлиц.

— Американцев.

— Их люди давно заброшены сюда?

— Да.

— Где они?

— Под Зальцбургом.

— Вы с ними контактируете?

— Они со мною контактируют, — раздраженно уточнил Хётль.

— Да будет вам, дружище, — сказал Штирлиц и вдруг поймал себя на мысли, что произнес эту фразу, подражая Мюллеру. — Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.

Хётль покачал головой:

— Они — больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, то штольни, где хранятся картины и скульптуры, будут взорваны.

— Вы с ума сошли!

— Нет, я не сошел с ума. Это приказ фюрера. В штольни уже заложено пять авиационных бомб; проведены провода, установлены детонаторы.

— Кто обязан отдать приказ о взрыве?

— Берлин... Фюрер... Или Кальтенбруннер.

— А не Борман?

— Может быть, и он, но я слышал про Кальтенбруннера.

— Сможете на него повлиять?

— Вы же знаете характер этого человека...

— Человека, — повторил Штирлиц, усмехнувшись. — Животное... Он знает о ваших контактах?

— Нет.

— Думаете открыться ему?

— Я не решил еще...

— Если вы говорите правду, то погодите пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признавайтесь ему, когда здесь станет

слышна канонада... Он намерен приехать сюда?

— Не знаю.

— Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать... Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг... Они все раздавлены их кумиром, фюрером... В этом их трагедия, а ваше спасение... Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Аллена Даллеса именно после того, как гарантировал спасение Уффици... Признайтесь, что можете сообщить Даллесу о его благоразумии — утопающий хватается за соломинку... А вас — если сможете повлиять на него — это действительно спасет от многих бед...

Хётль задумчиво спросил:

— А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед — в том числе и меня, — то, значит, могут просчитать и другие? Я готов сделать то, что в моих силах, но я хочу получить гарантию... Я должен выжить... Я готов на все, штандартенфюрер, у меня прекрасная семья, я пошел в СС ради семьи, будь проклят тот день и час...

— Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хётль, наши интересы смыкаются... У меня есть идея... Точнее говоря, она возникла по-

сле того, как вы сказали мне про ваши контакты с американской разведкой здесь, под Зальцбургом... Видимо, надо будет вам договориться с вашими контактами, чтобы они вышли на связь со Швейцарией... Вы работаете на швейцарский центр, нет?

— Да.

— На Даллеса?

— Я виделся с высоким черным мужчиной...

— Лет тридцати пяти, надменен, коммунистов ругает не меньше, чем национал-социалистов, нет?

— Так.

— Это Геверниц, — убежденно сказал Штирлиц, — заместитель Даллеса, натурализовавшийся немец. Сильный парень, толк в деле знает... Так вот, пусть те, кто оперирует здесь, вокруг Альт Аусзее, выйдут в эфир с длинной радиограммой — ее немедленно запеленгуют, а вы в это время будете сидеть за столом вместе с Ойгеном и Вилли — полное алиби. Я стану работать с документами, для вас лучше, если отчет о случившемся напишет Ойген... Очень, кстати, страшный человек, старайтесь наладить с ним добрые отношения... Сможете организовать такой радиосеанс?

— Смогу.

— А запросить Швейцарию, отчего я не получаю ответа, сможете?

— Это самое легкое задание, — усмехнулся Хётль.

— Но оно повлечет за собою — в случае если мы не получим ответа, который меня устроит, — более сложное.

— Какое? — вновь насторожился Хётль, даже голову втянул в плечи.

— Вы мне устроите встречу с американцами.

— Здесь работают не американцы, но австрийцы... И встречу я вам не стану устраивать...

— Так уж безоговорочно?

— Да.

— Боитесь, что прихлопну всех скопом?

— Да.

— Но ведь если бы я этого хотел, то попросил Ойгена и его команду заняться вами, и тогда вы устроите такую встречу через час, самое большее.

— Какая вам от этого выгода? — остановившись, спросил Хётль.

— Ну как вам сказать? — Штирлиц усмехнулся. — Получу Крест с дубовыми листьями, благодарность в приказе.

«Сейчас он станет меня убеждать, что выгоднее

сотрудничать с американцами, — подумал Штирлиц. — Он лишен чувства юмора».

— Если бы Рыцарский крест вам вручили в сорок третьем, тогда одно дело, — сказал Хётль. — Какой в нем сейчас прок? Он вам, наоборот, помешает, вы знаете, Сталин навязал американцам драконовский закон о наказании офицеров СС...

— Да?! Черт, вы правы! — Штирлиц снова запрокинул голову; небо стало еще более темным, такое оно было тяжелое, высокое. — Сколько времени мы гуляем?

— Вы верно спросили, — ответил Хётль. — За нами пошел ваш Курт.

— Значит, минут тридцать... Проверка... Теперь вот что... Подумайте, кто из здешних осведомителей гестапо оставлен для работы в подполье? Кто возглавляет местный «Вервольф»?

— Это тайна за семью печатями, «Вервольфом» занимается НСДАП, гауляйтер Айгрубер...

— Он — больной человек?

— Здоровый.

— Я имею в виду психическое состояние... Плачет во время выступлений? Срывается голос, когда возглашает здравицу в честь фюрера? Действительно убежден в победе?

— В таком случае, болен... Только можно ли

фанатизм называть болезнью?

— Или болезнь, или холодный и расчетливый карьеризм, который всегда граничит с предательством.

— Тогда, скорее, первое. Айгрубер болен...

— Болен так болен... Я не зря спросил вас про осведомителей, оставленных для работы в рядах «Вервольфа», Хётль. Мы проведем комбинацию; я стану с вами беседовать в присутствии Ойгена — после того как вы устроите радиосеанс. Беседовать буду обо всем и о том, кого можно подозревать в измене среди здешних жителей... Спрошу, кто особенно хорошо знает местность... Кто может тайно пройти в район замка и наладить связь со Швейцарией отсюда, чтобы бросить тень на вашу контору... Понимаете?

— Понимаю... Я постараюсь...

— Вам ведь зачтется, если вы упрячете в камеру — руками гестапо, которое вы, оказывается, давно ненавидите, — пару вервольфовских мерзавцев.

Курт окликнул Штирлица:

— Штандартенфюрер, срочная телеграмма от шефа!

— Что там случилось? — спросил Штирлиц, останавливаясь.

— С грифом — «лично», — ответил Курт. — Мы

не читали.

Штирлиц посмотрел на Хётля, усмехнувшись:

— Они не читали. Они из клуба лондонских аристократов, нет? Пошли, продолжим разговор позже. Я жду вас через пару часов обратно... Где, кстати, ваша семья?

— В Линце, — ответил Хётль, не сводя испуганных глаз с лица Курта.

— Это правда? — Штирлиц нахмурился.

— А где ж ей еще быть?

Штирлиц спросил:

— Курт, где семьи всех сотрудников здешнего центра?

— Все живут дома, — ответил Курт, расшифровав, таким образом, то, что расшифровывать было никак нельзя — интерес Мюллера к сотрудникам Кальтенбруннера.

— Дома так дома. — Штирлиц вздохнул: — Кофе хочу... Горячего кофе. Ойген все-таки храпит, не выучил его Скорцени спать тихо, пусть не обольщается...

— Да, — согласился Курт. — Я слышал, как вы ушли из спальни и сидели в столовой чуть не до утра...

Штирлиц повернулся к Хётлю, внимательно посмотрел ему в глаза; тот, видимо, все понял

— действительно, следят, — и слабая улыбка тронула его губы.

— Я жду вас, Хётль, — сказал Штирлиц. — Нам еще работать и работать.

— Я скоро вернусь, хайль Гитлер!

Когда он отошел шагов на тридцать, Штирлиц окликнул его:

— Дружище, отдайте диктофон, я совсем забыл, что велел вам его потаскать...

Курт прищурился, покачал головой, но ничего не сказал.

«Сейчас начнется, — подумал Штирлиц. — Сейчас они возьмут меня в переплет. Что ж, чем хуже, тем лучше, потому что ясней!»

...В переплет его, однако, не взяли, потому что в шифровке Мюллера говорилось: «Лицо, которым интересовался тот, кто отправлял вас сюда, в курсе вашей работы».

— Ну и что станем делать? — спросил Штирлиц, подняв глаза на спутников; он был убежден, что они прочитали текст; проверку устроил примитивную; видимо, Курт *брякнет*, судя по тому, как он открылся в разговоре с Хётлем.

— Запросите указания, — засветился Вилли, а не Курт.

«Или они разыгрывают сценарий? — подумал

Штирлиц. — Курт подставился в парке, при Хётле, Вилли — здесь... А какой смысл? Понятно, что я в кольце; ясно, что я — объект игры Мюллера. Но чего же он хочет добиться? Чего он *может* добиться? Время упущено, времени у него нет. Что же он плетет?»

— Но ведь вы сказали мне, — Штирлиц обернулся к Курту, — что никто не читал телеграмму группенфюрера Мюллера... Вилли позволяет себе своевольничать? Вскрывает и просматривает то, что адресовано лично мне?

— Я догадался о ее содержании по вашему вопросу, — сказал Вилли. — Никто не читал телеграмму.

— Я читал, — заметил Ойген. — Дважды.

— Поэтому меня и занимает вопрос, что станем делать? — Штирлиц пожал плечами.

— Вилли прав, — сказал Ойген. — Запросите указаний.

— После того как закончу работать с Хётлем.

— Будьте любезны, передайте мне пленку, — попросил Ойген.

Штирлиц досадливо поморщился:

— Слушайте, не надо считать всех идиотами. Не мог же я говорить с Хётлем о деле после того, как вы передали мне диктофон.

— Могли, — сказал Ойген. — Чтобы сравнить манеру его разговора, когда он знает, что его пишут, с той, когда он убежден, что говорит с глазу на глаз, доверительно.

— У нас нет времени крутить комбинации, — сказал Штирлиц. — Ясно вам? Нет. Но мы обязаны понять то, что нам вменено в обязанность понять.

— Вам, — уточнил Ойген. — Мы лишь охраняем вас.

— Тем более, — сказал Штирлиц. — Тогда не суйтесь не в свое дело, а занимайтесь моей охраной. — Поднявшись, он обернулся к Вилли: — Проводите меня к радистам.

...Мюллер прочитал телеграмму Штирлица уже вечером; весь день был в городе, еще и еще раз проходил явки ОДЕССы; лишь потом приехал к Кальтенбруннеру; шеф РСХА неожиданно поинтересовался — это было утром, — зачем в Альт Аусзее отправилась группа работников гестапо. В разговоре с ним вскользь *пробросил*, что бригада, отправленная в Линц, должна помочь местному РСХА. Где-то в горах, совсем неподалеку от виллы, активно работают партизаны. Об этом стало известно фюреру. Он обеспокоился. Спрашивает — нельзя ли проверить. Об испол-

нении необходимо доложить ему, хотя, понятно, подробный отчет о работе будет передан вам, группенфюрер.

— Кто там работает? — спросил Кальтенбруннер.

— Штандартенфюрер Штирлиц...

— Кто? — Кальтенбруннер сделал вид, что никогда и ничего не слыхал об этом человеке.

— Штирлиц из шестого отдела.

— А почему человек из разведки выполняет ваши поручения?

— Потому что он умеет работать как никто другой...

От продолжения этого разговора, Мюллеру весьма неприятного, спас звонок Геринга. Тот интересовался, в какой мере шведская гражданская авиация может быть использована в интересах рейха. Кальтенбруннер сразу же вызвал работников группы, занимавшихся люфтваффе. Воспользовавшись этим, Мюллер попросил разрешения уйти. Обергруппенфюрер ответил рассеянным согласием — в каждом запросе Геринга он видел подвох, не хотел, чтобы тот жаловался фюреру. При том, что Гитлер перестал относиться к рейхсмаршалу так, как прежде, все равно они часто уединялись. Гитлер поддавался

влияниям; неизвестно, что может брякнуть Геринг, и уж реакция фюрера на его нашептывания совершенно непредсказуема.

Мюллер еще раз прочитал телеграмму Штирлица: «Штурмбанфюрер Хётль обещал подготовить ряд материалов, представляющих интерес, в течение ближайших трех дней. Считаю возможным работу продолжать. Каковы рекомендации?»

Сняв трубку, он вызвал радиоцентр, продиктовал:

«Альт Аусзее, Штирлицу.

Сообщите о проделанной работе развернуто. Три дня ждать нельзя.

Мюллер».

...Хётль приехал через пять часов, предложил Штирлицу прогуляться. Когда они вышли, Штирлиц показал глазами на карман пальто; тот понял: беседа записывается; понизив голос, начал рассказывать о том, что Роберт Грюнберг и Константин Гюрат последние месяцы часто появляются в окрестностях замка; однако гауляйтер Айгрубер запрещает давать на них информацию в Берлин; дважды их появление казалось подозрительным, потому что они шли без фонарей, вечером, когда уже смеркалось; в один из этих

именно дней был засечен выход в эфир неустановленного передатчика.

Штирлиц снова показал глазами, лицом, руками, что, мол, надо еще, говори больше, пусть кончится пленка. Хётль кивнул, продолжил рассказ.

Наконец Штирлиц — так же, полушепотом, — спросил:

— Как реагировал на эти сообщения обергруппенфюрер Кальтенбруннер?

Хётль ответил так, как ему еще утром посоветовал Штирлиц:

— Гауляйтер Айгрубер запретил отправлять Кальтенбруннеру негативную информацию, чтобы не нервировать его попусту...

Штирлиц посмотрел на часы: пленка должна была вот-вот кончиться; она и кончилась, потому что в диктофоне тихонько щелкнуло...

— Все, — сказал Штирлиц облегченно. — А теперь вот что, милый Хётль, передачи из Швейцарии не было, я уже узнал у радистов, Даллес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами...

— Это ж невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.

— Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в

парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?

— Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер...

— Проще простого, Хётль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы... Вашу семью советовал бы перевезти сегодня же куда-нибудь подальше, нечего им делать дома...

— Это слишком рискованно.

— Конечно, — согласился Штирлиц. — Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников... Вы же понимаете, что наша команда сюда не в серсо приехала играть... Не я, так другой схватит вас за руку... Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения... В вашем присутствии...

— Мои контакты из австрийских подпольных групп наверняка запросят Даллеса. Их код не раскрыт Мюллером?

И Штирлиц совершил ошибку, ответив:

— Читай он эти телеграммы, вы бы уже стали крематорским дымом...

...Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хётль, подготовит за сегодняш-

нюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает против рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работал Ойген и Курт с Вилли, рассказал пару еврейских анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера, сказав:

— Команда идет по следу, пусть их заберут отсюда.

И — положил трубку.

Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, только что переданную им по запасному каналу связи: «Уберите из Альт Аусзее того человека, который понудил вас отправить его шифрограмму, адресованную русским».

...Кальтенбруннер, который знал о его контактах с Западом, — был тем не менее прикрытием, на какое-то время, во всяком случае.

Дома Хётль выпил бутылку коньяку, но опьянеть не мог; позвонив Кальтенбруннеру, он поступил так, как ему подсказала его духовная структура. Однако облегчения не наступало; страх не проходил; то и дело он вспоминал слова Штирлица, что семья может оказаться в заложниках. Но он не мог жить *сам*, ему был нужен приказ, совет, рекомендация того, кто стоял над

ним, иначе он просто-напросто не умел — руки становились ледяными, мучила бессонница, бил озноб.

Хётль попросил жену сразиться с ним в карты, веселая игра «верю — не верю»; проигрывая, начал злиться; выпил две таблетки снотворного и провалился в тревожный, холодный сон.

...В два часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.

— Послушайте-ка, — сказал он, — мне не нравится ситуация в Альт Аусзее. Пусть ваши люди сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада, подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.

— Хорошо, обергруппенфюрер, — ответил Мюллер. — Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

Телеграмму отправлять не стал, а поехал в бункер, к Борману.

Тот, выслушав его, сказал:

— Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту, честному человеку нечего бояться проверки... Молодец Штирлиц...

Через семь минут после этого разговора Мюллер отправил телеграмму Ойгену: «Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне не медля ни

часа».

Трагическое и прекрасное умение понять правду (12 апреля 1945 года)

Получив подробный меморандум Гопкинса о последних акциях ОСС, поняв сразу же, какие узлы генерал Донован опускал в своих сообщениях, каких деталей касался вскользь, о чем вовсе не писал, словно бы того, что было, и не было вовсе, Рузвельт попросил адъютанта по ВМФ принести папку, где хранилась переписка со Сталиным, и отложил те телеграммы, которые были связаны с операцией «Санрайз».

Президент прочитал свои послания и ответы русского маршала дважды, снова пробежал записку Донована, посвященную переговорам Аллена Даллеса с обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, пролистал меморандум, составленный и по этому вопросу другом и советником Гарри Гопкинсом, и ощутил вдруг, как заполыхали щеки.

«Будто брал без спроса апельсиновое варенье у бабушки, — подумал Рузвельт. — Его хранили для рождественского чая, а я лакомился им в ноябре, и это увидели, и я тогда впервые сделался

пунцовым от стыда...»

— У меня чертовски устали глаза, если вас не затруднит, прочитайте мне, пожалуйста, всю переписку с Дядей Джо, — попросил Рузвельт адъютанта. — Я хочу понять общий стиль диалога. Иначе мне будет трудно составить такую телеграмму русскому лидеру, в которой будет зафиксировано не только мое нынешнее отношение к факту переговоров, но и некое извинение за то недостойное поведение, которое позволили себе — видимо, по недоразумению — наши люди в Берне и здесь, в штабе Донована.

Адъютант надел очки и начал читать — громко, монотонно (Рузвельт всегда просил читать именно так, ибо опасался эмоций, которые придают слову совершенно иной смысл; если слушать предвыборные речи республиканского соперника Дьюи, то, казалось, его устами вещает сама Правда, но стоило прочитать речь, и можно было только диву даваться: полная пустота, никаких мыслей, бухгалтерский отчет, составленный к тому же человеком не очень-то чистым на руку).

«Лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту... — зачитал адъютант и откашлялся. — Я разобрался с вопросом, который Вы поставили передо мной в письме... и нашел,

что Советское Правительство не могло дать другого ответа после того, как было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне с немцами о возможности капитуляции германских войск и открытии фронта англо-американским войскам в Северной Италии.

Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы использовать случаи развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам.

Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего на советский фронт.

Только в целях создания такой гарантии и было Советским Правительством признано необходимым участие представителей Советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили — в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям Советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать

представителям союзного командования.

К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт.

Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется Советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. Это обстоятельство нервирует Советское командование, создает почву для недоверия.

«Как военный человек, — пишете Вы мне, — Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом». К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы спастись

от истребления, но они не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии.

Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов».

— Дальше, — попросил Рузвельт.

— «Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта... Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в

Италии, несмотря на то что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия.

Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии Ваших представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне с целью организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Александеру поручено держать Вас в курсе этого дела.

Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было установление контакта с компетентными германскими офицерами, а не ведение переговоров какого-либо рода.

Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта. Если и будут вестись какие-либо переговоры, то они будут происходить на основе безоговорочной капитуляции. Что касается отсутствия наступательных операций союзников в Италии, то это никоим образом не является следствием каких-либо надежд на соглашение с немцами. Фактически перерыв в наступательных операциях в Италии в последнее время объяс-

няется главным образом недавней переброской войск союзников — британских и канадских дивизий — с этого фронта во Францию. В настоящее время ведется подготовка к началу наступления на итальянском фронте около 10 апреля. Но, хотя мы и надеемся на успех, размах этой операции будет ограниченным вследствие недостаточного количества сил, имеющихся ныне в распоряжении Александера. У него имеется 17 боеспособных дивизий, а против него действуют 24 германские дивизии. Мы намерены сделать все, что позволят нам наши наличные ресурсы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо переброске германских войск, находящихся теперь в Италии.

Я считаю, что Ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, три германские дивизии отбыли из Италии после 1 января этого года, причем две из них были переброшены на восточный фронт. Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 25 февраля, то есть более чем за две недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо возможности капитуляции. Поэтому совершенно ясно, что обращение германских агентов в Берне имело место после того, когда уже началась по-

следняя переброска войск, и оно никоим образом не могло повлиять на эту переброску.

Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрение и недоверие между союзниками. У нас нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении этой цели. Я надеюсь, что вышеприведенное ясное изложение нынешнего положения и моих намерений рассеет те опасения, которые Вы высказали в Вашем послании...»

— Высшего генерала СС Донован назвал мне «германским офицером», — заметил Рузвельт. — И я ему поверил. И оказался в глазах Дяди Джо лжецом... Стыд... Пожалуйста, дальше...

От маршала Сталина президенту Рузвельту

Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.

Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в дру-

гом месте «создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия».

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев условия перемирия.

Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей Советского командования для участия в переговорах с немцами.

Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со мной по этому неприятно-

му вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам.

Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников — русских?

И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией — с союзницей Англии и США.

Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами.

Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить

здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками.

— Он, увы, прав, — заметил Рузвельт. — Минутная выгода адвокатских фирм братьев Даллесов и Донована торпедирует то, чего я добивался все эти годы, — доверие Дяди Джо... Дальше, пожалуйста...

— Вы устали? — спросил адъютант.

— О нет, нет, что вы... Я жду...

Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта

Я с удивлением получил Ваше послание..., содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александером и Кессельрингом в Берне, позволило «пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия».

В моих предыдущих посланиях Вам по поводу попыток, предпринимавшихся в Берне в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в Италии, я сообщал Вам, что: 1) в Берне не происходило никаких переговоров; 2) эта встреча вообще не носила политического характера; 3) в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции; 4) будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции.

В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, что Вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к Вашей честности и надежности.

Я также полностью оцениваю ту роль,

которую сыграла Ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также то влияние, которое окажут впоследствии действия Ваших войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударам.

Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему поручено требовать, и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения объясняется главным образом ужасающим ударом наших военно-воздушных сил, который привел к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы основной массы германских войск на западном фронте в то время, когда они находились еще к

западу от Рейна.

Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа, то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха.

Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен, что Советское Правительство, по-видимому, прислушалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала Вашего полного согласия.

Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных

жертв — людских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории.

Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных.

— Вы ощущаете неловкость? — спросил Рузвельт. — Вы понимаете, в какое положение меня поставили? Дальше...

Лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту

1. В моем послании... речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он

не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю нелишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле.

Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному Штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой — из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову между прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем мар-

шала Толбухина. Таким образом я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов.

Для Вашей ориентировки в этом вопросе прилагаю письмо Начальника Генерального Штаба Красной Армии генерала армии Антонова на имя генерал-майора Дина.

— Читать это письмо тоже? — спросил адъютант.

— Да, пожалуйста, — ответил Рузвельт.

«Главе военной миссии США в СССР генерал-майору Джону Р. Дину.

Уважаемый генерал Дин!

Прошу Вас довести до сведения генерала Маршалла следующее:

20 февраля сего года я получил сообщение генерала Маршалла, переданное мне генералом Дином, о том, что немцы создают на восточном фронте две группировки для контрнаступления: одну в Померании для удара на Торн и другую в районе Вена, Моравска Острава для наступления

в направлении Лодзь. При этом южная группировка должна была включать 6-ю танковую армию СС. Аналогичные сведения были мною получены 12 февраля от главы армейской секции Английской Военной миссии полковника Бринкмана.

Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу Маршаллу за информацию, призванную содействовать нашим общим целям, которую он так любезно предоставил нам.

Вместе с тем считаю своим долгом сообщить генералу Маршаллу о том, что боевые действия на восточном фронте в течение марта месяца не подтвердили данную им информацию, ибо бои эти показали, что основная группировка немецких войск, включавшая и 6-ю танковую армию СС, была сосредоточена не в Померании и не в районе Моравска Острава, а в районе озера Балатон, откуда немцы вели наступление с целью выйти к Дунаю и форсировать его южнее Будапешта.

Этот факт показывает, что информация, которой пользовался генерал Маршалл,

не соответствовала действительному ходу событий на восточном фронте в марте месяце.

Не исключена возможность, что некоторые источники этой информации имели своей целью дезориентировать как Англо-Американское, так и Советское командование и отвлечь внимание Советского командования от того района, где готовилась немцами основная наступательная операция на восточном фронте.

Несмотря на изложенное, я прошу генерала Маршалла, если можно, продолжать сообщать мне имеющиеся сведения о противнике.

Это сообщение я считал своим долгом довести до сведения генерала Маршалла исключительно для того, чтобы он мог сделать соответствующие выводы в отношении источника этой информации.

Прошу Вас передать генералу Маршаллу мое уважение и признательность.

Уважающий Вас

генерал армии *Антонов*,

начальник генерального штаба Крас-

ной Армии
30 марта 1945 года».

— Какое бесстыдство, — тихо сказал Рузвельт. — Узколобая корысть и традиционная нелюбовь к русским может стать — на определенном этапе — детонатором взрыва... Мне стыдно за тех, кому я верил... Мне совестно, что я обрывал Гопкинса, когда тот говорил, что мне лгут... Пожалуйста, запишите текст... Двоеточие, кавычки:

Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта

Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.

Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся.

— Точка, — заключил Рузвельт. — Кавычки закрыть... Это все, что я пока могу сделать. Но это только начало. Русские, думаю, меня поймут... Поставьте дату: двенадцатое апреля тысяча девятьсот сорок пятого года...

Это был последний документ, подписанный Франклином Делано Рузвельтом; спустя несколько часов он — неожиданно для всех — умер.

Президенту Трумэну, Вашингтон.

От имени Советского Правительства и от себя лично выражаю глубокое соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны.

Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны

против общего врага, будет укрепляться и впредь.

И. Сталин.

Отправлено 13 апреля 1945 года.

Удар Красной армии. Последствия — I

Понятие *«хруст»*, приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля сорок пятого года, после того как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб.

Хрустела не только оборона; хрустел рейх; то, что еще за мгновение перед началом удара являло собой *структуру*, волю *массы* противной стороны, сейчас медленно, разрываемое тающими, стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседало, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

...В Цоссене, в штаб-квартире Кребса, сменившего Гудериана, телефоны звонили беспрерывно (связь работала по-немецки отменно); известия с Одера приходили через каждые пятнадцать минут.

Кребс, стоявший в кабинете возле карты, спиною к собравшимся, не мог не слышать, как глухо,

но не испуганно уже, не шепотом, а открыто, громко, понимая надвигающийся ужас, кто-то из офицеров говорил его адъютанту Герхарду Болдту:

— Неужели американцы не успеют?! Ведь они на Эльбе, фронт открыт, их танки в Цербсте, неужели они не захотят войти в Берлин первыми?

Кребс обернулся, посмотрел куда-то поверх голов своих штабных и обратился к адъютанту:

— Пожалуйста, соедините меня с рейхсканцелярией: я должен понять, куда все-таки переводят главный штаб. Мое предложение остается прежним — Берхтесгаден... И не сочтите за труд принести мне стакан вермута...

Адъютант связался с бункером; генерал Бургдорф на вопрос об эвакуации сытно и снисходительно рассмеялся, пояснив при этом:

— Эвакуация на Берхтесгаден уже практически закончена, вопрос только за тем, когда выедет сам... Передайте Кребсу, что он приглашен в рейхсканцелярию 20 апреля на празднование дня рождения фюрера...

...Вечером 19 апреля Борман остался в кабинете Гитлера после того, как все приглашенные на ежедневную военную конференцию были отпу-

щены. Остаться один на один с фюрером было теперь непросто, несмотря на то что в бункере под рейхсканцелярией было построено ни мало ни много шестьдесят комнат. Раньше, в январе еще, здесь было пусто, лишь стояли посты охраны; Гитлер постоянно находился в «Волчьем логове», в Восточной Пруссии; ныне, после его переселения сюда, вдоль по стенам лестниц, ведших в подземный лабиринт, толпились гвардейцы СС; во многих комнатах расположились молодые парни из «личного штандарта» Гитлера, все как на подбор — двухметровые блондины с голубыми глазами; часть комнат была завалена ящиками с вином, анчоусами, сосисками, ананасами, креветками, шампиньонами, шоколадом, икрой, лососиной, ветчиной; на проходивших мимо генералов молодые парни из охраны внимания более не обращали — спали, ели, пили, *громко* смеялись, рассказывая сальные анекдоты; тишина соблюдалась лишь возле личных апартаментов Гитлера.

Последнее убежище фюрера состояло из кабинета, спальни, двух гостиных комнат и ванной; к кабинету примыкал конференц-зал; неподалеку была оборудована веселенькая комнатка для Блонди, собаки фюрера, и четырех ее щен-

ков; чуть выше этой комнаты, самой любимой Гитлером, шла анфилада из восемнадцати маленьких помещений, где постоянно работала — по последнему слову техники — телефонная станция; затем были две комнаты, отданные личному доктору Гитлера — профессору штандартенфюреру Брандту; затем — шесть комнат, предназначенных для штаба комиссара обороны Берлина Геббельса; неподалеку были кухня и комната личного повара Гитлера, мастера по приготовлению вегетарианской пищи, фрау Манциали; далее — большая столовая и комнаты для официантов и слуг. Отсюда внутренняя лестница вела в сад рейхсканцелярии; сделав несколько шагов по этой лестнице, можно было оказаться в пресс-офисе, возглавляемом Хайнцем Лоренцом; к нему примыкала штаб-квартира Бормана, которую вел штандартенфюрер Цандер; рядом помещались кабинеты посланника рейхсфюрера при ставке Гитлера группенфюрера СС Фегеляйна, женатого на сестре Евы Браун, полковника Клауса фон Белова, адмирала Фосса, посланника МИДа при ставке доктора Хавеля, армейского адъютанта Гитлера майора Йоханмайера, пилота фюрера Бауэра, второго пилота Битца, посланника министерства пропаганды при ставке доктора

Наумана; группы армейской разведки во главе с генералом Бургдорфом и его адъютантом Вайсом; кабинет Кребса. Всего в этом мрачном подвальном каземате сейчас находилось более семисот человек, поэтому уединиться можно было только в кабинете Гитлера; здесь мерно гудели вентиляторы; порядок был абсолютным; никакой связи с внешним миром, где все *хрустело* и пыльно, удушающе *оседало*.

Именно здесь Борман и решил привести в исполнение свой план, задуманный в марте, — план спасения, ценою которого должна быть смерть того человека, которого он называл «гением», «великим сыном нации», «создателем тысячелетнего рейха», того трясущегося, медленно движущегося пятидесятипятилетнего мужчины, что сидел перед ним со странной виноватой улыбкой, замершей в уголках рта.

— Фюрер, — сказал Борман, — я всегда говорил вам правду, самую жестокую, какой бы она ни была...

Именно потому, что он никогда правды не говорил, но лишь угадывал то, что тот хотел слышать, и *организовывал* это им угаданное в слова окружающих, в статьях газет и передачах радио, Гитлер легко с ним согласился, прерывисто при

этом вздохнув.

— Поэтому, — продолжил Борман, — позвольте мне и сейчас, в дни, когда идет решающая битва за будущее нации, высказать вам ряд соображений, продиктованных одной лишь правдой...

— Да, Борман, только так.

— Как и вы, я убежден в победе, какой бы ценою она ни далась нам. В городе работают специальные суды гестапо, которые расстреливают на месте паникеров и дезертиров, купленных врагами; рука об руку с ними действуют суды армии и партии. Порядок поэтому абсолютен. Однако огромные территории рейха на севере и на юге на какое-то время отрезаны от нас. Сведения, которые приходят оттуда, весьма тревожны. Поэтому я вижу единственный выход в том, чтобы вы, именно вы, обратились с просьбой к рейхсфюреру Гиммлеру срочно выехать на север и возглавить там борьбу нации. Я считал бы разумным просить вас отправить Геринга на юг, чтобы он взял на себя руководство сражением из нашего Альпийского редута... Но и это не все, фюрер... Вы знаете, что нация ставит вас выше бога; лишить нацию бога невозможно, но припугнуть этим — не помешает...

— Я не понял вас, — сказал Гитлер, чуть по-

давшись вперед, и Борман сразу же ощутил, что фюрер отдает себе отчет, о чем сейчас пойдет речь.

— Ваше заявление о том, что вы остаетесь в Берлине, лично возглавляете борьбу до окончательной победы или же гибнете вместе с жителями столицы, воодушевит нацию, придаст ей сил... Геббельс высказал соображение, не имеет ли смысла еще больше припугнуть колеблющихся и деморализованных, заявив, что фюрер уйдет из жизни, если борьбе не будут отданы все силы немцев — всех без исключения...

Борман пустил пробный шар: Геббельс никогда не посмел бы высказать такого рода идею, но это надо было еще более прочно заложить в мозг Гитлера, закрепить эту мысль, успокоительно закамуфлировав разговором про «испуг» и «нажим».

— Я не знал, что ответить Геббельсу, — продолжал между тем рейхсляйтер, — а он бы никогда не осмелился обратиться к вам с таким предложением, оттого что оно продиктовано своекорыстными интересами его министерства, делом нашей пропаганды... Я же рискнул высказать вам это его соображение...

— Вы считаете, что оно имеет под собой почву?

— Поскольку вас ждут в Альпийском редуте, который неприступен, поскольку вы всегда можете покинуть Берлин, — неторопливо лгал Борман, — я полагал бы такой крайний шаг, такого рода политическую интригу совсем не бесполезной...

— Хорошо, — ответил Гитлер. — Я найду возможность публично высказаться в таком смысле... Хотя, — в глазах его вдруг вспыхнул прежний, осмысленный, жестокий, устремленный огонь, — я действительно более всего на свете боюсь попасть в лапы врагов... Они тогда повезут меня по миру в клетке... Да, да, именно так, Борман, я же знаю этих чудовищ... Так что, — Гитлер в свою очередь начал игру, — может быть, мне действительно имеет смысл уйти из жизни?

— Фюрер, вы не смеете думать об этом... Я бываю в городе, я вижу настроение людей, вижу лица, полные решимости победить, опрокинуть врага и погнать его вспять, я слышу разговоры берлинцев: веселые, спокойные и достойные, они плюют на трупы разложившихся изменников, повешенных на столбах... Монолитность нации ныне такова, что победа совершенно неминуема, вы же знаете свой народ!

Гитлер мягко улыбнулся, успокоенно кивнул:

— Хорошо, Борман, я найду момент для того,

чтобы припугнуть тех, кто проявляет малодушие...

Когда Борман шел к двери, Гитлер тихо засмеялся:

— Но ведь я буду обязан исполнить данное слово, если ваша убежденность в победе рухнет?

Борман обернулся: Гитлер терзал своей правой рукою левую, трясущуюся, и смотрел на него просяще, как ребенок, который не хочет слушать страшную сказку или, вернее, желает заранее знать, что конец будет — так или иначе — благополучный.

— Если наступит крах, я застрелюсь на ваших глазах, мой фюрер, — сказал Борман. — Моя жизнь и судьба настолько связаны с вами, так нерасторжимы, что, думая о вас, я думаю о себе...

— А как люди на улицах одеты? — спросил Гитлер.

Борман ужаснулся этому вопросу, вспомнив тысячи трупов вдоль дорог, изголодавшихся детей, согбенных пергаментных старух, замерших в очередях возле магазинов, где давали хлеб; руины домов; воронки на дорогах, пожарища, висящих на столбах солдат с дощечками на груди: «Я не верил в победу!», и ответил, ужасаясь самому себе:

— Весна всегда красила берлинцев, мой фюрер, девушки сняли пальто, дети бегают в рубашонках...

— А столики кафе уже вынесли на бульвары?

И тут Борман испугался: а что, если Геббельс рассказал фюреру хоть гран правды? Или показал фото зверств авиации союзников?

— Нет, — ответил он, не отрывая глаз от лица Гитлера, — нет еще, мой фюрер... Люди ждут победы, хотя маленькие рыбацкие кабачки на Фишермаркте и пивнушки возле заводов полны рабочего люда...

— Я не пробовал пива с времен первой войны, — сказал Гитлер. — У меня к нему отвращение... Знаете почему? Я перепил в детстве. И ужасно страдал... С тех пор у меня страх и ненависть к алкоголю... Это было так ужасно, когда я увидел себя со стороны, лежавшего ничком, со спутавшимися волосами; невероятные колики в солнечном сплетении; холодный пот на висках... Именно тогда я решил, что, после того как мы состоимся, я брошу всех алкоголиков, их детей и внуков в особые лагеря: им не место среди арийцев; мы парим идеей, они — горячечными химерами, которые расслабляют человека, делая его добычей для алчных евреев и бессердечных большевиков...

Но после победы я выйду с вами на Унтер-ден-Линден, прогуляюсь по Фридрихштрассе, зайду в обычную маленькую пивную и выпью полную кружку пенного «киндля»...

...Через полчаса помощник Бормана штандартенфюрер Цандер рассказал о работе, проведенной полковником Хубером — его человеком в окружении Геринга.

— Рейхсмаршал высказался в том смысле, — говорил Цандер, — что ситуация прояснится двадцатого, на торжественном вечере. «Если фюрер согласится уехать в Берхтесгаден, тогда борьба войдет в новую фазу и судьба немцев решится на поле битвы; если же он останется в Берлине, придется думать о том, как спасти нацию от тотального уничтожения». Когда Хубер напомнил ему о традиции разговора за столом мира двух достойных солдат враждующих армий, рейхсмаршал оживился и попросил срочно подготовить хорошие примеры из истории; особенно интересовался Древним Римом, ситуацией при Ватерлоо и коллизиями, связанными с Итальянским походом генерала Суворова.

...После этого Борман вызвал Мюллера.

— Счетчик включен, — сказал он, расхаживая по своему маленькому кабинету в бункере. — Вы

должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции...

— Безоговорочной? — уточнил Мюллер.

Борману это уточнение не понравилось, хотя он понимал, что такого рода вопрос правомочен. Ответил он, однако, вопросом:

— А вы как думаете?

— Так же, как и вы, — ответил Мюллер. — По-моему, самое время называть собаку — собакой, рейхсляйтер.

Борман покачал головой, усмехнулся чему-то, спросил:

— Выпить хотите?

— Хочу, но — боюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.

— Неделя в нашем распоряжении, Мюллер... А это очень много, семь дней, сто шестьдесят восемь часов, что-то около десяти тысяч минут. Так что я — выпью. А вы позавидуйте.

Борман налил себе айнциана, сладко, медленно опрокинул в себя водку, заметив при этом:

— Нет ничего лучше баварского айнциана из Берхтесгадена. А слаще всего в жизни — ощущение веселого беззаботного пьянства, не так ли?

— Так, — устало согласился Мюллер, не понимая, что Борман, говоря о сладости пьянства, мстил Гитлеру, мстил его тираническому пуританству, сухости и неумению радоваться жизни, всем ее проявлениям; он мстил ему этими своими словами за все то, чего лишился, связав себя с ним; власть хороша только тогда, когда реальна, и ты на ее вершине, а если все *хрустит* и конец будет совсем не таким, как у какого-нибудь британского или бельгийского премьера — ушел себе в отставку, живи на ферме, дои коров да нападай на преемника в печати, — тогда остро вспоминается юность, до той именно черты, когда *понесло*, когда добровольно отринул радость человеческого бытия во имя миража, называемого мировым владычеством...

— А вы что грустный? — спросил Борман, выпив еще одну рюмку.

И Мюллер ответил словами Штирлица, сразу же поняв, что именно его слова он сейчас произнес:

— Я не люблю быть болваном в игре, рейхсляйтер... Я не умею работать, если не знаю конечной задумки... Я ощущаю тогда свою ненужность и — что еще страшнее — малость...

— Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще бы-

ло нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас — можно и нужно... Я — человек альтернативы, вы это знаете... Я не могу спать в комнате, где только одна дверь — меня мучают кошмары... Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх: партия взяла верх над его СС, и это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи, аппарат в моих руках, гестапо — в ваших. Геринг? Вряд ли, оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут *держать*, он это понимает; держать можем мы. Но это один строй размышления, один допуск. Второй: они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира, я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы... Я говорю ему: «Примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники»... Ваша игра с Москвой идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом, иначе они бы начали штурм позже, когда бы сошли разливы рек и не было непролазной грязи на полях, где они вынуждены базировать свои самолеты...

— Это — две двери, — сказал Мюллер. — И обе они могут оказаться закрытыми... Что тогда? Прыгать в окно?

Борман посмеялся, не разжимая рта, и глаза его прикрылись тяжелыми веками:

— Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой... «Окно» — это наша подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему. Подпольный штаб нашего движения начал работу на Паране, в междуречье великих рек, там наши люди контролируют территорию, равную земле Гессен, на первое время хватит, доктор Менгеле готовится к переброске туда. Что еще?

— Где окно? — усмехнулся Мюллер. — Я готов хоть сейчас прыгать. И налейте водки, теперь, когда все стало ясно, можно хоть на час расслабиться...

— Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад?

— Спросили б точнее: сможет Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? И я б ответил: «Да, смогу, на то я и Мюллер»... Как будем уходить? Когда?

— Погодите, погодите, всему свое время...

Мюллер покачал головой:

— Я не верю в ваши двери, рейхсляйтер... Я уже вырыл для себя могилу, в которую опустят пустой гроб, и приготовил мраморный памятник

на кладбище. Когда станем прыгать из окна?

— После того как мы обратимся к русским. И они ответят нам. А это случится в ближайшие дни...

И тогда Мюллер тихо спросил:

— А с ним-то вы справитесь?

Борман понял, кого Мюллер имел в виду; он знал, что тот говорит о Гитлере; ответил поэтому открыто и простодушно:

— Я всегда считал Геббельса мягким человеком, он мне по силе.

Мюллер снова покачал головой:

— Не надо так... Часы бьют полночь... Не надо... Ответьте прямо: я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я, лично я, Мюллер? Могу я быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников — и мои люди тоже стерегут их, не думайте, не только парни вашего Цандера... Как тщательно вы продумали маршрут нашего движения через кровоточащую Германию, на север, к подводникам? Имеете ли вы в голове абсолютный план операции ухода отсюда, когда мы обязаны будем запутать всех, пустить их по ложному следу, оставить после себя десяток версий? Рейхсляйтер, часы бьют полночь, не позволяйте себе расслабляться в

здешней блаженной тишине и тепле...

Мюллер говорил, словно вбивал гвозди; в висках у Бормана занемело от боли.

Осев в кресле, сделавшись еще меньше ростом, Борман как бы растекся, обмяк и понял, что все кончено — окончательно и бесповоротно. А с этим пришел страх: а ну и Мюллер уйдет?! Это показалось ему до того страшным — оттого что было возможно и по его, Бормана, логике простотаки необходимо, — что он сказал:

— Не бранитесь... Мне приходится все время играть, поймите меня, бога ради... Вся жизнь — балансировка и игра на полюсах...

— Если б не понимал...

— Давайте оговорим детали, Мюллер... Называйте мне вашу конспиративную квартиру, где вы меня будете ждать; начинайте планировать уход, займитесь моими двойниками — вы правы, времени уже не осталось... Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна, я его слишком хорошо знаю...

Вот как умеет работать гестапо! — IV

...Ранним утром Штирлиц вернулся в Берлин, окутанный черно-красным дымом пожаров.

Он сидел на заднем сиденье, между Куртом и Ойгеном, машину вел Вилли; по дороге они трижды вываливались в кюветы, когда над дорогой проносились русские штурмовики; самолеты летели на бреющем полете, расстреливая из пулеметов колонны пехоты, которая двигалась к Берлину.

Каждый раз Штирлиц с ужасом думал, что его же, краснозвездные, могут ударить по нему из своих крупнокалиберных. Нет ничего обиднее. Только б дожить до того момента, когда наши войдут в Берлин. Ладно б погибнуть от пули Мюллера — это хоть соответствует условиям той работы, которую он делал. Но ведь нельзя, нельзя погибать. Тебе приказано выжить, Исаев, ты обязан выжить...

...В здание РСХА он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена, сей-

час в ней просто-напросто отпала нужда: когда гремит артиллерийская канонада и краснозвездные штурмовики по-хозяйски барражируют над автострадами, не до игр. Финал трагедии должен быть правдой, никаких условностей; последнее слово обязано быть произнесенным.

...В коридорах РСХА царила суматоха, молодые эсэсовцы торопливо выносили ящики; во дворе продолжали жечь бумаги; смрадный, тяжелый дым щипал глаза; однако на третьем этаже, где находился кабинет Мюллера, было все, как и раньше; канонада казалась звуковым оформлением фильма, который привезли сюда на просмотр из рейхсминистерства пропаганды — такое практиковалось, особенно если лента была посвящена победам вермахта на полях сражений. Так же, как и раньше, возле каждого поворота коридора стояли младшие офицеры СС, дотошливо проверявшие документы у всех проходивших, только теперь на маленьких столиках возле постов лежали каски и противогазы, а на груди у охранников висели короткостволые шмайсеры.

Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью и сказал сопровождавшим его эсэсовцам:

— Заберите у него оружие.

Штирлиц спокойно позволил себя разоружить, учтиво осведомился, можно ли ему закурить, получил отказ, пожал плечами и подумал, что какое-то время, видимо, у него еще есть, иначе бы его просто-напросто пристрелили.

«А что им все-таки теперь от меня надо? — подумал он. — Ну что может теперь интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мною сделать, если захочет получить ответы на все свои вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится: он ведь будет уходить, нужно иметь в резерве то, чем можно впоследствии торговать».

Шольц заглянул в кабинет Мюллера, вышел оттуда сразу же, не глядя на Штирлица, сказал:

— Вас ждут.

Штирлиц вошел в знакомый ему кабинет, остановился на пороге, и улыбнувшись, поднял левую руку, сжатую в кулак:

— Рот фронт, группенфюрер...

— Здравствуйте, товарищ Штирлиц, — ответил тот без обычной улыбки. — Садитесь, сейчас я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное место.

— Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бо-бо?

Мюллер вздохнул:

— Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Ну зачем? Неужели вы не понимали, что ваш Центр отправлял вас на гибель? Вот, — он подвинул Штирлицу папку, — почитайте ваши телеграммы, а я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно: у меня в стекло вмонтированы специальные жилы, порежетесь, но не выброситесь.

Он набрал номер; ловко прижав трубку к уху плечом, закурил. Осведомился:

— Что, советник Перейра еще в городе? Тогда, пожалуйста, соедините меня с ним, это говорит профессор Розен... Да, да, из торговой палаты... Я подожду...

Штирлиц пролистал телеграммы...

«А ведь он хитрит, — понял Штирлиц, — он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина с Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уже потом прочитали все то, что я отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер

человек со стальной выдержкой — все, что он делает, он делает по плану, в котором нет мелочей; любая подробность выверена до абсолюта».

Прикрыв ладонью трубку, Мюллер спросил:

— Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики?

— Вы — лучше, — ответил Штирлиц. — Давно начали меня читать?

— С февраля.

— Пока еще работал Эрвин?

— Ах, Штирлиц, Штирлиц, и все-то вы хотите знать! — Лицо Мюллера снова напряглось, он еще крепче прижал трубку к уху. — Алло! Да, господин советник Перейра, это я. Вечером самолет будет готов, мы отправим вас с Темпельхофа, вполне надежно... Да, и еще одна просьба: заезжайте к военному атташе Испании полковнику де Молина, предупредите его о вылете, у них что-то случилось с телефоном. Вам привезут два чемодана, вы помните? Нет, нет, в Асунсьоне вас встретят мои коллеги, они примут груз. Счастливого полета, мой друг, завидую, что сегодня ночью вы будете пировать в Цюрихе. Советую заглянуть в немецкий ресторанчик на Банхофштрассе, напротив «Свисс Бэнка», там прекрасно делают айсбайн... Спасибо, мой дорогой... Будучи суеверным чело-

веком — хотя это и карается нашей моралью, — я, тем не менее, говорю вам: «До встречи».

Мюллер положил трубку на рычаг, прислушался к канонаде, затянул галстук, неловко одернул штатский пиджак, сидевший на нем чуть мешковато, поднялся и сказал:

— Едем, дружище, времени у нас в обрез, а дел — невпроворот.

И снова Штирлиц был зажат между Ойгеном и Куртом; Мюллер сидел рядом с Вилли, на переднем сиденье, хотя всегда ездил в машине сзади, слева от шофера; впереди и сзади неслись два «мерседеса» с форсированными двигателями, набитые охранниками в штатском; часто приходилось объезжать битый кирпич, солдаты пока еще старались расчищать улицы, да и полицейские на работы выгоняли всех, кто мог двигаться; порядок, только порядок, даже в самые трудные времена!

Не оборачиваясь, Мюллер спросил:

— Знаете, Штирлиц, что меня более всего удивляло в жизни?

— Откуда же мне знать, группенфюрер, конечно, не знаю.

— Сейчас расскажу... Помните, Дагмар Фрайтаг рассказывала вам про руны, русские былины и

все такое прочее?

— Помню.

— Я, кстати, был тогда поражен вашим голосом... Когда вы расспрашивали ее... У вас был совершенно особый голос... В нем была такая тоска... И я подумал: разве можно идти в разведку человеку со столь обостренным чувством любви... Тоски, если хотите... Это же просто-напросто неестественно... Наша с вами профессия цинична, вненациональна и прагматична, не так ли?

— Нет.

— Доказательства?

— Я вас не переубежу, какой смысл болтать попусту...

— Вы ответили мне некультурно...

Штирлиц, усмехнувшись, повторил:

— Некультурно...

— Знаете, мне кажется, что культура зародилась в тот миг, когда произошло выделение какой-то великой души из общей массы живых существ, — задумчиво сказал Мюллер. — Видимо, истинная культура могла состояться лишь на почве небольшого района, скорее всего где-то в горах, в плодородных ущельях, в атмосфере тесного единения жителей... Культура погибает после того, как таинственная великая душа пол-

ностью реализует себя, выявит в рунах, былинах, песнях трубадуров, замрет в устремленности храмов, окостенеет в параграфах законов... Она тогда застывает, как застыла антика... Зачем же тогда надламывать свое сердце по застывшему, Штирлиц?

Штирлиц удивленно посмотрел на Мюллера, потом, нахмурившись, заметил:

— Где-то мне уже встречались подобные соображения, но, по-моему, в книгах, изданных за границами рейха?

Мюллер обернулся, почесал кончик носа, хмыкнул:

— Между прочим, я обидчив. Эти мысли я выносил сам, когда работал против Шандора Радо и «Красной капеллы»: там были интеллигентные люди, надо было противостоять им в полный рост... Согласитесь, у нас порою дуракам легче, их не боятся, их двигают наверх — до определенного, впрочем, предела, — но ведь мы с вами отдали жизнь такому делу, где глупость совершенно невозможна, она преступна, даже, я бы сказал, антигосударственна... Глупый дипломат на виду, его можно поправить, уволить, посадить, а вот если глуп разведчик, тогда режим ждут большие беды... Что вы так жадно смотрите на улицы?

Прощаетесь? Или хотите запомнить маршрут, по которому вас везут? Так не проще ли задать мне этот вопрос? Я везу вас на мою конспиративную квартиру, там очень удобно, прекрасный вид из окон, стекла также оборудованы специальными сетками, причем, абсолютно звуконепроницаемы, канонада не слышна, русских туда пока не пустят, рельеф местности в нашу пользу, армии Венка и Штейнера на подходе, драка будет кровавой, нас ждут сюрпризы.

...На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире было довольно много народа; все в штатском; слышался стрекот пишущих машинок и глухие голоса, быстро диктовавшие тексты; то и дело звонили телефоны — их было никак не меньше трех, может быть, больше; проходя по коридору, Штирлиц увидел в окно, что на улице, параллельной той, по которой они сюда приехали, молодые мальчики в форме «гитлерюгенда» возводили баррикаду; на доме, что был метрах в ста, развевался флаг молодых национал-социалистов.

Мюллер пригласил Штирлица в маленькую комнату; два стула; на столе стопка бумаги и десяток фаберовских карандашей, очень жестких, точенных до игольчатости; пепельница, две

пачки сигарет, зажигалка.

— Садитесь, Штирлиц. Садитесь к столу. И послушайте, что я вам стану говорить...

Он распустил галстук, расслабился, откинулся на спинку, закрыл на мгновение глаза...

Штирлиц прислушался к голосу, который слабо доносился из соседней комнаты. Человек диктовал машинистке; та работала, как автомат, очередями. Человек называл русские имена, перечислял названия городов; отчетливо запомнилась фраза: «После этого племянник академика Феофанова был вызван к бургомистру Ланину, и тот потребовал от него здесь же, в кабинете, написать статью в новую газету про то, как отвратительно, антирусски было поставлено народное образование при Советской власти. Поначалу Игорь Феофанов отказывался, затем...»

Мюллер быстро поднялся, подошел к двери, распахнул ее, крикнул:

— Перейдите в другую комнату! И вообще незачем так кричать, стенографистка, полагаю, не глуха!

Мюллер вернулся на место, испытующе посмотрел на Штирлица и, хрустнув пальцами, сказал:

— Так вот, я хочу вам сказать про то, что давно меня мучит. Хоть я и не кончал университетского

курса, но книги читал с малолетства... Да, да, почему бы я иначе стал таким мудрым? Только благодаря книгам, дружище... И к чему я пришел? Вот к чему я пришел, Штирлиц... Мир знал много культур, но каждая из них есть слепок одна с другой... Поликлет и Вагнер близки, хотя их разделяют столетия, так же, как Софокл и Ницше... Александр Македонский и Наполеон Бонапарт... Восстание в эллинских городах после Анталкидова мира, когда бедные перебили всех богатых, было созвучным — в своей цивилизации — с тем, что дал Парижский мир, когда Бомарше и Руссо готовили бунт против столь необходимой для любого общества Бастилии... У эллинов были Аристофан и Исократ, а у французов — Вольтер и Мирабо; вполне прочитывается перекличка созвучности в разных пластах истории... Солдатский император Наполеон или мужицкий царь Пугачев лишь повторяли Дионисия Сиракузского и Филиппа Македонского... Вы понимаете, зачем я, совершенно лишенный времени, говорю вам об этом?

— Понимаю.

— Так зачем же?

— Чтобы оправдать цинизм умных: «И это было». Нет?

— Верно! В десятку! Молодец! Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь понимаете?

— Не до конца.

— Мне нужно от вас следующее: во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании, в подвале, мы сломали его, он готов работать. Вы сейчас напишете телеграмму в Центр, я ее зашифрую — теперь это не трудно, — а вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги, это не в ваших интересах... В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими; взамен я требую гарантию неприкосновенности... Я могу помочь во многом... Если даже не во всем...

— В чем, например?

— Отдать им Гиммлера, например...

— А Бормана?

— Давайте сначала дождемся ответа из вашего Центра... Как думаете, они согласятся?

— Думаю, что нет.

— Почему?

— Они не считают Аристофана и Мирабо современниками...

— Хороший ответ. Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай. Не правда ли?

— Если настаиваете...

— Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе: вы расскажете мне все о своей работе? Все, с начала и до конца?

— Вы можете посмотреть мое личное дело, там все написано, группенфюрер...

Мюллер громко захохотал. Он смеялся искренне, утирал глаза, качал головою; потом лицо его занемело:

— Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибадинуол, доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру... Причем, говорить вы станете на том языке, на котором болтали во сне у Дагмар... Я дал послушать ваш голос казачьему атаману Краснову — он не только наш консультант, но и плодовитый литератор, настрочил сто романов про большевиков и евреев. Сказал, что по рождению вы петербуржец...

— Что вам даст мое признание, группенфюрер?

— Я думаю о будущем, Штирлиц. К тому же человек нашей профессии не умеет жить соло, мы не можем без дирижера, смысл нашей жизни — работа с оркестром...

— Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?

— Не медля ни минуты.

Штирлиц покачал головой:

— Мне очень горько помирать... Но я не могу переступить себя... Не сердитесь...

— Тогда пишите телеграмму.

Штирлиц взял карандаш, написал текст:

«Центр.

Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантий личной неприкосновенности.

Юстас».

Мюллер внимательно прочитал телеграмму, поинтересовался:

— Фокусов нет?

— А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание...

Уж если делать спектакль, так зрелищно!

Как никто другой, Борман понимал, что все сейчас решают не дни, но часы, быть может, даже минуты.

Он понимал, что отъезд Гитлера в Альпийский редут нанесет удар по тому плану, который он выносил, утвердил для себя и проработал во всех деталях.

Он поэтому продолжал делать все, чтобы Гитлер остался в Берлине, с тревогой наблюдая за тем, как фюрер ищуще выспрашивал визитеров про то, стоит ли ему продолжать борьбу из ставки или, быть может, целесообразнее улететь в Берхтесгаден.

Как никто другой зная характер Гитлера, рейхсляйтер понимал, что мания подозрительности, овладевавшая фюрером с каждым днем все более и более, диктует ему решения странные, идущие, как правило, от противного. Борман знал, что когда ему надо было провести какую-то кандидатуру, то быстро и надежно это можно сделать в том случае, если уговорить Лея или Шпеера (к

ним фюрер был неравнодушен) дать негативную характеристику тому, на кого ставил он сам, Борман. Тогда по прошествии двух-трех дней можно было входить с предложением, и Гитлер обычно утверждал назначение того человека, который был угоден Борману.

Причем, эта симпатия Гитлера возникла потому, что Лей страдал запоями, и Гитлер поэтому относился к нему с брезгливым, но в то же время жалостливым интересом; поскольку Лей был из рабочих и руководил «Трудовым фронтом», фюрер считал необходимым держать его подле себя; он считал также, что человек, страдающий недугом, который карался по законам партийной этики, будет ему особенно предан; так же он относился к Шпееру: в последние месяцы его любимец, самый знаменитый архитектор рейха, ставший министром военной экономики, позволял себе открыто говорить фюреру, что война проиграна и поэтому уничтожение мостов, дорог и заводов лишит германскую промышленность шанса на послевоенное возрождение, которое возможно лишь при содействии западного капитала, традиционно заинтересованного в создании санитарного антибольшевистского кордона. Никому другому Гитлер не простил бы таких вы-

сказываний; слушая Шпеера, он как-то странно улыбался; Борману порою казалось, что фюрер обладает удивительным даром не слышать то, что ему не хотелось слышать; после тяжелого разговора со Шпеером, когда все присутствовавшие при этом замерли, страшась стать свидетелями истерики, которая могла бы кончиться приказом немедленно расстрелять любимца, фюрер вдруг пригласил министра к себе и, ласково усадив за стол, принес чертежи «музея фюрера» в Линце.

Расстелив листы ватмана на столе, Гитлер сказал:

— Шпеер, послушайте, чем внимательнее я рассматриваю ваш проект, тем более тяжелыми мне кажутся скульптуры через Дунай. Все-таки Линц — легкий город, следовательно, необходима абсолютная пропорция. Что вы на это скажете?

Шпеер с ужасом посмотрел на фюрера: Линц бомбили союзники, вопрос захвата города русскими был вопросом недель, а этот человек с трясущимися руками и большими, навыкате, зелеными глазами говорил о будущем музее, о пропорции форм и о скульптурах через Дунай.

...Именно к Шпееру и обратился Борман, когда тот приехал с фронта в рейхсканцелярию.

— Послушайте, Альберт, — сказал Борман,

дружески обнимая ненавистного ему любимца фюрера, — мне кажется, что сейчас вам зададут вопрос, стоит ли нам уходить в Берхтесгаден. Вы же понимаете, что открытое столкновение между красными и англо-американцами — вопрос месяцев, нам надо еще немного продержаться, и коалиция рухнет, поэтому я прошу вас — уговорите фюрера уехать в Альпы.

Борман умел высчитывать людей; он верно высчитал Шпеера; тот, оставшись один на один с фюрером, выслушал его вопрос и ответил — неожиданно для самого себя — совсем не так, как его просил рейхсляйтер:

— Поскольку лично вы, мой фюрер, потребовали от немцев сражения за каждый дом, лестничный пролет, за каждое окно в квартире, ваш долг остаться в осажденной столице.

— Да, но в Берхтесгадене лучше средства коммуникации, — возразил Гитлер. — Военные считают, что оттуда мне будет легче руководить борьбою на всех фронтах.

— Военные отстаивают свое узкопрофессиональное дело, а на вас лежит тяжкое бремя политической стратегии, — с отчаянием ответил Шпеер, понимая, что, видимо, каждое его слово записывается Борманом на пленку.

Гитлер как-то сразу сник, сидел несколько мгновений неподвижно, а потом снова пошел за чертежами «музея» в Линце.

— Послушайте, — сказал он, вернувшись, — я по-прежнему беспокоюсь, как будет оценено знатоками столь близкое соседство Тинторетто с Рафаэлем... Все-таки, Тинторетто слишком легок и шаловлив, его искусство представляется мне не совсем здоровым с точки зрения национальной принадлежности. Порою мне кажется, что в нем есть дурная кровь... Эта шаловливость, эта нарочитая несерьезность... Такое всегда было свойственно еврейским маклерам... Или русским экстремистам, типа Врубеля... А через зал — Рафаэль... Розенберг дважды привлекал авторитетных антропологов, но они утверждают в один голос, что мать художника не имела любовника с вражеской кровью, а отец был истинным римлянином... Но ведь его дед мог изменить фамилию: евреи так ловки, когда речь идет о том, чтобы упрятать свою родословную...

...После беседы со Шпеером, за чаем, Гитлер, проверяя Бормана, сказал:

— А вот Шпеер считает целесообразным мой отъезд в Берхтесгаден.

— Он не только это считает целесообразным,

— ответил Борман, — он запрещает гауляйтерам взрывать мосты и заводы, он, видите ли, думает о будущем нации, как будто оно возможно вне и без национал-социализма...

— Не верьте сплетням, — отрезал Гитлер. — Шпееру завидуют. Всем талантам завидуют. Я это испытал на себе в Вене, когда меня четыре раза не принимали в Академию художеств. Там это было понятно: все эти чехи и словаки с поляками, гнусные евреи не желали дать дорогу арийцу — это типично для неполноценных народов, подлежащих исчезновению. Я не могу понять проявления такого отвратительного качества среди арийцев. Это просто-напросто не имеет права на существование среди нас...

...Фюрер не заподозрил Шпеера в заговоре, а, наоборот, взял его под защиту. Борман был почти уверен, что Гитлер может в любую минуту объявить о своем отъезде в Альпийский редут.

Следовательно, настала пора действовать.

...Борман зашел к лечащему врачу фюрера доктору Брандту, штандартенфюреру СС, который наблюдал Гитлера с начала тридцать пятого года; именно Брандт следил за его диетой, лично делал инъекции, покупал в Швейцарии новые лекарства и отправлял своих шведских друзей

в Америку — закупать медикаменты, которые стимулировали организм «великого сына германской нации», не угнетая при этом психику и сон.

— Брандт, — сказал Борман, — откройте мне всю правду о состоянии фюрера. Говорите честно, как это принято между ветеранами партии.

Брандт, как и все в рейхсканцелярии, знал, что откровенно говорить с Борманом невозможно и чревато непредсказуемыми последствиями.

— Вас интересуют данные последних анализов? — заботливо осведомился Брандт.

— Меня интересует все, — ответил Борман. — Абсолютно все.

— У вас есть какие-то основания тревожиться о состоянии здоровья фюрера? — отпарировал Брандт. — Я не нахожу оснований для беспокойства.

— Брандт, я отвечаю за фюрера перед партией и нацией. Вам поэтому нет нужды скрывать от меня что бы то ни было. Скажу вам откровенно: нынешняя походка фюрера кажется мне несколько... уставшей, что ли... Нет ли возможности как-то взбодрить его? Бывают моменты, когда у него трясется левая рука; вы же знаете, как наши военные относятся к вопросам выправки... Сделайте что-нибудь, неужели нет средств такого

рода?

— Я делаю все, что могу, рейхсляйтер.

Борман понял, что дальнейший разговор со штандартенфюрером бесполезен. Он никогда не станет делать то, что сейчас угодно Борману, он пойдет к фюреру и откроет ему все, если попробовать заговорить с ним в открытую: «Начните делать уколы, которые парализуют волю Гитлера, мне нужно управлять им, мне необходимо, чтобы от фюрера осталась лишь оболочка, и вы должны сделать это в течение ближайших двух-трех дней».

— Значит, я могу быть спокоен? — спросил Борман, поднимаясь.

— Да. Абсолютно. Фюрер, естественно, страдает в связи с нашими временными неудачами, но дух его, как обычно, крепок, данные анализов не дают повода для тревоги.

— Спасибо, дорогой Брандт, вы успокоили меня, спасибо вам, мой друг.

...Выйдя от доктора, Борман быстро пошел в свой кабинет, набрал номер Мюллера и сказал:

— То, о чем мы с вами говорили, надо сделать немедленно. Вы поняли?

— Западный вариант? — уточнил Мюллер.

— Да, — ответил Борман. — Информация об

этом должна поступить сюда сегодня вечером от двух — по крайней мере — источников.

Через пять минут штурмбанфюрер Холтофф был отправлен Мюллером на квартиру доктора Брандта.

— Фрау Брандт, — сказал он, — срочно собирайтесь, поступил приказ вывезти вас из столицы, не дожидаясь колонны, с которой поедут семьи других руководителей.

Через семь часов Холтофф поместил женщину и ее детей в маленьком особнячке, в горах Тюрингии, в тишине, где мирно распевали птицы и пахло прелой прошлогодней травой.

Через девять часов гауляйтер области позвонил в рейхсканцелярию и доложил, что фрау Брандт с детьми получила паек из специальной столовой НСДАП и СС, поставлена на довольствие и ей выдано семьсот рейхсмарок вспомоществования в связи с тем, что она из-за срочности отъезда не смогла взять с собою никаких вещей.

Телефонограмма была доложена Борману — как он и просил — в тот момент, когда он находился у Гитлера.

Прочитав текст сообщения, Борман изобразил такую растерянность и скорбь, что фюрер, нахмурившись, спросил:

— Что-нибудь тревожное?

— Нет, нет, — ответил Борман. — Ничего особенного...

Он начал комкать телефонограмму, чтобы спрятать ее в карман, зная наперед, что фюрер обязательно потребует прочитать ему сообщение. Так и случилось.

— Я не терплю, когда от меня скрывают правду! — воскликнул Гитлер. — В конце концов, научитесь быть мужчиной! Что там?! Читайте!

— Фюрер, — ответил Борман, кусая губы, — доктор Брандт... Он нарушил ваш приказ отправить семью в Альпийский редут вместе со всеми семьями руководителей и перевез жену с детьми в Тюрингию... В ту зону, которую вот-вот займут американцы... Я не мог ожидать, что наш Брандт позволит себе такое гнусное предательство... Но я допускаю ошибку, я прикажу проверить...

— Кто подписал телефонограмму?

— Гауляйтер Росбах.

— Лично?

— Да.

— Я знаю Росбаха и верю ему, как вам, — сказал Гитлер, тяжело поднимаясь с кресла. — Где Брандт? Пусть сюда приведут этого мерзавца! Пусть он валяется на полу и молит о пощаде! Но

ему не будет пощады! Он будет пристрелен, как взбесившийся пес! Какая низость! Какая отвратительная, бесстыдная низость!

Брандт пришел через несколько минут, улыбнулся Гитлеру:

— Мой фюрер, можете сердиться на меня, но, как бы вы ни отказывались, придется принять получасовой массаж...

— Где ваша семья? — спросил Гитлер, сдерживая правой рукой левую. — Ответьте мне, свинья эдакая, куда вы дели вашу бабу! Ну?! И посмейте солгать — я пристрелю вас лично!

Брандт почувствовал, как кровь начала стремительно, пульсирующе *стекать* с лица куда-то в желудок; стало печь в солнечном сплетении; ноги сделались ледяными; коленки ослабли; казалось, что, если придется сделать шаг, чашечки сдвинутся и мягкое тело опустится на пол.

— Моя жена дома, — ответил Брандт странным, совершенно чужим голосом. — Я говорил с ней утром, мой фюрер.

— Вот видите, — облегченно сказал Борман, вымученно улыбаясь Гитлеру. — Как я рад, что все обошлось, вполне возможна путаница, мало ли в рейхе Брандтов... Позвоните домой с этого аппарата, штандартенфюрер, передайте жене

мой привет.

Брандт набрал номер прямым, негнущимся пальцем; в трубке были долгие длинные гудки, потом ответила служанка, Эрика:

— Слушаю.

Брандт снова откашлялся, облегченно вздохнул и сказал:

— Пожалуйста, попросите к аппарату фрау Брандт.

— Но она уехала в Тюрингию, — ответила девушка. — Даже не успела собраться, так торопилась...

— Что?! — выдохнул Брандт. — Почему?! Кто?!

— Так ведь вы прислали за ней машину...

— Я не присылал никакой машины! — Брандт обернулся к Гитлеру. — Я не посылал за ней никакой машины, мой фюрер! Это чудовищно, этого не может быть!

— Вы — поганец! — сказал Гитлер, приближаясь к Брандту танцующей походкой. — Вы мерзкая продажная свинья!

Он вдруг легко выбросил правую руку, жадно сграбастал крест и сорвал его с груди штандартенфюрера.

— Дайте мне пистолет, Борман! Я пристрелю его! Сам! Это змея, пригревшаяся на моей груди!

— Фюрер, — успокаивающе сказал Борман, — мы обязаны судить его. Пусть партия и СС узнают о том, кто скрывался в наших рядах, пусть это будет уроком для...

Борман не имел права дать Гитлеру убить Брандта. Доктор нужен ему, это *трофей*, он знает о Гитлере все, теперь он расскажет все тайное, что не открывал никогда и никому; все откроет, вымаливая себе пощаду.

Брандт был закован в кандалы и отправлен на конспиративную квартиру Бормана под охраной пяти эсэсовцев из «личного штандарта» Гитлера.

Утром об этом узнал Гиммлер; он отправил туда, где держали Брандта, своего секретаря с десятью эсэсовцами — он тоже понимал толк в трофеях; Брандт был взят из-под стражи и вывезен на север, под Гамбург, на одну из секретных явок Гиммлера.

Однако Борман добился главного: через час после того как исчез Брандт, в рейхсканцелярии появился оберштурмбанфюрер Штубе, помощник доктора Менгеле, человек, лишенный собственного «я»; Мюллер дал исчерпывающую характеристику прошлой ночью: «Бесхребетен, но, впрочем, претендует на старомодность; тра-

диционно боится начальства; весьма корыстен, приказу подчинится, хотя, видимо, порассуждает о врачебной этике».

Удар Красной армии. Последствия — II

Хрустело...

Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина; армии Конева шли с юга; готовился к удару с севера Рокоссовский...

21 апреля конференция в бункере Гитлера шла, как и обычно, — обстоятельно и неторопливо; обстановку докладывали Кейтель и Кребс; их сообщения были исчерпывающе точными, иллюстрировались черными и красными клиньями, нанесенными на карту штабными офицерами.

Гитлер сидел в кресле с отсутствующим взглядом, изредка кивал, то и дело прижимал правой рукой прыгающую левую; однако, когда Кребс начал докладывать о боях, шедших южнее и севернее Берлина, Гитлер поднял руку, словно бы защищаясь от кого-то невидимого:

— Где генерал Штайнер? Где его танки? Где его дивизии? Почему он до сих пор не отбросил полчища русских?!

— У него нет сил на это, — устало ответил Кребс.

— Русские превосходят нас по всем позициям не менее, чем в четыре-пять раз, мой фюрер!

— Где армия Венка?

— Его войска бессильны что-либо сделать, мой фюрер!

— Уйдите все, — сказал Гитлер, обращаясь к штабным офицерам. — Борман, Кейтель, Йодль, Кребс, Бургдорф, останьтесь...

Он дождался, пока генералы и офицеры вышли, посмотрел на Бормана замеревшим, холодным взглядом, потом стукнул правой рукой по столу и закричал срывающимся, но — прежним — сильным, властным голосом:

— Я окружен изменой! Низкие трусы в генеральских погонах предали мое дело! Нет более отвратительной нации, чем та, которая не может встретить трудность лицом к лицу! Когда я вел вас от победы к победе, вы аплодировали мне! Вы присылали мне сводки, из которых неумолимо явствовало, что наша мощь сильна, как никогда! А теперь оказывается, что мы слабее русских в пять раз?! Вы — низкие трусы! Отчего вы не говорили мне правды?! Когда я дал вам право усомниться в моей лояльности по отношению к тем, кто восставал против моей точки зрения?! Я всегда ждал дискуссии, я жаждал столкновения

разных точек зрения! Но вы молчали! Или же взрывали бомбы под моим столом! Вы вольны покинуть Берлин немедленно, если боитесь оказаться в русском котле! Я остаюсь здесь! А если война проиграна, то я покончу с собою! Вы свободны!

Молчание было слышимым, тяжелым.

...*Хрустело*.

Йодль шагнул вперед, откашлялся, заговорил ровно:

— Фюрер, ваша ответственность перед нацией не позволяет вам оставаться здесь. Вы должны сейчас же, не медля ни минуты, уйти в Альпийскую крепость и возглавить битву за весь рейх из неприступного Берхтесгадена. На юге рейха и на севере достаточно войск, которые готовы продолжать битву. Армия и народ верны вам, как всегда. Мы зовем вас жить во имя победы.

Гитлер растроганно посмотрел на Кейтеля и Йодля, подался вперед, улыбаясь, но Борман опередил его:

— Господа, решение фюрера окончательно и не подлежит коррективам. Мы, те, кто был с ним всегда, остаемся вместе с ним. Мы ждем, что вы — в случае, если решите уйти в Альпийский редут, — добьетесь перелома битвы.

Гитлер быстро, неожиданно для его трясущегося тела, обернулся к Борману:

— Пусть сюда немедленно переселится Геббельс с женой и детьми... Скажите, чтобы для них приготовили комнаты рядом с моими пилотами и кухней, детей надо хорошо кормить — молодые организмы находятся в поре своего возмужания...

— Да, мой фюрер, — Борман склонил голову, — я немедленно свяжусь с рейхсминистром. — Он оглядел генералов *понимающим* взором, «мол, оставьте нас одних», а тем, кто не знал, как поступить, помог словом: — Благодарю вас, господа, вы свободны, перерыв...

Когда они остались одни, Гитлер, странно усмехаясь, спросил:

— А где ваша семья, Борман? Я хочу, чтобы ваша милая жена с детьми поселилась вместе с вами... Если мало места, я уступлю одну из моих гостиных... Пригласите их сюда немедленно, мой друг.

— Я уже сделал это, — легко солгал Борман. — Они выехали. Я молю бога, чтобы они успели проскочить в Берлин, мой фюрер...

(Еще неделю назад он предупредил жену, чтобы она с детьми покинула мюнхенский дом и скрылась в горах; жену он не любил и был счаст-

лив, что живет от нее отдельно, но к детям был привязан; она хорошо за ними глядела, поэтому Борман ее терпел, не устроил автокатастрофы.)

...Через час Борман огласил указ фюрера, в котором говорилось, что фельдмаршал Кейтель должен немедленно отправиться в армию Венка. Он обязан передать генералу личный приказ Гитлера атаковать Берлин в направлении юго-западнее Потсдама.

Генерал Йодль отправляется в армию Штейнера, чтобы организовать атаку по деблокаде Берлина в районе севернее Ораниенбурга.

Гросс-адмирал Дёниц собирает все силы рейха на побережье для оказания помощи сражающемуся Берлину.

Геббельс, как комиссар обороны столицы, делает все, чтобы мобилизовать внутренние ресурсы города в его противостоянии большевистским полчищам.

Рейхсмаршал Геринг возглавляет все силы рейха на юге для их мобилизации к продолжению битвы.

Рейхсфюрер Гиммлер выполняет идентичную задачу на севере.

Текст этого приказа фюрера был немедленно отправлен в штаб Геринга (тому именно челове-

ку, с которым последние дни *работал* помощник рейхсляйтера Цандер) полковнику Хуберу.

Цандер добавил несколько ничего не значащих слов, нечто вроде личного послания Хуберу, в то время как для адъютанта Геринга они означали приказ действовать, давить на рейхсмаршала, пугать его Гиммлером, настраивать на необходимость предпринять свои, истинно солдатские шаги, ведь он, Геринг, — герой первой мировой войны; кому как не ему проявить мужество сейчас, в дни, когда фюрер сделался фикцией, бессильной марионеткой в руках «гнусного Бормана и фанатика Геббельса»...

...Ровно через двадцать четыре часа после того, как в Оберзальцберг ушла эта шифровка Цандера, в рейхсканцелярии приняли радиограмму от Геринга, в которой говорилось, что он, рейхсмаршал, ждет подтверждения от фюрера на вступление в силу декрета от 29 июня 1941 года, в котором он — в случае возникновения кризисной ситуации — провозглашается преемником Гитлера. «Поскольку фюрер, как глава государства, лишен в Берлине свободы поступков, я готов принять на себя тяжкое бремя власти».

Штандартенфюреру Цандеру позвонили из бункера через двадцать секунд после того, как

сообщение было расшифровано и распечатано в пяти экземплярах: для фюрера, Бормана, Геббельса, Кейтеля и полковника фон Белова, являвшегося координатором среди посланников ведомств при ставке.

Через три минуты телеграмма была доложена Борману.

Тот достал из сейфа листок, заранее напечатанный под его диктовку Цандером еще позавчера вечером, и отправился к Гитлеру.

— Фюрер, — сказал Борман, притворяясь испуганным, — свершилось страшное: вас предал Геринг.

Гитлер не сразу понял смысл сказанного Борманом: он читал письма Вагнера, делая отметки на полях разноцветными карандашами; как раз сейчас он чиркал те абзацы, в которых композитор описывал свое бегство в Швейцарию после подавления революции в Германии, свое отчаяние первых дней и надежду на то, что все изменится, ибо духу времени угодно созидание того *нового*, что объединит нацию.

Он недоумевающе посмотрел на Бормана, потом лишь осознал смысл сказанного, приподнялся в кресле и, опершись на подлокотники, закричал:

— Не смейте! Замолчите, Борман! Я приказываю вам не сметь!

— Мой фюрер, — тягуче повторил Борман, и в голосе его не было обычных успокаивающих ноток, — вы преданы Герингом, вот текст его ультиматума, извольте ознакомиться с ним и подписать приказ, в котором вы отдаете его под юрисдикцию военно-полевого суда с приказом расстрелять изменника!

— Вы не смеете говорить так, — сломавшись, жалобно попросил Гитлер. — Это провокация врагов... Герман был со мною с первых дней; вы жестоки, Борман, он мне всегда говорил, как вы жестоки...

— Позвольте мне в таком случае уйти? — по-прежнему тягуче спросил Борман, положив на столик, возле книги Вагнера, телеграмму Геринга и проект приказа о его разжаловании.

— Сядьте, — сказал Гитлер. — Как вам не совестно? Есть у вас сердце? Или вместо него в вашей груди камень?

— Мое сердце разорвано любовью к вам, фюрер, я живу много лет с постоянной болью в сердце...

Гитлер прочитал телеграмму дважды, отложил текст, удивился:

— Но я не вижу в его словах измены, Борман...

Он требует ответа, прежде чем объявит себя преемником...

Борман поднялся, поклонился Гитлеру, пошел к двери.

— Погодите! — воскликнул Гитлер, и в голосе его слышалось отчаяние. — Вы не согласны со мною?

— Фюрер, ребенок всегда трагично реагирует, когда родители слишком добры к старшему сыну, жестокому эгоисту, прощая ему все, что угодно, и несправедливы к младшему — кроткому и любящему.

— Что все это значит, Борман?! Объясните мне, я лишился возможности понимать...

— Если бы я сказал вам: «Фюрер, вы не можете более руководить работой партии, я даю вам сутки для того, чтобы вы добровольно передали мне функцию вождя», как бы вы отнеслись к такого рода пассажу?

— Геринг! — тихо сказал Гитлер, прочитав еще раз текст телеграммы. — Герман, которого я дважды выводил из-под партийного суда за его тягу к роскоши и вольностям в личной жизни... Человек, который всегда был подле, добрый, доверчивый брат с ликом гладиатора и сердцем ребенка... Геринг! — Гитлер сорвался на крик,

словно бы чувствуя, как угодна сейчас Борману истерика. — Грязный боров! Изменник! Гнусный сластолюбец! Человек, разложенный роскошью и богатством, погрязший в алчной жажде наживы! Я проклинаю тот день, когда встретил его!.. Я...

— Там все написано. — Борман кивнул на листок бумаги, заранее напечатанный Цандером. — Нужна ваша подпись...

— Нет, — сказал Гитлер, прочитав проект приказа. — Я не стану это подписывать. Составьте документ в том смысле, что Геринг обратился ко мне с просьбой об освобождении его от звания рейхсмаршала, президента рейхстага, премьера Пруссии, фюрера четырехлетнего плана развития национального хозяйства и моего преемника в связи с обнаружившимися признаками сердечной недостаточности... Нация должна верить в то, что все мы едины, как и раньше...

Тем не менее через семь минут после того, как этот приказ Гитлера был обнародован, в Берхтесгаден ушла телеграмма Бормана гауляйтеру Фишлю и бригадефюреру Брусу:

«Поскольку Геринг лишен фюрером звания рейхсмаршала и командующего люфтваффе, его надлежит арестовать,

где бы он ни находился, и содержать под стражей вплоть до особого распоряжения о его дальнейшей судьбе».

А в это время Геринг был уже на дороге в штаб американской дивизии, командир которой выстроил почетный парад для встречи второго человека рейха, преемника, рейхсмаршала и *солдата*.

Его машину успели окружить эсэсовцы, охранявшие архив НСДАП; приказ, подписанный Борманом, оказался для них выше личности бывшего рейхсмаршала, которому они еще минуту назад, до получения *бумаги*, подчинились бы ликующе, но, поскольку «порядок превыше всего», слово стоявшего на одну лишь ступень выше оказалось сильнее здравого смысла: они готовы были растерзать Геринга по первому же слову из *подвала*.

Информация к размышлению — X (Шелленберг)

...Каждый работал на себя; каждый думал только о себе; блоки заключались лишь для того, чтобы получить минутную выгоду, записать ее на свой счет и немедленно расторгнуть, как только возникала возможность нового блока — в лихорадочном пути к личному спасению.

Шелленберг спал в машине. Последнюю неделю он практически не появлялся в РСХА; новые отношения с Мюллером давали ему такого рода возможность. Мюллер страховал его от Кальтенбруннера, хотя и с тем Шелленберг то и дело входил в соглашения, расторгавшиеся сразу же, как только он видел бо´льшую выгоду в Гиммлере, а Кальтенбруннер — в Бормане; однако время было такое, что все они, снедаемые взаимной ненавистью, не могли, тем не менее, обходиться друг без друга.

...В Хохенлихен к Гиммлеру Шелленберг приехал на этот раз с севера, где провел очередную беседу с графом Бернадотом.

— Рейхсфюрер, так дальше нельзя. Вы должны

понять: война проиграна! — сказал Шелленберг своему шефу, который, устроившись возле камина, читал Плутарха; аккуратно наколотые дрова шипяще лизал огонь, пахло *уютом* и *миром*; кофе был заварен настоящий, бразильский (кофеин не был выпарен на нужды фронтовых госпиталей). Закатное небо было багрово-синим, спокойным и прекрасным; ничто не напоминало здесь, в дубовом лесу, охраняемом полком СС, про то, что русские рвутся к Берлину, американцы катятся лавиной в Тюрингию и Саксонию, англичане беспрерывно бомбят города и автострады; в нетопленых квартирах умирают голодные дети, а на улицах по-прежнему вешают солдат с табличками на груди: «Я — дезертир и паникер, посмевший сказать, что война проиграна!»

— Ах, Вальтер, не сгущайте краски, — откликнулся Гиммлер. — Вы вечно паникуете... Военные заверили меня, что Берлин неприступен, что Сталин будет разгромлен в Берлине.

— Военные обязаны вам лгать, иначе вы прикажете расстрелять их. Они хотят выжить, поэтому лгут. А я хочу жить, потому и говорю вам ту правду, которую так неприятно слушать. Рейхсфюрер, граф Бернадот согласен отвезти в американский штаб ваши мирные предложения и вручить их

Эйзенхауэру. Дайте мне санкцию, и завтра же начнутся переговоры... На сей раз не наш Карл Вольф входит с такой инициативой, а граф Бернадот, человек мировой репутации, который, так же как и все европейцы, справедливо опасается русского вторжения на Запад. Я ничего не прошу, кроме вашего согласия на *мой* поступок.

— Отвечать за ваш поступок перед фюрером все равно придется мне, Вальтер.

— История не простит вам пассивности, — горько сказал Шелленберг. — Вы будете отвечать перед нацией за то, что она окажется под пятой красных...

Гиммлер досадливо отложил Плутарха.

— Вы знаете, что организация СС была создана как гвардия фюрера, Вальтер! Я, ее создатель, не могу стать предателем!

— Предателем? Кого же вы предадите? Безумного, ничего не соображающего маньяка, который тащит нас за собою в могилу?!

— Вы что же, предлагаете мне сместить фюрера? — саркастически спросил Гиммлер.

— Именно это я вам и предлагаю, — ответил Шелленберг. — У вас еще достаточно верных вам людей. Арест Гитлера — вопрос минуты. У вас развязаны руки. Полная капитуляция на Западе,

начало борьбы на Востоке, куда мы перебросим все наши войска, разве вы не видите в этом ваш долг?!

Гиммлер даже всплеснул руками:

— А как я скажу об этом нации, которая боготворит фюрера?

— Нация его ненавидит! — жестко возразил Шелленберг. — Нация всегда ненавидит того лидера, который привел ее к катастрофе, нация боготворит победителя, это хорошо написано вот здесь. — Он кивнул на том Плутарха.

— Нет, нет, нет! — повторил Гиммлер и, поднявшись, начал быстро ходить по кабинету. — Я не могу предать прошлое! Вы не помните тех дней, когда мы шли к власти, вы не помните тех лет триумфа, когда мы все были как братья, когда мы...

Шелленберг, чувствуя непомерную усталость, раздраженно перебил:

— Рейхсфюрер, какие братья? О чем вы? Разве Рэм не был братом фюрера? Или Штрассер? Но ведь их расстреливали, как бешеных собак. Не надо о прошлом, рейхсфюрер! Думайте о будущем... Вы обратитесь к нации с призывом объединиться для борьбы против красных, сообщите о капитуляции на Западе и о тяжелой болезни Гитлера,

которая подвигла его на то, чтобы передать вам власть!

— Но он здоров!

— Его нет попросту, — так же устало, а потому не думая о протоколе, сказал Шелленберг. — Есть оболочка, миф, тень... И, тем не менее, этой тени поверили, когда он пробормотал о смещении Геринга по собственной просьбе в связи с сердечным приступом... И вам поверят, сейчас поверят всему...

...Назавтра рано утром Шелленберг привез к Гиммлеру руководителя имперского здравоохранения профессора де Крини. Тот поначалу мялся, вспоминал личного врача Гитлера штандартенфюрера Брандта, оказавшегося изменником, а потом, когда Гиммлер дал ему *взятку*, приказав срочно уехать в Оберзальцберг, сказал, понизив, тем не менее, голос — нет ничего устойчивее инерции страха:

— Фюрер совершенно болен. Его психическая субстанция на грани распада. Теперь, когда рядом с ним нет Брандта, — он может сойти с ума в любую секунду.

Гиммлер, отпустив Крини, спросил Шелленберга:

— И вы думаете, он не доложит о моей беседе

Борману?

— Он уедет в Оберзальцберг, рейхсфюрер, — усмехнулся Шелленберг. — Он не станет звонить в бункер, он счастлив, что смог вырваться, он здравомыслящий человек...

— Ну хорошо, допустим... Я говорю о бредовом вероятии, Шелленберг, не более того... Допустим, я отправляюсь в рейхсканцелярию с моими людьми... Допустим, я войду в кабинет фюрера и скажу, что смещаю его... Этот трясущийся больной человек не сразу поймет, о чем я говорю: ведь он так доверчив, он верит людям, как ребенок, мы все были с ним рядом, мы... Как я посмотрю ему в глаза?

«И этот человек возглавлял СС, — подумал Шелленберг тоскливо. — Я служу ничтожеству, все они лишены полета, они раздавлены страхом, который сами же возвели в культ, они пожинают то, что посеяли...»

— Рейхсфюрер, пока вы говорили с де Крини, я позвонил в Любек. В Стокгольм прилетел представитель Всемирного еврейского конгресса Шторх, он просит об аудиенции. За ним стоят серьезные люди с Уолл-стрита. Поймите, встретившись со Шторхом, вы сможете объяснить ему, что антисемитизм — это детище Гитлера, вы тут ни при чем,

вы делали и делаете все, чтобы спасти евреев, оставшихся в концлагерях. Мир ведь ненавидит нас за то, что мы проводили дикую политику антисемитизма, поймите! Если вы не отмежуетесь от Гитлера, вам не простят этого варварского средневековья не только Рузвельт и Сталин с Черчиллем, вам не простит этого история. И немцы не простят! Они спросят: «Ну ладно, мы сожгли и изгнали евреев, их нет больше в Германии, но отчего же мы умираем с голода, отчего нас бомбят, отчего мы — без евреев — проиграли войну?» Что вы им ответите? А Шторх — это торговля. Он представит вас на Западе спасителем этих самых евреев, только б вы сейчас исполнили то, чего они хотят...

— Но Гитлер не перенесет этого! Вы же знаете, как он болезненно относится к еврейскому вопросу, Вальтер!

— Да черт с ним, с этим еврейским вопросом! Перед нами встал во весь рост немецкий вопрос, это главное! А мы продолжаем цепляться за бред маньяка, который ничего не хочет знать, кроме этих своих треклятых евреев! Да пусть они провалятся в тартарары! Думайте о немцах, рейхсфюрер, хватит ломать голову по поводу евреев!

— Нет, — ответил Гиммлер. — Этого фюрер не перенесет... Погодите, Вальтер, не жмите на меня, я должен немного свыкнуться с теми соображениями, которые вы мне высказали.

— Сколько времени намерены свыкаться? — *прыгающе* усмехнулся Шелленберг; лицо дрожало, глаза слезились, будто песку насыпали, язык был большим, распухшим, черным от бесконечного курения. — Вам не отпущено более времени. Когда я говорю вам — верьте мне. Думая о себе, я думаю и о вас, ибо только вы *пока* можете реализовать наше общее спасение, ибо вы представляете собою фермент власти в рейхе. Вам отпущены часы, рейхсфюрер. Пока еще вы имеете силу, но, когда русские окончательно окружат Берлин, вы перестанете интересовать на Западе кого бы то ни было...

— Как вы можете говорить так?! — жалобно спросил Гиммлер. — В конечном счете я министр внутренних дел и рейхсфюрер войск СС!

— Пока, — ответил Шелленберг. — Простите, что я резок, но я не имею права лгать вам более, потому и повторяю: *пока*.

Аберрация представлений, память о былом величии, неумение ощущать пространство и время, отсутствие чувственного начала сыграли

свою страшную, но в то же время закономерную игру и с Гиммлером, и с Шелленбергом.

Они строили планы, лихорадочно носились по дорогам рейха, забитым колоннами беженцев; охрана сталкивала людей в канавы, а то и просто стреляла в них; шли бесконечные телефонные разговоры со Стокгольмом, Любеком, Берном; никто из них не хотел, а скорее, не мог уяснить себе, что сейчас все решало постоянное, грохочущее, ежеминутное передвижение русских танков и артиллерии, выходивших на исходные позиции для атаки центра Берлина...

Однако недостойным и — для будущих судеб мира — трагичным было то, что целый ряд людей на Западе, красиво и проникновенно говоривших о демократии, справедливости и национальном равенстве, постоянно поддерживали контакт с теми нацистами, которые являли собою самое страшное порождение тирании, какой не было еще в истории человечества.

Их контакты с гитлеровцами не могли не быть тайными, но об этих контактах знал Кремль, и поэтому, ясное дело, там конденсировалось то, в чем потом неоднократно обвиняли Москву: недоверчивость по отношению к Западу. Если бы к такого рода подозрительности не было ос-

нований, тогда одно дело, но ведь основания для этого были, да еще какие: за спиной государства, принесшего миру избавление от ужаса нацизма, со злейшим представителем этого чудовищного строя, с автором его карательной политики действительно поддерживали постоянный контакт в поисках компромиссного соглашения — и не против кого-либо, а против тех, кто честнее всех других исполнял свой долг в борьбе против гитлеризма...

Наблюдая за активностью Шелленберга, который в Берлине по-прежнему не появлялся, Мюллер отправил шифрованную телеграмму своему представителю в посольстве в Стокгольме и поручил завершить заранее начатую операцию, смысл которой сводился к тому, чтобы американцы смогли *«подкупить»* шифровальщика гестаповской группы, и среди целого ряда кодов в их руки должен был попасть ключ к тем телеграммам, которые отправлял в Москву Штирлиц.

Это — по логике Мюллера — не могло не подтолкнуть Донована к дальнейшей активности. В Вашингтоне не могли не оценить возможных последствий после того, как Москве стало известно от «Юстаса» обо всех контактах, которые Шелленберг наладил с Бернадотом, Музи и Штор-

хом; это предполагало безотлагательные шаги в том или ином направлении. Либо Вашингтон должен протянуть руку рейхсфюреру и срочно заключить сепаратный мир, чтобы противостоять большевистской лавине, либо он должен открыто отмежеваться от Гиммлера. Но в этом случае в рейхе остается только одна сила — Борман. Лишь он становится полноправным преемником фюрера — его идей, тайных хранилищ ценностей, всей зарубежной сети НСДАП.

Мюллер знал, что, после того как Гиммлер все-таки решился на переговоры с представителем американских сионистов Шторхом и подписал соглашение о тех еврейских финансистах, которые еще не были уничтожены в газовых камерах, активность Шелленберга возросла до уровня совершенно поразительного: он делал по тысяче километров в сутки, ел и спал в своем автомобиле, держался на сильных возбуждающих препаратах, высох, и под глазами у него набрякли старческие мешки.

Накануне решающих бесед Гиммлер — как стало известно Мюллеру — встретился с заместителем министра финансов фон Крозигом и министром труда Зельдте.

Крозиг настаивал на немедленных открытых

переговорах с Эйзенхауэром; Зельдте внес предложение понудить Гитлера выпустить прокламацию, в которой следует объявить плебисцит по поводу создания оппозиционной партии и роспуск военно-полевых судов, превративших рейх в тюремный двор, уставленный виселицами.

...На следующий день в осажденный Берлин прилетели граф Бернадот и представитель Всемирного еврейского конгресса Мазур; Шелленберг — в эсэсовском мундире — встретил их на военном аэродроме Темпельхоф, всего в нескольких километрах от ставки Гитлера.

Первая конференция между Гиммлером и Мазуром в присутствии Шелленберга состоялась в Хартцвальде; секретарь Гиммлера штандартенфюрер Брандт, работавший с ним пятнадцать лет, пытался было стенографировать беседу, но Шелленберг попросил его не делать этого, заметив, как растерян Гиммлер, как странно он себя вел, как заискивающе улыбался эмиссару сионистской организации, убеждая его, что во всех «недоразумениях» с евреями виноваты безответственные астрологи, сбившие с толку ряд старых деятелей НСДАП...

— Главное, что нас заботит в настоящее время, — перебил Мазур рейхсфюрера, — это жизнь

американских, английских и немецких евреев, томящ... находящихся в ваших... в концентрационных лагерях Германии. Если вы гарантируете нам, что их не уничтожат, мы готовы выполнить все то, о чем вы нас просили.

Шелленберг поинтересовался:

— А как быть с русскими и польскими евреями?

Мазур пожал плечами:

— Я не уполномочен решать этот вопрос, пусть ими занимаются Сталин и Берут, я достаточно точно определил сферу моего интереса...

— Да, но я уже приказал передать американцам список всех тех мест, где интернированы лица еврейской национальности, — заметил Гиммлер. — Я действительно стоял когда-то за высылку евреев из рейха — на удобных пароходах или поездах первого класса, никак не посягая на их человеческое достоинство, не моя вина, что это...

Теперь его перебил Шелленберг:

— Господин Мазур, вы гарантируете, что пресса, которую вы контролируете, скажет свое веское слово о той благородной позиции, которую занял рейхсфю... господин министр внутренних дел Гиммлер и его ближайшие сподвижники?

— Бесспорно, — ответил Мазур. — В случае если

вы сохраните жизни несчастных — в первую очередь нас интересуют те люди, фамилии которых я приготовил: это члены семей и родственники самых уважаемых бизнесменов, — пресса, на которую мы можем повлиять, скажет правду о благородной позиции, занятой рейхсфю... господином министром внутренних дел Гиммлером и вами...

— Я не один, господин, Мазур. Я бы ничего не смог сделать для вас, не будь нас тысячи — всех тех, кто всегда и во всем стоял рядом с господином Гиммлером...

— Я готов приказать сейчас же, — заметил Гиммлер, — чтобы в женском концлагере Равенсбрюк всех евреек назвали англичанками или польками, это избавит их от возможной некорректности со стороны тех охранников, семьи которых погибли во время бомбежек, — ужасное время, люди так озлоблены, все может случиться...

После того как договоренность с Мазуром была достигнута и его увезли на военный аэродром, чтобы отправить в Стокгольм, Гиммлер и Шелленберг поехали в штаб-квартиру, в Хохенлихен, — там их уже ждал граф Бернадот.

— Вы должны мне помочь встретиться с Эйзен-

хауэром, — холодея от ужаса, сказал Гиммлер. — Мы с ним солдаты, мы договоримся о мире. Я готов капитулировать на Западе, лишь бы удержать на Востоке большевиков...

Бернадот кашлянул, тихо ответил:

— Я постараюсь сделать все, что могу, рейхсфюрер...

А после встречи (Брандт, секретарь Гиммлера, все слышал своими ушами и сообщил об этом Мюллеру; тот в свое время спас его сестру от ареста — увлеклась поляком, — на этом секретарь Гиммлера был *схвачен*; с тех пор *освещал* своего шефа его же подчиненному, но такому, который — по диким нормам рейха — был вправе знать все обо всех), когда Гиммлер остался в кабинете, Бернадот, садясь уже в машину, сказал Шелленбергу:

— Рейхсфюрер опоздал со своим предложением на пару недель. Он должен был сказать мне о своем желании сдаться на Западе, пока еще русские не начали окружать Берлин. Время Гиммлера кончилось. Думайте о себе, милый Шелленберг, думайте о себе серьезно...

— В каком направлении? — жалко спросил бригадефюрер.

Захлопывая дверцу машины, Бернадот отве-

тил:

— Попробуйте добиться капитуляции ваших войск в Норвегии и Дании, думаю, это зачтется вам в будущем...

Телеграмму обо всех событиях Мюллер отправил в Центр, в Москву, зашифровав ее кодом Штирлица, известным уже американцам.

Каждую минуту, каждый час он был намерен использовать для того, чтобы вбивать клинья, раскачивать их, словно бы рыхля землю, когда ставишь на ночь большую палатку возле озера, где плещутся длинные голубоглазые щуки в тихих зарослях камыша.

Каждую минуту, каждый час надо делать все, чтобы росла подозрительность, чтобы Восток и Запад, идущие навстречу друг другу по Германии, проникались недоверием, которое так легко *сообщить* людям, сидящим за штурвалами истребителей и у смотровых щелей танков. Все что угодно, только не колебание. Гиммлер колебался, вот и проиграл. Мюллер не знает колебаний, он исповедует действие, поэтому у него есть шанс выиграть.

Через два часа разведка флота, перехватившая телеграмму «Юстаса — Центру», доложила

президенту Трумэну текст расшифрованного сообщения, ибо ключ от кода был сообщен из Стокгольма накануне вечером.

Трумэн собрал узкий штаб своих наиболее доверенных советников.

— Бернадот прав: Гиммлер опоздал, — сказал президент. — Но русские теперь знают все. Скандал может быть громким. Мы не боимся скандала, но в данном случае престижу Соединенных Штатов будет нанесен урон. Какие предложения, друзья?

После долгого совещания пришли к выводу, что следует — по дипломатическим каналам — сообщить Кремлю, что президент готовит чрезвычайное сообщение Сталину, связанное с предложениями, которые переданы нацистами американским представителям в Стокгольме.

Было поручено передать Москве на словах, что предложения нацистов о сепаратном мире будут отвергнуты, однако необходимо время для того, чтобы проанализировать, не есть ли это провокация Гиммлера. После этого Трумэн сообщит маршалу все подробности в личном послании...

Выгадывали не дни — часы.
Всяко может статься.
Главное — выждать.

Информация к размышлению — XI (Снова полковник Максим Максимович Исаев)

Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь — тщеславное свидетельство хозяйского богатства, а не коллекция прекрасных творений рук человеческих; изумительные, похожие на горные цветы бокалы соседствовали с пузатыми, чрезмерно вместительными графинами; рядом с ломкими коньячными рюмками были расставлены тяжелые стаканы. Даже солнечные лучи в них не были сине-высверкивающими, легкими, стремительными, а какими-то жухлыми, устойчивыми, изнутри серыми...

...Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.

«Очень будет смешно, — подумал Штирлиц, — если мне придется бежать, волоча за собою эту койку... Сюжет для Чаплина, ей-богу...»

Он постоянно прислушивался к далекой кано-

наде; только б они успели, я ведь погибну здесь, у меня остались часы. Ребята, вы уж, милые, постарайтесь прийти, я так мечтал все эти годы, что вы придете... Я очень старался сделать то, что мог, только б приблизить эту минуту; наверное, мог больше, но вы не вправе корить меня; каждый человек на земле реализует себя на десятую часть, какое там, на сотую, тысячную; меня *несло*, как и всех, — жизнь так стремительна, она диктует нам самих себя, мы выполняем то, что она холодно и небрежно предписывает нам, хотя и нет письменных указаний; темп, постоянно изнуряющий темп, а мне еще приходилось разрываться между тем, что я был обязан делать поневоле, здесь, только б иметь возможность выполнить главное, и тем, что мне по-настоящему хотелось...

Вошел Ойген, присел рядом, поинтересовался:

— Хотите повернуться на правый бок?

— Я лежу на нем, — ответил Штирлиц.

— Ах, ну да, — усмехнулся Ойген. — Я всегда путаю, когда гляжу на другого... Повернуть вас на левый бок? Не устали?

— Поверните. А лучше бы посидеть.

— Сидеть нельзя. Врач, который станет работать с вами — если не поступит ответа из Москвы, — просил меня проследить за тем, чтобы вы

лежали...

— Ну-ну, — ответил Штирлиц. — В таком случае полежу...

— Хотите закурить?

— Очень.

— Сочувствую, но курить вам тоже запрещено.

— Зачем тогда спрашивали?

— Интересно. Мне интересно знать, что вы сейчас ощущаете.

— Знаете, что такое фашизм, Ойген?

Тот пожал плечами:

— Национальное движение передовых сил итальянского народа...

— В мире люди путаются: фашизм, национал-социализм, кагуляры...

— Путаются оттого, что плохо образованы. Разве можно ставить знак равенства между французскими кагулярами и арийским национал-социализмом?

— Можно, Ойген, можно... Я вам расскажу, как впервые понял значение слова «фашист» здесь, в Германии... Хотите?

Закурив, Ойген ответил:

— Почему ж нет, конечно расскажите...

— Это было в тридцать втором, еще до того, как Гитлер стал канцлером... Я приехал в Шарлот-

тенбург, улочки узкие, надо было развернуться; возле пивной стояли две машины; вокруг них толпились люди в коричневой форме, они обсуждали речь Геббельса, смеялись, спорили, вполне, казалось бы, нормальные члены СА. Я спросил, нет ли среди них шоферов, чтобы те подали свои машины вперед, чуть освободив мне место. Нет, ответили мне, нет здесь шоферов... Я корячился минут пять, разворачивая свой «опель», пока, наконец, кое-как управился, а коричневые все это время молча наблюдали за мною, а потом спросили, где это я так лихо выучился владеть искусством проползания на машине сквозь полосу препятствий... Когда, припарковавшись, я вышел, двое коричневых из тех, кто смеялся надо мною, поприветствовали друг друга возгласом «Хайль Гитлер!», сели в эти злосчастные автомобили и разъехались в разные стороны... Когда нравится смотреть на страдания — или даже просто неудобства другого человека — это и есть фашизм... Но для вас, хорошо образованного, я уточню: это и есть настоящий национал-социализм...

Ойген сжал кулаки, хрустнул толстыми костяшками пальцев, поросших бесцветными мягкими волосками, сокрушенно вздохнул:

— Группенфюрер запретил мне работать с вами

так, как вы того заслуживаете, Штирлиц... А то я бы продемонстрировал вам, что такое германский национал-социализм, когда он встречается с русским нигилистическим большевизмом...

И, склонившись над Штирлицем, он близко заглянул ему в глаза, а потом плюнул в лицо.

— Вот так... Этого мне группенфюрер не запрещал, я никак не ослушался приказа...

Около двери он остановился, обернулся к Штирлицу и заключил:

— А попозже я вам до конца объясню, что такое большевистский нигилизм, ох и объясню, Штирлиц...

Когда он плотно закрыл за собою дверь, Штирлиц вытер лицо о подушку, ощутив, какая вонючая слюна у этого длинного животного, и вдруг совершенно неожиданно очень явственно и близко увидел лицо Вацлава Вацлавовича Воровского; тот пришел к ним на цюрихскую квартиру, когда папа организовал диспут о русской литературе, пытаясь хотя бы как-то, поначалу в области культуры, найти путь к компромиссу между его единомышленниками, членами меньшевистской фракции Мартова, и ленинцами.

Максим всегда помнил, как отец страдал из-за разрыва, случившегося между Ильичом и Мар-

товым; понимая, однако, что прав Ленин, он продолжал оставаться с меньшевиками; «Я не могу бросить тех, с кем начинал; да и потом мы слабее, — объяснял он сыну, — а я уж так устроен, что защищаю слабых; не нападай на меня, хотя я понимаю, что пятнадцать лет — особый возраст, атакующий, что ли, особенно чуткий на правду и отклонение от нее; понимание и милосердие приходят позже; я буду ждать; только б дождаться; все отцы мечтают только об одном — дождаться».

Воровский тогда выступал с коротким докладом о сущности нигилизма в русской литературе.

Юноша впервые сидел среди взрослых, поэтому впечатление того вечера навсегда осталось в его памяти, он помнил происходившее тогда в деталях, до мелочей, он и по сию пору явственно видел, что на левом рукаве коричневого пиджака Воровского была оторвана третья пуговица, а серая рубашка заштопана белыми нитками...

...Сколько уж десятилетий ведутся в России жаркие споры по поводу буквы «ять», говорил тогда Воровский, и всем ясно, что буква эта не нужна, она лишняя, ничего в себе не несет, тем не менее, она по-прежнему существует, дети, не понимающие ее, получают два балла за грамматику,

плачут, страдают, а ведь вся суета мира не стоит детской слезинки, Достоевский жестко сформулировал проблему человеческой морали... Так же и с нигилизмом... Спорим, спорим, а к определенному выводу до сих пор не можем прийти, хотя сделать это необходимо... Когда начинают отсчет нигилизма с тургеневского Базарова, я не могу не восстать против этого... В такого рода концепции есть своего рода патриотизм навыворот; люди словно бы хотят показать, будто раньше такого в России не было, а это ошибочно.

Воровский тогда процитировал маленький отрывок, сказав, что интересно было бы послушать соображения — чьи слова он привел; «это сделает наш диспут более открытым, демократичным, общим».

Он тогда наизусть, певуче прочитал слова о том, что «у всех народов бывают периоды страстной деятельности, периоды юношеского развития, когда создаются юношеские воспоминания, поэзия и плодотворнейшие идеи; в них источник и основание дальнейшей истории... Мы же не имеем ничего подобного... В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем унизительное владычество татар-завоевателей, следы которого в нашем образе жизни не из-

гладились и поныне... Наши воспоминания не дальше вчерашнего дня, мы чужды самим себе».

А потом Воровский улыбнулся своей холодной, чуть надменной улыбкой (отец позже сказал: «Не думай, что он на самом деле надменен; он просто таким манером прячет свою мягкость, он очень ранимый человек, хрупок, как дитя») и — чуть откинув голову — прочитал второй отрывок:

— «Мы, русские, искони были люди смирные и умы смиренные. Так воспитала нас наша церковь. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению; ему мы обязаны своими лучшими свойствами, свойствами народными, своим величием, своим значением в мире. Пути наши не те, по которым идут другие народы»...

В большой комнате, где сидело тогда человек двадцать, стало шумно, люди переговаривались, слышалось: «Белинский», «Аксаков», «Хомяков».

Воровский, покачав головою, снова улыбнулся:

— Нет, товарищи, и не Белинский, и не Аксаков. Обе цитаты взяты мною из Чаадаева — раннего и предсмертного. Первая выдержка относится к началу тридцатых годов, это отрывок из его знаменитого письма, за которое мыслителя объявили безумцем; вторая — его покаянное обращение к власть предержащим... Первое выступление

было порождено горестной обидой за Пушкина, за дух России той поры, когда все вокруг было навязано человеку: у него не было выбора, каждый шаг его был зарегламентирован, запрещений тьма, разрешений на мысль и поступок нет и в помине... Именно эта ограниченность поступков, деятельности, мысли и породила нигилизм Чаадаева — абсолютная свобода от навязываемых понятий, которые не дают развиваться уму, обращать свой взор к неведомому... Нигилизм не есть врожденное качество плохого человека, он есть порождение полицейщины, бюрократии, тупых запретов... Но при этом нигилизм Чаадаева был одним из проявлений барственности русской литературы той поры... Нигилисты — по меткому определению славянофилов — знали, чего они не хотели, но не знали, чего хотят... И винить Чаадаева в его барственности подобно тому, как обвинять время за то, что оно тридцать лет терпело в России Николая Палкина... Даже то, что тогдашние нигилисты открыто сформулировали, чего они не хотят, было поступком, шагом на пути прогресса. Базаров был развитием новой русской общественной мысли, но отсчет ее я начинаю не с Чаадаева, а с Радищева, когда впервые был поставлен вопрос о подлинном

понятии чести и совести, о смысле личности в истории общества...

...Исаев часто вспоминал тот вечер в доме папы; он не сразу понял, отчего в память так врезался Воровский, его излишне спокойная манера говорить о наболевшем, о том, что вызывало тогда такие яростные споры (папа грустно улыбался, когда они той ночью мыли чашки на кухне, а потом подметали пол в большой комнате: «По-моему, я, как всегда, сделал прямо противоположное тому, что хотел, — все еще больше рассорились, вместо того чтобы хоть как-то замириться... Я верю, в России вот-вот произойдут события, власть изжила самое себя, мы вернемся домой, но мы разобщены, какая досада, боже ты мой...»). Исаев понял, отчего он так запомнил тот вечер, значительно позже, когда начал работу в гитлеровской Германии... Отсутствие общественной жизни, ощущение тяжелого, болотного запаха царствовало в рейхе; либо истерика фюрера и вой толпы, либо ранняя тишина на улицах и расфасованность людей по квартирам: ни личностей, ни чести, ни достоинства... Прекрасный дух жаркого спора, которому он был свидетелем в Цюрихе осенью пятнадцатого, был неким кругом спасения в первые годы его работы в рейхе; он

помнил лица спорщиков, их слова; его — чем дальше, тем больше — потрясала *убежденность* русских социал-демократов в их праве на поступок и мысль, угодные народу, они были готовы взять на себя ответственность во имя того, чтобы вывести общество из нивелированной общинной одинаковости к осознанному союзу личностей с высоким чувством собственного достоинства, то есть чести; людей, обладающих правом на поступок и мысль...

«Какой же я счастливый человек, — подумал он, — какие поразительные люди дарили меня своим вниманием: Дзержинский, Кедров, Артузов, Трифонов, Антонов-Овсеенко, Менжинский, Блюхер, Постышев, Дыбенко, Воровский, Орджоникидзе, Свердлов, Крестинский, Карахан, Литвинов, — господи, кому еще выпадало такое счастье в жизни?! Это как спасение, как отдых в дороге, как сон во время болезни, что я вспомнил их и они оказались рядом со мной... Ну почему я так явственно всех их увидел именно сейчас, когда это так нужно мне, когда это спасение?.. Я снова вспомнил все это оттого, что Ойген сказал про нигилизм, — понял Штирлиц. — Как странно: посыл зла рождает в тебе добро, неужели и это тоже закономерно?»

Он снова ощутил в себе часы, а значит, ожидание. Он не мог более ждать, это страшное чувство разрывало его мозг, плющило тело, сковывало движения, рождало тоску...

«Наши успеют, — сказал он себе, — обязательно успеют, только не думай об этом постоянно, переключись на что-нибудь... А на что мне переключаться? Альтернатива безысходна: если наши не войдут сюда — меня убьют. И все. Обидно, — подумал он, — потому что я относился к числу тех немногих, живших все эти годы в Германии, но вне *той* Германии... Я поэтому точнее многих понимаю ее, а ее необходимо понять, чтобы рассказать правду о том, какой она была, — это необходимо для будущих поколений немцев... Странное ощущение было даровано мне все эти годы: быть в стране, но ощущать себя вне этой данности и понимать, что такая данность не может быть долговечной... Кто-то верно говорил, что Леонардо да Винчи в своей работе соприкасался со следующим столетием, потому что его ничто не связывало с микеланджеловским идеалом формы: он искал смысл прекрасного в анатомии, а не во внешней пластике... Он был первым импрессионистом, оттого что отрекся от телесных границ формы, чтобы понять суть пространства...

Леонардо искал не тело, а жизнь... Правильно, Максим, — похвалил он себя, — продолжай хитрить, думай про то, о чем тебе интересно думать, ты ведь все эти годы был лишен права слова, ты обязан был не просто молчать, это бы полбеды, тебе здесь приходилось говорить, и ты должен был говорить то, во что ты не верил, ты обязан был повторять такие слова, которые ненавидел, порою тебе хотелось закричать от ярости, но ты умел сдерживать себя, потому что любой поступок обязан быть целесообразным, иначе это каприз, никакой пользы делу, невыдержанность, неумение ждать, веруя... Ну вот, снова ты пришел к этому треклятому слову *«ждать»*... А что я могу поделать, если оно сейчас клокочет во мне? Я же человек, понятие «предел» присуще мне, как и всем людям, что я, лучше других?»

— Вилли! — крикнул он. — Отведите меня в туалет!

Пришел Вилли, снял наручники, вывел из комнаты. Когда проходили по коридору — длинному, *путаному*, как и во всех старых берлинских квартирах, мимо дверей, обитых красной кожей, Штирлиц слышал голоса людей, которые быстро, перебивая друг друга, диктовали машинисткам, и из этой путаницы он явственно выделил зна-

комый голос штурмбанфюрера Гешке из личной референтуры Мюллера:

— Поскольку бывший французский министр Рейно окружен теперь почетом, как жертва так называемого нацизма, — *рубил* Гешке, вкладывая в интонацию свое отношение к тексту, — следует учитывать, что его секретарь, весьма близкая ему Мадлен Кузо, была завербована вторым отделом абвера и давала не только весьма ценную информацию о связях ряда членов семьи арестованного министра, но и выполняла оперативные поручения; следовательно, мы имеем возможность в будущем подойти к ней, заставив...

— Тише! — крикнул Вилли. — Я веду арестованного! Прекратить работу!

— Думаете, смогу убежать? — поинтересовался Штирлиц. — Боитесь, что открою французам ваши тайны?

— Убежать не сможешь... А вот если тебя отпустит группенфюрер...

— Думаешь — может?

— Как только придет ответ из твоего Центра — отпустит.

— Зачем же тогда держать меня в наручниках?

— Так ведь ответ еще не пришел... А придет — тебе не с руки бежать, русские расстреливают

тех, кто начал на нас работать... Станешь, как бездомный песик, ластиться к ноге нового хозяина...

Штирлиц вошел в туалет, прислонился спиной к двери, быстро разорвал то место в подкладке, где постоянно хранил кусочек лезвия золингенской бритвы, сжал ее большим и указательным пальцами, ощутив звенящую податливость металла, и спросил себя: «Ну что, Максим, пора? Говорят, кровь сойдет через пять минут, в голове будет шуметь, и начнется тихая, блаженная слабость, а потом не станет ни Мюллера, ни Ойгена, ни Вилли, ни всех этих мерзавцев, которые в тихих комнатах, несмотря на то что им пришел конец, затевают отвратительную гнусность, впрок готовят кадры изменников... Или просто слабых людей, которые в какую-то минуту не смогли проявить твердость духа... А отчего же ты малодушничаешь? Уйти, выпустив себе кровь, страшно, конечно, но это легче, чем держаться до конца... Тебе ведь приказано выжить, а ты намерился убить себя... Вправе ли ты распоряжаться собою? Я не вправе, и мне очень страшно это делать, потому что я ведь и не жил вовсе, я только делал работу, двигался сквозь время и пространство, не принадлежал себе, а мне так мечталось *пожить* те годы, что отпущены, я так

мечтал побыть вместе с Сашенькой и Санькой... Но я знаю, что *работу* Мюллера нельзя выдержать: они сломают меня или я сойду с ума; как это у Пушкина: не дай мне бог сойти с ума, нет, лучше посох и сума... Что тогда? Существовать сломанным психопатом с отсутствующими глазами? Без памяти и мечты, просто-напросто отправляя естественные потребности, как животное, с которым врачи экспериментировали в той лаборатории, где изучают тайну мозга? А еще страшнее предать... Говорят, он предал Родину... Неверно, нельзя разделять себя и Родину, предательство Родины — это в первую голову измена самому себе...»

— Штирлиц! — сказал Вилли. — Почему ты ничего не делаешь?

— Собираюсь с мыслями, — ответил Штирлиц и быстро сунул бритву в карман. — Ты подглядываешь?

— Я слышу.

— Я не могу сразу, — усмехнулся Штирлиц. — Вы ж не даете мне сидеть или ходить, а когда человек лежит, у него плохо работают почки.

Вилли распахнул дверь:

— Ну что ж, стой, я буду за тобой глядеть.

— Но ведь секретарши могут выйти.

— Ну и что? Они — наши, им не привыкать...

— А если мне нужно по большой нужде?

Вилли вдруг прищурился, глаза его сделались как щелочки:

— Ты почему такой бледный? Открой рот!

— У меня нет яда, — ответил Штирлиц. — И потом цианистый калий убивает в долю секунды...

— Открой рот! — повторил Вилли и быстрым, каким-то рысьим движением ударил Штирлица по подбородку так, что рот открылся сам собою. — Высунь язык!

Штирлиц послушно высунул язык, спросив:

— Желтый? Сильно обложило?

— Розовый, как у младенца... Зачем ты попросился? Ведь не хочешь... Пошли обратно.

— Как скажешь. Все равно через час попрошусь снова.

— Не поведу. Тебя можно водить только три раза в сутки. Терпи.

...Когда Вилли вел его назад, в комнату, Штирлиц успел услышать несколько слов. В голову ахающе ударила фамилия маршала Говорова. Он не успел понять всего, что говорилось об отце военачальника, потому что Вилли снова гаркнул:

— Прекратить работу! Я иду не один!

В комнате он надел на руки Штирлица наруч-

ники, прикрепил левую ногу к кушетке и достал из горки бутылку французского коньяка.

«Наверняка возьмет толстый стакан, — подумал Штирлиц. — Маленькая красивая хрупкая коньячная рюмка противоречит его внутреннему строю. Ну, Вилли, бери стакан, выпей от души, скотина...»

Однако Вилли взял именно коньячную рюмку, *плеснул* в нее, как и положено, на донышко, погрел хрусталь в ладонях, понюхал, мечтательно улыбнулся:

— Пахнет Ямайкой.

«Ах да, он ведь работал в консульстве, — вспомнил Штирлиц. — И все-таки странно: здесь, когда он не на приеме, а сам с собой, он должен был выпить коньяк из толстого хрустального стакана...»

...Несколько снарядов разорвались где-то неподалеку. Канонада, которая доносилась постоянно с востока, а потому сделалась уже в какой-то мере привычной, сразу же приблизилась. Штирлицу даже показалось, что он различил пулеметные очереди; нет, возразил он, ты выдаешь желаемое за действительное, ты не можешь слышать перестрелку, если бы ты мог ее различить, то, значит, наши совсем рядом, а они хоть и рядом, но все-таки меня отделяют от них десятки километров,

пара десятков, наверное».

— Послушай, Штирлиц, — сказал Вилли, — ты догадываешься, что с тобой будет?

— Догадываюсь.

— Сколько заплатишь за то, чтобы я помог тебе уйти отсюда?

— Ты не сможешь.

— А если? Откуда ты знаешь, что не смогу... Сколько заплатишь?

— Называй сумму.

— Сто тысяч долларов.

— Давай ручку.

— Зачем?

— Выпишу чек.

— Нет. — Вилли покачал головой. — Я принимаю наличными.

— Я не держу наличными.

— А где же твои деньги?

— В банке.

— В каком?

— В разных. Есть в Швейцарии, есть в Парагвае...

— А в Москве? Или у красных нет банков?

— Почему же... Конечно есть... Не боишься, что твои слова услышит Ойген?

— Он спит.

— Когда приедет Мюллер?

Вилли пожал плечами, поставил тоненькую рюмку на место, взял пузатый стакан, наполнил его коньяком, словно чаем, и медленно выпил; кадык жадно и алчуще елозил по тонкому хрящевитому горлу...

— Ты подумай, Штирлиц, — сказал Вилли, открыв дверь. — Отдашь сто тысяч наличными — помогу уйти. Только времени на то, чтобы сказать «да», у тебя осталось мало.

Он вышел, повернув за собою ключ в замке.

«А ведь он говорит правду, — подумал Штирлиц, горделиво вспомнив про то, как он угадал, что Вилли должен пить из стакана. — Он действительно готов сделать все, чтобы получить сто тысяч и постараться уйти. Крысы бегут с корабля. А может, пообещать ему эти деньги? Сказать, что они у меня в тайнике, в подвале, в Бабельсберге... Почему нет? Или ты надеешься, что Мюллер предложит тебе что-то свое? В самой глубине души ты, наверное, надеешься на это, хотя боишься признаться; да, видимо, я боюсь себе признаться, потому что до конца не понимаю этого человека: он неожидан, как шарик, который *ребристо* катится по большому кругу баденской рулетки, и никому не дано высчитать, на какой цифре он

остановится...»

— Эй, Вилли! — крикнул Штирлиц. — Вилли!

Тот вошел быстро, словно бы ждал окрика возле двери.

— Ну хорошо, — сказал Штирлиц. — Допустим, я согласен...

— На допуски нет времени, Штирлиц. Если согласен, — значит, согласен, называй адрес, едем.

— Бабельсберг. Мой дом.

— Где хранишь?

— В тайнике, в подвале, возле гаража.

— Рисуй.

— Вилли, ты ж умный человек... Я нарисую, ты возьмешь деньги, а я останусь здесь.

— Верно. Ты останешься здесь. А мы уедем. И снимем с тебя наручники — иди, куда хочешь.

— А люди, которые работают в других комнатах?

— Это — не мое дело. Это — твое дело.

— Хорошо. Неси карандаш и бумагу.

Вилли достал из кармана вечное перо «Монблан» и маленькую записную книжку. Сняв наручники со Штирлица, он сказал:

— Только обозначь, где юг, где север, чтобы потом не говорил, будто мы плохо искали, если там ничего не окажется...

Штирлиц нарисовал план подвала, обозначил место, где должен находиться тайник, объяснил, что надо тщательно *простучать* стену и легонько ударить молотком по тому месту, где он услышит пустоту (там как раз проходили трубы отопления, их зачем-то пропустили под кирпичной кладкой); штукатурка легко осыпается, в металлическом ящике лежат деньги — двести тринадцать тысяч.

Вилли внимательно посмотрел план, поинтересовался:

— А где включается свет?

— Слева, возле двери.

— Понятно, — вздохнул Вилли. — Спасибо, Штирлиц... Только вот беда, в Бабельсберг прорвались русские...

— Когда?

— Вчера.

— Зачем тогда вся эта затея?

Вилли тяжело усмехнулся:

— А приятно смотреть, как человек корячится... Тем более что мы весь твой подвал простучали, а потом еще обошли с миноискателем — металлический ящичек наверняка бы загудел...

Штирлиц снова вспомнил майский день тридцать второго года, маленькую узенькую улочку

Шарлоттенбурга, толпу мужчин в коричневых униформах СА и две машины, между которыми он остановил свой «опель», чтобы развернуться, и веселые лица фашистов, которые внимательно наблюдали за тем, как он мучился на маленьком пятачке, страшась поцарапать те два автомобиля, а шоферы стояли рядом и не шевельнулись даже, чтобы помочь ему...

«Приятно смотреть, как человек корячится...»

«А если в нем это заложено? — подумал Штирлиц. — Если он родился мерзавцем? Ведь не все же люди рождаются с задатками добра или благородства... Наверное, честная власть и должна делать так, чтобы умно пресекать заложенное в человеке дурное, делая все, чтобы помочь проявлению красоты, сострадания, мужества, щедрости... А как можно этого добиться, если Гитлер вдалбливал им в головы, что они самые великие, что их история — самая прекрасная, музыка — самая талантливая, идея — единственно нужная миру? Он воспитывал в них пренебрежение ко всем людям, но ведь если любишь только свой народ, то есть себя, то и все другие люди, даже соотечественники, вчуже тебе... Государственный эгоцентризм всегда приводил империи к сокрушительному крушению, ибо воспитывал

в людях *звериную* зависть ко всему хорошему, что им не принадлежит, а нет ничего страшнее зависти: это — моральная ржа, она разъедает человека и государство изнутри, это не моль, от нее не спасешься нафталином... Бедная, бедная Дагмар, — вспомнил он женщину. — Она так добро говорила о наших былинах... Только б с ней все было хорошо... Тогда она поймет то главное, что надо понять; про былины она пока еще думает «с голоса» и говорит «с голоса» — так поступают одаренные дети, они подражают взрослым; она прекрасно рассказала про своего тренера, за которого была готова выброситься из окна, если б только он приказал... Ведь былины — это наука, отрасль истории, а в истории приблизительность, малая осведомленность, подтасовка — преступны. Это приводит к тому, что розенберги и геббельсы узурпируют власть над умами и делают народ слепым сборищем, послушным воле маньяка... Она говорила про Муромца и про общность германского и шведского фольклора с нашим и уверяла, что именно варяги занесли на Русь сказочные сюжеты; неверно, скорее это пришло от греков, стоит только вспомнить Владимира Мономаха в его «Наставлении к детям»... Ах, какая же это добрая литература и как плохо,

что мы ее совсем не знаем!..»

Он снова услышал отца, который читал ему выдержки из этой книги, не сохранившейся целиком, но даже то, что сохранилось, поразительно: «Послушайте мене, аще не всего примите, то половину...» Папа тогда сказал: «Ты чувствуешь благородство его характера в этих нескольких словах? Всесильный князь не приказывает... Как всякий талантливый человек, он прилежен юмору, он скептичен, а потому добр, он не претендует на целое, только б хоть часть его мыслей взяли...» Отец тогда впервые объяснил ему, что после победы иконоборцев в Византии, когда верх одержали те, кто требовал в мирской жизни соблюдать изнурительное монашество (плодородие земель и щедрость солнца позволили людям на берегах Эгейского моря жить в праздности, поэтому пастырям надо было забрать все в кулак, понудить к крутой дисциплине, чтобы не повторилось новое римское нашествие), Мономах посмел противостоять Константинополю, хотя по матери был греком... Он к молитве — в отличие от византийских догматиков — относился не как к бездумно затверженному постулату, он говорил, что это просто-напросто средство постоянно дисциплинировать волю. Он хотел добиться от

подданных страсти к работе не монастырским узничеством, а разумной дисциплиной, через века смотрел Мономах, потому и проповедовал: «Кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», тот самого себя обличает во лжи... Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме... На войну вышед, не ленитеся, ни питью, ни еденью не предавайтесь, и оружия не снимайте с себя... Лжи блюдися и пьянства, в то бо душа погибает и тело...» Отсюда ведь Муромец пошел, от южного моря и греческой преемственности, от доброты и ощущения силы, а благородный человек к своей мощи относится с осторожностью, боится обидеть того, кто слабее, оттого и простил поначалу своего грешного сына, поверил ему, как не поверить слову? А как мне было сказать Дагмар об этом? За годы работы здесь я приучил себя в беседе с другими жадно интересоваться тем, что знаю, что не интересно мне, и делать вид, что пропускаю мимо ушей то, что мне по-настоящему важно; чтобы работать, я обязан был стать актером, жить ожиданием реплики, которую нужно подать. Но только если актер заранее знает свою роль, успел выучить слова и запомнить мизансцены, то мне приходилось жить, словно в шальном варьете, экспромтом, где не прощают

паузы, свистят и улюлюкают, гонят со сцены... Впрочем, в моем случае не свистят, а расстреливают в подвале. Потом, когда все кончится, я расскажу Дагмар про Мономаха — историю нельзя брать «с голоса», в нее надо погружаться, как в купель при крещении, ее надо пить, как воду в пустыне, ее надо чувствовать, как математик чувственно ощущает формулу — никакого чванства, горе и правда поровну, великое и позорное рядом, только факты, а уж потом трактовка... Я расскажу ей... Погоди, что ты ей расскажешь? Ты ничего не сможешь ей рассказать, потому что в кармане у тебя кусок острого металла, а за стеной сидят люди, которые любят смотреть, как другие корячатся, ты ведь становишься таким сильным, когда наблюдаешь мучения другого, ты помазан ужасом вседозволенности, ты...»

— Хайль Гитлер, группенфюрер! — услыхал Штирлиц высокий голос Ойгена и понял, что пришел Мюллер...

Пауки в банке — I

Генерал Бургдорф, представлявший глубинные интересы армейской разведки при ставке, улучив момент, когда Борман вышел от фюрера, обратился к адъютанту Йоханмайеру с просьбой доложить Гитлеру, что он просит уделить ему пять минут для срочного и крайне важного разговора.

Бургдорф знал, что телеграмму от Геринга первым получил не Гитлер. Телеграфисты сразу же — будто догадываясь, что она придет, словно бы предупрежденные заранее помощником рейхсляйтера Цандером — отнесли ее именно ему; тот — через минуту — был у Бормана. Армейская разведка продолжала свою методичную, скрупулезную работу и здесь, в бункере, получив соответствующие указания генерала Гелена перед тем, как он «выехал» на юг, в горы, «готовить свои кадры» к работе «после победоносного завершения битвы на Одере».

Сопоставив эти, да и другие данные, сходившиеся в его кабинет, Бургдорф пришел к выводу, что именно Борман не позволяет Гитлеру выехать

в Альпийский редут; именно Борман влияет на Геббельса, этого слепого фанатика, больного, ущербного человека, в том смысле, что только в Берлине возможно решить исход битвы, а Геббельс единственный человек среди бонз, который действительно верил и верит в безумную идею национального социализма, Борман этим пользуется, умело нажимает на клавиши, извлекая нужные ему звуки. Он в тени, как всегда в тени, а Геббельс заливается, рисует картины предстоящей победы, предрекает чудо, фюрер слушает завороженно, и на лице появляется удовлетворенная улыбка, он закрывает глаза, и лицо его становится прежним — волевым, рубленым.

Бургдорф искренне старался понять логику Бормана, старался, но не мог. Он знал тайное жизнелюбие этого человека, его физическое здоровье, крестьянскую, надежную ухватистость, отсутствие каких-либо комплексов, полную свободу от норм морали, тщательно скрываемую ото всех алчность. Все эти качества, собранные воедино, не позволяли опытному разведчику, аристократу по рождению, битому и тертому Бургдорфу допустить возможность того, что Борман, так же как и Гитлер, решится на то, чтобы покончить с собою. При этом он понимал, что у Бормана неиз-

меримо больше возможностей для того, чтобы исчезнуть, нежели чем у него, боевого генерала. Он знал, что Борман оборудовал по крайней мере триста конспиративных квартир в Берлине, более семисот сорока по всей Германии, ему было известно — через одного из шифровальщиков ставки, — что существует некая сеть, проходящая пунктиром через Австрию, Италию, Испанию и замыкающаяся на Латинскую Америку. В этой сети ведущую роль играют люди из секретного отдела НСДАП и ряд высших функционеров СС, *завязанных* на Мюллера; для кого же была создана эта цепь, если не для самого Бормана? Простая логика подсказывала и следующий вопрос: когда можно *запустить* эту цепь в работу? Лишь после того, как исчезнет Гитлер. Где это может случиться скорее всего? Здесь, в Берлине, ибо если Гитлера вывезти отсюда в Альпийский редут, совершенно неприступный для штурма, возвышающийся над всеми окружающими районами Южной Германии, оборудованный радиосвязью со всем миром, то битва может продлиться еще и месяц, и два, а отношения между союзниками, столь разнородными по своей сути, таковы, что всякое может случиться. И тогда предстоит капитуляция, но никак не безоговорочная, а с

передачей функции власти на истинно германских землях армии, тем ее силам, которые уже сейчас готовы немедленно пустить англо-американцев в Берлин. Туда, к Альпийскому редуту, можно еще подтянуть отборные части вермахта; войск СС — кроме батальона охраны — нет и в помине, не зря армия просила Гитлера бросить на передовую наиболее преданные ему дивизии «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», не зря эта комбинация проводилась столь последовательно и терпеливо, подстраиваясь под рубленые акции Бормана. В Альпийском редуте Гитлер выполнит волю армии или же армия предпримет свои шаги — то, что не удалось 20 июля сорок четвертого, когда бомба полковника Штауффенберга чудом не задела диктатора, сделают другие, им несть числа, только бы выманить Гитлера отсюда, только бы выйти из-под душной опеки Бормана и его гестаповских СС...

...Гитлер принял Бургдорфа сразу же, поинтересовался его здоровьем: «У вас отекшее лицо, может быть, попросить моих врачей проконсультировать вас?» — спросил про новости с фронтов, удовлетворенно выслушал ответ, что сражение продолжается с неведомой ранее силой и еще далеко не все потеряно, как считают некоторые,

а потом перешел к главному, к тому, что гарантировало ему, Бургдорфу, жизнь, в случае если он сейчас может переиграть Бормана, убедить Гитлера в своей правоте, а сделать это можно, лишь уповая на сухую логику и законы армейской субординации, которой Гитлер, как капрал первой мировой войны, был внутренне прилежен.

— Мой фюрер, — сказал он, подчеркнуто незаинтересованно в том, о чем докладывал, — мне только что стала известна истинная причина, за что вы разжаловали рейхсмаршала. Я не вдаюсь в политическое существо дела, но меня не может не тревожить, что люфтваффе остались без главнокомандующего. В дни решающей битвы это наносит ущерб общему делу, ибо летчики не могут воевать, когда нет единой руки, когда нет более своего фюрера в небе. — Бургдорф знал, что, если он остановится хоть на миг, изменит стиль доклада, переторопит его или, наоборот, замедлит, Гитлер сразу же перебьет и начнет словоизвержение, и придет Борман, который теперь фюрера не оставляет более чем на полчаса, а тогда его операция не пройдет. — Поэтому я прошу вас подписать указ о том, что главкомом люфтваффе вы назначаете нынешнего командующего шестым воздушным флотом в Мюнхене

генерал-полковника Риттера фон Грейма.

— Где Борман? — спросил Гитлер беспомощно. — Давайте дождемся Бормана...

— Рейхсляйтер прилег отдохнуть, фюрер, — смело солгал Бургдорф. — Прошу вас — до тех пор пока вы не подпишете приказ, посоветовавшись с рейхсляйтером, — позволить мне радировать в Мюнхен фон Грейму, чтобы он немедленно вылетел в Берлин... Это такой ас, который сможет посадить самолет на улице, да и потом мы еще держим в своих руках несколько летных полей на аэродромах... Я попрошу его пригласить с собою Ганну Рейч, — дожал Бургдорф, зная, что эта выдающаяся летчица, истинный мастер пилотажа, была слабостью Гитлера, он подчеркивал свое к ней расположение, повторяя: «Нация, родившая таких женщин, непобедима».

— Да, да, — согласился Гитлер устало, — пусть он прилетит для доклада... О назначении его главнокомандующим я сообщу ему здесь, сам, когда согласую этот вопрос с Борманом и Гиммлером...

Бургдорф вышел в радиооператорскую и отдал приказ Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь в Берлин.

Через двадцать минут об этом узнал Борман.

Через сорок семь минут в Мюнхен ушла его

радиограмма, предписывавшая фон Грейму перед вылетом подготовить не только всю документацию о положении дел с люфтваффе, но и соображения по перестройке работы воздушного флота рейха. Зная *машину*, Борман точно рассчитал удар, понимая, что на подготовку доклада уйдет не менее двух-трех дней. Тогда уже Грейм просто-напросто не сможет посадить самолет в Берлине.

Заглянув после этого к Бургдорфу, он сказал:

— Генерал, я благодарю вас за прекрасное предложение, внесенное фюреру: лучшей кандидатуры, чем фон Грейм, я бы не мог назвать. Я попросил фон Грейма подготовить подробный доклад — новый главнокомандующий должен быть во всеоружии, — полагаю, что в ближайшие дни мы будем приветствовать нашего аса в кабинете фюрера...

— Но он же тогда не сможет приземлиться, — не выдержал Бургдорф. — Зачем этот спектакль, рейхсляйтер?

Борман тяжело улыбнулся.

— Вы устали, генерал. Выпейте рюмку айнциана, если хотите, я угощу вас своим — мне прислали ящик из Берхтесгадена, — и ложитесь поспать, у вас есть время отдохнуть до начала

совещания у фюрера...

Бургдорф запросил Мюнхен, когда доклад для фон Грейма будет закончен. Ответ пришел сразу же, словно бы подготовленный загодя:

— Работают все службы; видимо, в течение ближайших двух суток все будет напечатано на специальной машинке. К тому же Грейм неважно чувствует после недавнего ранения. Врачи делают все, что в их силах, дабы скорее поставить на ноги генерал-полковника.

Бургдорф посмотрел на часы: до начала конференции у Гитлера осталось пять минут; чувствуя невероятную тяжесть во всем теле, он прошел сквозь анфиладу комнат: повсюду за длинными столами сидели офицеры СС из личной охраны фюрера. Перед каждым стояли бутылки бренди и шампанского.

Бургдорф спустился в приемную, завешанную работами старых итальянских мастеров; Борман как-то сказал, что это лишь стотысячная часть тех экспонатов, которые были вывезены из картинных галерей мира, чтобы украсить «чудо XX века» — музей Адольфа Гитлера в Линце.

На фоне пупырчатых стен, крашенных тюремной, серой краской, лики старцев и пышнотелых красавиц смотрелись страшно, будто на *малине*

скупщика краденого. Свет падал неровно, масло поэтому бликовало, казалось жухло-жирным. Были заметны трещины, мелкие, как морщинки на лицах старых женщин.

Адъютант Гюнше, встретивший Бургдорфа, сказал, что фюрер извиняется за опоздание, он заканчивает завтрак, попросил подождать пять минут.

Вошел Кребс, улыбнулся Бургдорфу.

— Над нами еще нет русских танков? — хмуро пошутил Бургдорф.

Кребс, лишенный чувства юмора, ответил:

— Такого рода данных пока не поступало...

...Гитлер пришел в сопровождении Бормана и Геббельса. Его сильно шатало, тряслась вся левая половина тела.

Обменявшись молчаливыми рукопожатиями с Кребсом и Бургдорфом, он пригласил всех в конференц-зал. Бургдорф обратил внимание на Геббельса — в глазах хромого метался страх, лицо обтянуто пергаментной морщинистой кожей — словно маска.

Адъютант начальника штаба Болдт на вопрос Гитлера, чем хорошим он может порадовать собравшихся, ответил:

— Танки Рокоссовского продвинулись на

пятьдесят километров восточнее Штеттина и развивают наступление по всему северному фронту, постепенно сваливаясь в направлении Берлина...

Гитлер обернулся к Кребсу и медленно отчеканил:

— Поскольку Одер — великолепный естественный барьер, весьма труднопреодолимый, успех русских армий против третьей танковой группировки свидетельствует о полнейшей некомпетентности немецких военачальников!

— Мой фюрер, — ответил Кребс, — танкам Рокоссовского противостоят старики фольксштурма, вооруженные винтовками...

— Пустое! — отрезал Гитлер. — Все это вздор и безделица! К завтрашнему вечеру связь Берлина с севером должна быть восстановлена, кольцо русских пробито, фронт стабилизирован!

Бургдорф, вышедший на несколько минут в радиорубку, вернулся с сообщением, что все атаки генерала Штайнера, любимца Гитлера, выдвинутого к вершине могущества Гиммлером, захлебнулись.

— Эти кретины и тупицы СС не устраивают меня более! — Гитлера затрясло еще сильнее, он едва держался на ногах. — Я смещаю его!

Повернувшись, Гитлер медленно пошел к выходу из конференц-зала.

Глядя ему вслед, Бургдорф тихо заметил:

— А русская артиллерия, рейхсляйтер, как вы и предполагали, уже начала обстрел аэродрома Темпельхоф... Я не убежден, что туда теперь может приземлиться даже самый маленький самолет...

Гитлер замер возле двери, медленно обернулся и отчеканил:

— Ганна Рейч посадит самолет даже в переулке!

Вот как умеет работать гестапо! — V

— Почему они молчат? — спросил Мюллер задумчиво. — Отчего бы вашему Центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом захомутайте и привезите в лубянский подвал? Или отрезать: «С гестапо никаких дел...» Но они молчат... Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц...

— Я жду. Когда ждешь, трудно думается.

— Кстати, ваша настоящая фамилия?

— Штирлиц.

— Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?

— Скорее наоборот... Я из тех русских, которые выросли в Германии...

— У вас странная фамилия — Штирлиц.

— Вам знакома фамилия Фонвизин?

Мюллер нахмурился, лоб его собрался резкими морщинами; любое слово Штирлица он воспринимал настороженно, сразу же искал второй, глубинный смысл.

— Вильгельм фон Визин был обербургомистром

в Нейштадте, если мне не изменяет память...

Штирлиц, вздохнув, снисходительно улыбнулся:

— Фонвизин был великим русским писателем... Разве фамилия определяет суть человека? Лучшими пейзажистами были Саврасов и Левитан... Где-то в энциклопедии так и написано: «Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье...»

— А тот диктор, который читает по радио сталинские приказы армии, его родственник?

— Не знаю...

— Если бы наш псих дал приказание написать в энциклопедии, что «великий немецкий ученый Эйнштейн родился в бедной еврейской семье», мы бы сейчас имели в руках оружие «возмездия»...

— Однако одного психа вы бы уломали... Но их тут великое множество... Да и потом они не могли без того, чтобы не изобрести врага... Не русский или еврей, так был бы зулус или таиландец... Вдолбили б в головы, что только из-за зулусов в рейхе нет масла, а таиландцы повинны в массовой безработице... Доктор Геббельс великий изобретатель на такого рода пассы...

— Хотите меня распропагандировать, Штир-

лиц?

— Это — нет. Перевербовать — да.

— Не сходится. Упущено одно логическое звено. Вы ведь уже перевербовали меня, отправив шифровку в ваш Центр! Но они, видимо, не заинтересованы в таком агенте, как я. Альфред Розенберг не зря говорил, что главное уязвимое звено России сокрыто в том, что там напрочь отсутствует американский прагматизм... Марксисты, они... вы живете духовными формулами... Вам надо подружиться с Ватиканом — те ведь тоже считают, что дух определяет жизнь, а не наоборот, как утверждал... ваш бородатый учитель... Что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю по назначению... Где, кстати, ваша Цаченька?

— Сашенька, — поправил его Штирлиц. — Это моя сестра...

— Зачем лжете? Или вы забыли свои слова? Вы же сказали Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь...

— Как, кстати, Дагмар?

— Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.

— Она вам отдала мою явку в Швеции?

— Конечно.

Мюллер неумело закурил, посмотрел на часы:

— Штирлиц, я дал вам фору. Время прошло. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь — все. Мои резервы исчерпаны...

— Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток?

— Тогда — пишите. Я готов ждать, пока возможно! Но пишите же! Обо всем пишите, с самого начала! Все явки, пароли, номера ваших счетов, схемы связи, имена руководителей... Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников! Поймите же меня! Вы — уникальны, вы представляете интерес для всех...

— Не буду. Не гневайтесь. Я просто не смогу, господин Мюллер...

— Ну что ж... Я сделал для вас все, что мог... Придется помочь вам.

Он поднялся, подошел к двери, распахнул ее. В комнату вошли Ойген, Вилли и Курт; Мюллер вздохнул:

— Вяжите его, ребята, и затолкайте кляп в рот, чтоб не было слышно вопля...

Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы.

Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые и быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она стояла на пирсе Владивостокского порта и ее толкали со всех сторон, а она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно, и сердце его разрывалось тогда от любви и тоски, и сколько бы — за прошедшие с той поры двадцать три года — жизнь ни сводила его с другими женщинами, он всегда, проснувшись утром, как сладостное возмездие, видел перед собою лишь ее, Сашенькино лицо. Наверное, так у каждого мужчины. В его сердце хранится лишь память о первой любви, с нею он живет, с нею и умирает, кляня тот день, когда расстался с тою, что стояла на пирсе, и по щекам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как ты не любишь плачущих женщин, ты только раз, невзначай, сказал ей об этом, но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они любящие...

...А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц, сломал ампулу, которую вынул из металлической коробочки (на ней были выведены черной краской свастика и символы СС), набрал полный шприц, грубо воткнул его в

вену Штирлицу, не протерев даже кожу спиртом...

— Заражения не будет? — поинтересовался Мюллер, жадно наблюдая за тем, как бурая жидкость входила в тело.

— Нет. Шприц стерилен, а у него, — доктор кивнул на Штирлица, — кожа чистая, пахнет апельсиновым мылом...

Выдернув шприц, он не стал прижигать ранку, быстро убрал все свои причиндалы и, защелкнув саквояж, вопросительно посмотрел на Мюллера.

— Вы еще можете понадобиться, — сказал тот. — Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной...

— Ему хватит, — сказал врач, и Штирлиц поразился тому, как было спокойно лицо *лекаря*, как он благообразен, с высокими залысинами, большими, теплыми руками, как обыкновенны его глаза, как он тщательно выбрит, наверное, у него есть дети, а может быть, даже и внуки. Как же такое совмещается в человеке, в людях, в мире?! Как можно днем делать зло — ужасное и противоестественное, — а вечером учить детей уважать старших, беречь маму...

«Они будут спрашивать тебя, Максим, — сказал себе Штирлиц, ощущая, как по телу медленно

разливается что-то жгучее, словно в кровь ввели японский бальзам, которым лечат радикулит. Сначала тепло, а потом, после длительного втирания, наступает расслабленная умиротворенность, боль уходит, и ты ощущаешь блаженство, и тебе хочется, чтобы рядом с постелью сидел старый друг и говорил о сущих пустяках, а еще лучше бы вспоминал тех, кто тебе дорог, и в комнате бы ощущался запах жженых кофейных зерен и ванильного теста, которое так прекрасно готовил в Шанхае Лю Сан. — Они будут задавать вопросы, и ты ничего не сможешь сделать, ты будешь отвечать им... Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им не торопясь, вспоминай про Москву, ты же помнишь свой город, ты его очень хорошо помнишь, он живет в твоем сердце, как Сашенька и как сын, вспоминай, как ты впервые встретил свою любимую во Владивостоке, в ресторане «Версаль», и как к столику ее отца подошел начальник контрразведки Гиацинтов, и как ты познакомился с Николаем Ивановичем Ванюшиным, ты отвечай им про то, что тебе приятно вспомнить, слышишь, Максим? Пожалуйста, постарайся не торопиться, ты вообще-то страшный торопыга, тебе так многого стоило

научиться сдерживать себя, держать в кулаке, постоянно понуждая к медлительности. Ах, как звенит в голове, какой ужасный, тяжелый звон, будто бьют по вискам...»

...Мюллер склонился над Штирлицем, близко заглянул ему в глаза, увидал расширившиеся зрачки, пот на лбу, над губой, на висках, тихо сказал:

— Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания, дружище. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать, я профессионал, как и ты, поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты слышишь меня? Ну, ответь мне? Ты слышишь?

— Да, — сказал Штирлиц, мучительно сдерживая желание ответить открыто, быстро, искренне. — Я слышу...

— Вот и хорошо... Теперь расскажи, как зовут твоего шефа? На кого он выходит в Москве? Когда ты стал на них работать? Кто твои родители? Где они? Кто такая Цаченька? Ты ведь хочешь мне рассказать об этом все, не так ли?

— Да, — ответил Штирлиц. — Хочу... Мой папа был очень высокий... Худой и красивый, — сдерживая себя, цепляя в себе слова, начал Штирлиц, понимая где-то в самой глубине души, что он не

имеет права говорить ни слова.

«Ну не спеши, — моляще сказал он себе и вдруг понял, что самое страшное позади, он может думать, несмотря на то что в нем живет желание говорить, постоянно говорить, делиться своей радостью, ибо память о прекрасном — высшая радость, отпущенная человеку. — Ты ведь все понимаешь, Максим, ты отдаешь себе отчет в том, что он очень ждет, как ты ему все расскажешь, а тебе хочется все ему рассказать, но при этом ты пока еще понимаешь, что делать этого нельзя... Все не так страшно, — подумал он, — человек сильнее медицины, если бы она была сильнее нас, тогда бы никто никогда не умирал».

— Ну, — поторопил его Мюллер. — Я жду...

— Папа меня очень любил... Потому что я у него был единственный... У него была родинка на щеке... На левой... И красивая седая шевелюра... Мы с ним часто ездили гулять. В Узкое... Это маленькая деревня под Москвою... Там стояли ворота, построенные Паоло Трубецким... В них опускалось солнце... Все... Целиком... Только надо уметь ждать, пока оно опустится... Там есть такая точка, с которой это хорошо видно, сам Паоло Трубецкой показал это место папе...

— Как фамилия папы? — нетерпеливо спросил

Мюллер, вопрошающе посмотрев на врача.

Тот взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц, наполнил его второй дозой черной жидкости, вколол в вену, сказав Мюллеру:

— Сейчас он будет говорить быстрей. Только вы слишком мягко ставите вопросы, спрашивайте требовательнее, резче.

— Как фамилия отца? — спросил Мюллер, приблизившись к Штирлицу чуть ли не вплотную. — Отвечай, я жду.

— Мне больно, — сказал Штирлиц. — Я хочу спать.

Он закрыл глаза, сказав себе: «Ну, пожалуйста, Максим, сдержись; это будет так стыдно, если ты начнешь торопиться, ты ведь знаешь, кто стоит над тобою, у тебя раскалывается голова, наверное, они вкатили тебе слишком большую дозу — используй это. А как я могу это использовать, — возразил он себе, — этого нельзя делать, потому что я обязан ответить на все вопросы, ведь меня спрашивают, человек интересуется, он хочет, чтобы я рассказал ему про папу, что ж в этом плохого?!»

Мюллер взял Штирлица за подбородок, откинул его голову, крикнул:

— Сколько можно ждать, Штирлиц?!

«Вот видишь, — сказал себе Штирлиц, — как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер! Ну и что, — удивился он. — Мюллеру интересно знать про твоего папу, у него тоже был отец, он и про себя говорит «папа-Мюллер». Погоди, — услышал он далекий голос, дошедший до него из глубины его сознания, — он ведь еще про себя говорит «гестапо-Мюллер». А ты хорошо знаешь, что такое гестапо, Максим? Конечно знаю: это государственная тайная полиция рейха, во главе ее стоит Мюллер, вот он надо мною, и его лицо сводит тиком, бедненький папа-Мюллер, ты очень плохо ведешь себя, Максим, он ведь ждет...»

— Папа меня любил, он никогда не кричал на меня, — сонно ответил Штирлиц. — А вы кричите, и это нехорошо...

Мюллер обернулся к доктору:

— Этот препарат на него не действует! Уколите ему чего-нибудь еще!

— Тогда возможна кома, группенфюрер...

— Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?!

— Позвольте, я задам ему вопросы?

— Задайте. И поскорее, у меня истекает время!

Доктор склонился над Штирлицем, взял его за уши похолодевшими, хотя толстыми, казалось бы, добрыми пальцами отца и деда, больно вывернул мочки и начал говорить вбивая вопрос в лоб:

— Имя?! Имя?! Имя?!

— Мое? — Штирлиц почувствовал к себе жалость, оттого что боль в мочках была унизительной, его никто никогда не таскал за уши, это только Фрица Макленбаха — они жили на одной лестничной клетке в Цюрихе, в девятьсот шестнадцатом, перед тем как папа уехал следом за Лениным в Россию, — драл за уши старший брат, кажется, его звали Вильгельм, ну, вспоминай, как звали старшего брата, у него еще был велосипед, и все мальчишки завидовали ему, а он никому не давал кататься; и маленький Платтен даже плакал, так он мечтал прокатиться на никелированном большеколесном чуде со звонком, который был укреплен на руле... — Мне больно, — повторил Штирлиц, когда доктор еще круче вывернул ему мочки. — Это некорректно, я уже старый, зачем вы дерете меня за уши?

— Имя?! — крикнул доктор.

— Он знает. — Штирлиц кивнул на Мюллера. — Он про меня все знает, он такой умный, я его

даже жалею, у него много горя в сердце...

Мюллер нервно закурил. Пальцы его чуть дрожали. Повернувшись к Ойгену, он сказал:

— Выйдите со мною...

В соседней комнате было пусто: диван, книжные шкафы, горка с хрусталем; много бутылок, даже одна португальская — «вино верди»; такое долго нельзя хранить. Наверное, подарили лиссабонские дипломаты, хотя вряд ли — все уже давно уехали. Как же она сюда попала?

— Ойген, — сказал Мюллер, — все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину...

— Тогда зачем же все это? — удивился Ойген.

— Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, уколы, допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом... Что вам более дорого: Рыцарский крест или двадцать пять тысяч долларов? Ну, отвечайте правду, глядите мне в глаза!

— Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать...

— Слава богу, что сразу не крикнули про крест... Значит, умный. Вот. — Он достал из кармана

толстую пачку долларов. — Это десять тысяч. Остальные пятнадцать вы получите на моей конспиративной квартире по Бисмаркштрассе, семь, апартамент два, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена. А суть ее сводится к следующему, Ойген... О ней знают два человека: вы и я... Нет, еще об этом догадывается третий, рейхсляйтер Борман... Значит, я посвящаю вас в высший секрет рейха, разглашение его карается гибелью всех ваших родных, а я знаю, как вы любите своих дочек Марию и Марту, поэтому именно вас я избрал для завершения этой моей коронной операции... Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса, не мешайте ему, может стараться, как хочет, но колоть больше не давайте. Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесете его сюда, уложите на диван, руки возьмете в наручники, ноги скрутите проволокой. Пусть спит, потом поместите в соседней комнате фройляйн Зиверт с Грубером. Он должен постоянно и торопливо диктовать ей тот материал, который я уже передал ему: это совершенно секретные данные, содержащие компрометирующую документацию на французов, близких к их новому правительству. Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы станете водить

Штирлица в туалет — вы навяжете ему свое время, четыре раза в день, — штурмбанфюрер Гешке громко и нервно наговаривал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников... Позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке, понятно? Доктор придет сюда еще раз, видимо завтра, но все зависит от того, как крепко мы будем удерживать красных... Пусть он спрашивает Штирлица про имя, явки и прочее, список вопросов я вам подготовил; изображайте ярость, торопите его, можете бить, но так, чтобы он потом мог двигаться, берегите его ноги, руки, почки и легкие. Лицо я вам отдаю в полное распоряжение, чем больше вы его искалечите, тем лучше; только берегите глаза, спаси бог, он ослепнет или глаза затекут так, что он будет плохо видеть... По радиосвязи я буду вам постоянно сообщать, как обстоят дела с продвижением русских... Когда я скажу, что они уже недалеко, играйте панику, звоните в пустую трубку, требуйте ответа, что делать со Штирлицем, объясните вашему отсутствующему собеседнику, что русские танки в километре отсюда, просите санкцию на то, чтобы расстрелять его, или же требуйте присылку штурмовиков, чтобы его забрали в безопасное место... А потом к вам придет мой

человек, он скажет пароль: «Я принес посылку от доктора Рудольфа, распишитесь». Он передаст саквояж, в нем мина с радиомеханизмом... Вы занесете саквояж в комнату, где работают Гешке и фрау Лотер, сядете к столу и напишете им на бумаге: «Через пять минут вам необходимо тихо покинуть помещение, спуститься вниз и уходить на запасные квартиры». То же вы напишете фройляйн Зиверс и Груберу. Вы не будете захлопывать дверь квартиры, выйдете на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем как она взорвется, вы снимете со Штирлица наручники и запрете его в туалете. Ясно? Он должен сидеть в туалете — взрывная волна его не заденет, только оглушит... Утром, перед тем, как вести Штирлица в туалет, проследите, чтобы дверь комнаты, где работает Гешке, не была закрыта, пусть он увидит открытый сейф, чемоданчики с документами, пишущую машинку, пусть услышит текст... Конечная цель задания понятна?

— Нет, группенфюрер.

— Со временем поймете. Когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я объясню вам ее сокровенную суть. Вы успели вывезти семью из Берлина?

— Нет, группенфюрер.

— Попрощайтесь с ними по телефону, я прикажу эвакуировать их в Мюнхен немедленно.

— Спасибо, группенфюрер!

— Да полно вам, дружище, — обычная товарищеская забота друг о друге, стоит ли это благодарности...

Пауки в банке — II

Кребс заканчивал доклад, когда в конференц-зале появился Лоренц, шеф пресс-офиса ставки; радиостанция министерства пропаганды перехватила сообщение из Швеции: американцы вышли к Торгау, на Эльбе, захватив, таким образом, значительную территорию, которая — согласно Ялтинской декларации — должна находиться под контролем русских.

Гитлер не дослушал даже сообщения о том, что произошла торжественная встреча солдат двух армий; он жил собою лишь, своими представлениями, своей, раз и навсегда придуманной схемой.

— Вот вам новый пример того, что провидение на нашей стороне! Это начало драки между русскими и англо-американцами! Господа, немецкий народ назовет меня преступником и правильно сделает, если я сегодня соглашусь на мир, в то время как завтра коалиция врагов развалится! Разве вы не видите реальной возможности для того, чтобы завтра, сегодня, через час началась яростная схватка между большевиками

и англосаксами здесь, на земле Германии?!

Артур Аксман, новый фюрер «Гитлерюгенда», приглашенный на конференцию, — он теперь оставил свою штаб-квартиру на Адольф Гитлер Плац и разместился с полевым штабом на Вильгельмштрассе, защищая от красных ближние подступы к рейхсканцелярии, — сделал шаг вперед и, влюбленно сияя круглыми глазами, потянулся к Гитлеру:

— Мой фюрер, героическая молодежь столицы предана вам, как никогда! Ни один русский не прорвется к рейхсканцелярии! Мы будем стоять насмерть до того момента, пока большевики не передерутся с англосаксами! В случае если вы решите перенести свою ставку в Альпийский редут, я гарантирую, что мои парни обеспечат прорыв: они готовы погибнуть, но спасти вас!

Гитлер мягко улыбнулся Аксману и несколько обеспокоенно поглядел на Бормана. Тот сухо заметил:

— Фюрер не сомневается в преданности «Гитлерюгенда», Аксман, но пусть мальчики все-таки живут, а не погибают, в этом их долг перед нацией: победить, оставшись живыми!

Гитлер кивнул, подавив вздох...

...На следующей конференции измученный

Кребс устало докладывал обстановку по всем секторам обороны столицы. Он монотонно перечислял названия улиц, где шли бои, и называл номера домов, которые защищались особенно упорно.

— Я хочу, мой фюрер, — закончил Кребс, — чтобы вы наконец выслушали коменданта Берлина генерала Вейдлинга: я не считаю себя вправе отказывать ему более.

Вейдлинг, нервно покашливая, не глядя на Бормана и Геббельса, словно бы уцепившись взглядом за лицо Аксмана, сказал:

— Фюрер, битва за Берлин окончена. Судьба столицы предрешена. Я беру на себя персональную ответственность вывести вас из кольца невредимым, чтобы вы могли продолжать руководство нацией в ее борьбе против врага из Альпийского редута! Надежды на прорыв армии Венка тщетны, фюрер.

В блеклых, отсутствующих глазах Гитлера не было ничего, кроме апатии.

— Битва за Берлин войдет в историю цивилизации как поворотный момент борьбы, как чудо, как спасение свыше, — тихо сказал он. — Это все, генерал, благодарю вас.

...Ночью Борман пригласил к себе нового врача

Гитлера, угостил айнцианом, положив ему руку на колено, спросил:

— Скажите мне, старина, вы верите, что мы выиграем битву за Берлин? Не бойтесь говорить правду, я ее жду.

— Рейхсляйтер, — ответил доктор, — когда тебя много лет приучают говорить то, что считается правдой, пусть даже это самая настоящая ложь, в один день себя не переделаешь...

— По-моему, вы относились к той элитарной группе нашего содружества, где всегда говорили правду друг другу...

Врач покачал головой:

— Вы же прекрасно знаете, что мы говорили друг другу лишь ту правду, которая нравилась фюреру... А правда — это такая данность, которая угодна лишь одной субстанции: правде... Мы всегда были лгунами, рейхсляйтер... Нет, я не верю, что Берлин выстоит...

— И я не верю, — устало согласился Борман. — И меня сейчас более всего заботит судьба несчастных берлинцев... Но помочь им по-настоящему сможет только один человек, и зовут этого человека вашим именем.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду следующее, — закрыв глаза

ладонью, устало продолжал Борман. — Лишь вы знаете, какой укол сделать фюреру, чтобы его воля, разум оказались бы подверженными влиянию другой воли, моей в частности...

— Я давал клятву Гиппократа, рейхсляйтер...

Борман кончил тереть веки, вздохнул:

— Да будет вам, право... Сейчас-то ведь вас никто не заставляет лгать... А все равно лжете... На кого потом станете сваливать? Не на Гитлера же... И не на меня... Ни он, ни я — в данный конкретный момент — вас ко лжи не принуждали. Надо сделать так, чтобы фюрер стал легко внушаемым, доктор... Сделав так, вы исполните свой долг перед несчастными немцами...

Разговор был трудным, ватным, но в конце концов доктор пообещал усилить успокаивающий элемент в инъекциях. Большего Борман не добивался, хватит и этого.

В бункере ему теперь было плохо: стены давили, тишина оглушала, и он почти ощущал свою обреченность.

Зашел к помощнику Цандеру, сказал, что, видимо, через пару дней надо будет готовить бригаду прорыва для ухода на юг, в Альпы (и ему не открывал правды, обрекая на гибель, только Мюллер знал все). Вышел в зал, где за длинным

столом сидели Бургдорф и Кребс. Перед каждым стоял прибор, две бутылки вермута были раскупорены, Кребс пил мало — язвенник, но Бургдорф пил вовсю — было видно, что хотел опьянеть, но не мог.

Борман присел рядом. Слуга тут же принес ему прибор, бутылку айнциана — здесь все знали вкусы рейхсляйтера. Молча выпив, Борман пожелал генералам приятного аппетита.

Бургдорф фыркнул:

— Очень любезно с вашей стороны...

— Вы чем-то расстроены? — осведомился Борман учтиво.

— О, я расстроен многим, господин Борман! Я расстроен всем — так будет вернее! И особенно расстроен с тех пор, как, сев в мое штабное кресло, я делал все, чтобы сблизить армию и партию! Друзья стали называть меня предателем офицерского сословия, но я верил — искренне верил, — что мои усилия угодны высшим интересам немцев! А теперь я вижу, что мои старания были не просто напрасны — они были глупы и наивны!

Кребс положил ладонь на руку Бургдорфа, но тот стряхнул ее рассерженно.

— Оставьте меня, Ганс! — воскликнул он. — Че-

ловек обязан хоть раз в жизни сказать то, что у него наболело! Через сутки будет уже поздно! А у меня наболело, ох как наболело! Наши молодые офицеры шли на войну, полные веры в торжество дела! И что же? Сотни тысяч погибли. А за что? За родину? Будущее? За величие Германии?! Нет, вздор! Они погибли для того, чтобы вы, господин Борман, жили в роскоши и барстве! В такой роскоши, которая не снилась даже кайзерам! В таком барстве, которому могли бы позавидовать феодалы — полная бесконтрольность, пренебрежение интересами нации, душное самообогащение! Миллионы пали на полях сражений во имя того, чтобы вы, фюреры партии, набили свои карманы золотом, спекулируя разговорами о духовном здоровье нации! Вы понастроили себе замков, набили их ворованными картинами и скульптурами, паразитируя на горе немцев! Вы разрушили культуру Германии, вы разложили немецкий народ, из-за вас он проржавел изнутри! Для вас существовала только одна мораль: жить лучше всех, властвовать над всеми, давить всех и стращать! И эта ваша вина перед нацией не может быть искупима ничем, рейхсляйтер! Ничем и никогда!

Борман странно улыбнулся, поднял рюмку:

— Ваш спич носил слишком общий характер... Если кое-кто из моих друзей и мечтал о том, чтобы побыстрее разбогатеть, то меня-то вы в этом не можете обвинять!

— А ваши поместья в Мекленбурге?! — не унимался Бургдорф. — А леса и поля, купленные вами в Верхней Баварии? А замок на озере Чимзее?! Откуда все это у вас?!

— А я и не знал, что армия тоже следит за нами, — снова усмехнулся Борман и, допив айнциан, поднялся из-за стола, заключив: — Желаю вам славно отдохнуть, друзья, день будет хлопотным, всего лучшего...

...Когда в осажденный Берлин прилетел самолет фон Грейма и Ганны Рейч, когда летчица чудом посадила его на краю летного поля, удерживаемого отрядами «гитлерюгенда» и черными СС, Борман не испугался. Инъекции доктора сделали свое дело: Гитлер стал абсолютно безвольным, флегматичным, и даже во время беседы с Ганной Рейч, к которой он был обычно неравнодушен, глаза его были сонными, хотя на лице и сохранилась улыбка, словно бы положенная умелым гримером.

Борман трижды подходил к разговору о политическом завещании, но Гитлер, казалось, не

понимал слов рейхсляйтера или же пропускал их мимо ушей.

И только перед спектаклем бракосочетания Гитлера с Евой Браун, который был поставлен Геббельсом по подсказке Бормана, фюрер молча протянул рейхсляйтеру листки бумаги:

— Если у вас есть какие-либо соображения, можете предложить коррективы.

Борман извинился, попросил разрешения сесть, начал изучать «политическое завещание вождя немецкой нации».

— Фюрер, — сказал он, подняв глаза, в которых (он легко заставил себя сыграть) появились слезы, — этот документ переживет века... Но тут нет списка нового кабинета... Я полагал бы необходимым здесь же назвать тех, кому вы безраздельно доверяете... Только тогда политическое завещание станет действенным оружием в продолжении нашей великой борьбы...

— А я считаю разумным не включать новый кабинет рейха в завещание, — ответил Гитлер. — Это, мне кажется, будет мельчить идею.

— О нет, мой фюрер! Как раз наоборот! — жарко возразил Борман. — Это покажет то, что вы продолжаете руководить битвой! Прагматизм в данном случае будет выявлением спокойного

величия вашего духа...

— Хорошо, — устало согласился Гитлер, — вписывайте, кого считаете нужным, я скажу фройляйн Гертруде Юнге, чтобы она перепечатала все начисто... Но я не отвергаю возможности вылета с Греймом и Ганной Рейч в Альпийский редут, Борман... Я все время думаю об этом: все-таки живым я *смогу* больше, не находите?

Борман не смог поднять глаза, они бы его выдали: такая в них сейчас была ненависть к этому трясущемуся полутрупу, алчно и трусливо цеплявшемуся за жизнь...

— Мюллер, — сказал рейхсляйтер, пригласив к себе группенфюрера, — вы должны сделать так, чтобы сегодня же по шведскому или швейцарскому радио открытым текстом было передано сообщение о переговорах Гиммлера с Бернадотом и о предложении рейхсфюрера открыть западный фронт англо-американцам. Сможете?

— Нет, — ответил Мюллер. — Это надо было делать неделю назад, когда они болтали в Любеке с Бернадотом, сейчас начался хаос, рейхсляйтер...

— Где этот самый... Штирлиц?

Мюллер поднял глаза на Бормана — ничего не смог прочесть на его непроницаемом лице. Помедлив, ответил:

— Выполняет мое задание.

— Какое?

— С его помощью я намерен заложить большой фугас под Кремль.

Борман удивился:

— Намерены перебросить его в русский тыл?

— Да, — ответил Мюллер. — Только фугас у меня бумажный, пострашнее любого динамита.

— Поручить бы ему шведов...

— Он тоже ничего не сможет... Не обольщайтесь...

— Меня не устраивает такой ответ. Да и вас самого он тоже не может устроить. Мы начинаем опаздывать.

— Мы опоздали, рейхсляйтер, — ответил Мюллер. — Надо немедленно уходить... Вы здесь ничего с ним не добьетесь...

И Борман — пожалуй что, впервые в жизни — ответил прямо, без утайки и постоянной, изматывающей душу перестраховки:

— Добьюсь, потому что я знаю его, Мюллер. Я добьюсь, если вы сделаете то, о чем я вас прошу.

— Красные не станут вступать с вами в переговоры, рейхсляйтер...

— Вы заблуждаетесь. Помощник Цандер сделал анализ русской прессы: они подвергали остра-

кизму всех руководителей рейха, кроме меня. Понимаете? Я всегда был в тени, я шел следом, я был лишен того удушающего чувства сиюминутного лидерства, которое отличало Гиммлера и Геринга. Я шел в тени, и я поднялся к вершине. Сообщение об измене Геринга уже известно Москве. А если новость о предложении Гиммлера союзникам станет известна Сталину? И об этом узнает Гитлер? Англо-американцы неумолимо катятся на восток. Сталин завяз в Берлине. Соглашение о зонах оккупации нарушено. Почему бы Сталину не позволить мне повернуть немцев на запад? Заманчиво, Мюллер, очень заманчиво!

Мюллер покачал головой, вздохнул:

— Я, пожалуй, смогу сделать так, что одна из моих радиостанций засадит в открытый эфир — по-шведски, отчего нет? — сообщение о предложении Гиммлера. Важно, чтобы радиооператоры в министерстве пропаганды вовремя подхватили это сообщение: мои передатчики не так сильны, как ваши.

— Зачем нужна радиостанция Геббельса? У нас здесь самый мощный радиоцентр...

— Пусть известие придет со стороны, такому больше веры, неужели не ясно? — вздохнул Мюллер. — Высшая сладость сплетни в том и состоит,

что она приходит от чужих...

...Прочитав перехваченное сообщение «шведского радио» о предложении Гиммлера, которое принес Геббельс, Гитлер побелел, губа отвисла, он тонко закричал:

— Но это же верх бесстыдства! Он грязный изменник, он свинья! Я мог ждать удара в спину от генералов, но Гиммлер! Где Фегеляйн?! Доставить его сюда! Пусть он расскажет мне об измене Гиммлера, глядя в глаза! Он его посланник при ставке! Он скрывал от меня правду, этот мерзкий сластолюбец, женившийся на несчастной сестре фройляйн Браун, чтобы приблизиться ко мне! Доставьте его немедленно!

Фегеляйна нашли на одной из конспиративных квартир. Он готовился к бегству на север. В бункер его приводить не стали; по рекомендации Бормана, обергруппенфюрер был расстрелян в саду рейхсканцелярии.

Через полчаса после казни родственника Гитлер приказал фон Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь из Берлина в Шлезвиг-Гольштейн, найти там Гиммлера, арестовать его и расстрелять без суда и следствия.

После этого Борман отправился в радиоцентр и послал шифровку гросс-адмиралу Дёницу, в

которой открыто обвинил верховное командование вермахта в измене: единственная реальная сила в Германии — штаб армии, он должен теперь быть изолирован и окончательно задавлен страхом — никаких переговоров, никто не смеет говорить о мире, кроме него, Бормана; генералам уже известно об аресте Геринга; сейчас им станет известно о приказе фюрера — уничтожить изменника Гиммлера. Страх действует парализующе. Лучше всего вдавить ужас, сделав известной расправу над самыми могущественными людьми рейха, тогда в генералах еще больше проявится их собственная малость...

...Ночью фюрер вяло продиктовал свое завещание, перед этим дважды переписанное Борманом. В конце, после перечисления фамилий новых министров, он послушно добавил несколько строк, продиктованных ему рейхсляйтером.

> «Прошло более тридцати лет с тех пор, как в 1914 году я стал добровольцем, чтобы защитить рейх от нападения.
>
> Все эти три десятилетия я был полон любви к моей нации. Только эта любовь двигала всеми моими поступками, мыслями, всей моей жизнью, наконец... Эти

три десятилетия любви к нации и работа на ее благо потребовали отдачи всех моих сил, всего здоровья...

...Это ложь, будто кто-либо в Германии 1939 года хотел войны.

Войну спровоцировали интернационалисты еврейской национальности или те, кто им служит.

Я сделал слишком много для того, чтобы провести в жизнь ограничение вооружений и контроль над ним. Именно поэтому и были предприняты попытки возложить на меня ответственность за войну. С тех пор как я был добровольцем на полях мировой битвы, я никогда не хотел новой войны — ни против Англии, ни против Америки. Пройдут годы, но сквозь руины наших городов и памятников произрастет правда о всех тех, кто совершил это злодейство: и это будет правда о международном еврействе и его слугах.

Всего лишь за три дня перед началом германо-польской войны я внес предложение о мирном решении проблемы. Мой план был изложен английскому послу в Берлине: международный контроль

наподобие того, какой был учрежден в Саарской области. Мой план был отвергнут без обсуждения, потому что правящая клика Англии хотела войны, частично по соображениям коммерции, частично под влиянием пропаганды, находившейся в руках международного еврейства.

Полная ответственность за трагедию европейских народов, переживших ужасы нынешней войны во имя выгод финансового капитала, лежит целиком и полностью на евреях. Я же сделал все, что мог, чтобы миллионы детей Европы арийского происхождения не голодали, миллионы мужчин не гибли на полях битв, сотни тысяч женщин и младенцев не подвергались насилиям и бомбардировкам.

После шести лет войны, которая, несмотря на все отступления, в один прекрасный день будет признана самой героической борьбой нации за свое существование, я не могу оставить город, который является столицей рейха. Поскольку наши войска слишком робки, чтобы отразить атаки врага, поскольку

сопротивление было поручено организовать тем, у кого нет должного характера, я решил разделить мою судьбу с судьбой тех миллионов, которые решили защищать город.

Я ни в коем случае не отдам себя в руки врагов, которые наверняка приготовили новый спектакль, по сценарию евреев, чтобы порадовать массы, впавшие в состояние истерии.

Я уйду из жизни добровольно в том случае, если пойму, что положение фюрера безнадежно. (Борман ужаснулся: неужели Гитлер думает о себе в третьем лице, потом понял: «Я ведь это сам написал!», исправлять на людях не решился.) Я умру с легким сердцем, потому что знаю, как многого добились наши крестьяне и рабочие, я умру с легким сердцем, ибо вижу совершенно уникальную преданность моему делу нашей молодежи. Я бесконечно благодарен им и завещаю им продолжать борьбу, следуя идеалам великого Клаузевица. Гибель на полях битв приведет в будущем к великолепному возрождению идеалов национал-социа-

лизма на базе единства нашей нации.

Множество мужчин и женщин решили связать свои жизни с моею. Я благодарю их за это, однако приказываю им не разделять моей судьбы, но продолжать битву на фронтах. Я приказал командующим армиями, флотом и авиацией крепить в войсках дух национал-социализма, объясняя солдатам, что я — фюрер и создатель движения — предпочел смерть капитуляции...

Перед смертью я исключаю из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга, я отнимаю у него все те права, которые были ему пожалованы декретом 29 июня 1941 года и решением рейхстага от 1 сентября 1939 года. На его место я назначаю адмирала Дёница — в качестве президента рейха и главнокомандующего вооруженными силами.

Перед моей смертью я исключаю из партии и снимаю со всех занимаемых должностей бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. На его место — в качестве рейхсфюрера СС — я назначаю гауляйтера Карла

Ханке, а министром внутренних дел я назначаю гауляйтера Пауля Гислера.

Помимо акта нелояльности по отношению ко мне Геринг и Гиммлер бросили пятно невыразимого позора, начав секретные переговоры с врагом, не поставив меня об этом в известность, против моей воли. И, наконец, в их поступках видно желание узурпировать власть в рейхе.

Желая дать Германии правительство, составленное из наиболее благородных людей, я, как фюрер нации, называю членов нового кабинета:

Президент рейха — адмирал Дёниц.

Канцлер — доктор Геббельс.

Министр партии — Борман.

Министр иностранных дел — Зейсс-Инкварт.

Министр внутренних дел — гауляйтер Гислер.

Министр обороны — Дёниц.

Главнокомандующий армией — Шернер.

Главнокомандующий флотом — Дёниц.

Главнокомандующий воздушным флотом — Грейм.

Рейхсфюрер СС — гауляйтер Ханке.

Министр торговли — Функ.

Министр сельского хозяйства — Баке.

Министр юстиции — Тирак.

Министр культуры — доктор Шеель.

Министр пропаганды — доктор Науман.

Министр финансов — Шверин-Крозиг.

Министр труда — доктор Хаупфауэр.

Министр снабжения — Саур.

Вождь трудового фронта и министр без портфеля — доктор Лей.

...Несколько человек — среди которых Мартин Борман, доктор Геббельс и ряд других — вместе с их женами присоединились ко мне по своей доброй воле, не желая покидать столицу ни при каких обстоятельствах. Они намерены уйти из жизни вместе со мною. Я, однако, считаю, что вопрос борьбы нации являет собою нечто большее, чем их желание. Я убежден, что мой дух после моей смерти не оставит их, но будет помогать им во всех их начинаниях... Пусть они всегда помнят, что наша задача, то есть консолидация национал-социалистского

государства, являет собою задачу веков, которые грядут, и поэтому будущее каждого индивида должно быть тщательно скоординировано с интересами всеобщего блага. Я прошу всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин и женщин, всех солдат вермахта сохранять верность — до последней капли крови — новому правительству и его президенту.

И — главное — я требую от правительства и народа свято соблюдать расовые законы и всеми силами противостоять интернациональному еврейству.

Берлин, 29 апреля 1945 года, 4 часа утра.

Свидетели: доктор Йозеф Геббельс, Мартин Борман, Вильгельм Бургдорф, Ганс Кребс».

...Гитлер *шаркающе* обошел тех, кого Борман пригласил в конференц-зал, медленно, потерянно улыбаясь, заглянул им в глаза, пожал каждому руку, повторяя одно и то же:

— Я благодарен вам за верность, спасибо, прощайте...

Потом он отошел к столу — там лежали ампулы

с ядом. Он роздал их секретаршам, по-прежнему потерянно улыбаясь.

Затем, сгорбившись, чуть пританцовывая, он медленно двинулся к двери, что вела в его личные покои. На пороге он остановился, обвел всех тяжелым, мутным взглядом, как-то жалобно пожал плечами и медленно, *падающе* покинул конференц-зал.

Все те, кто был в конференц-зале, сразу же перешли в столовую: там был накрыт стол. Завели патефон. Поставили пластинку с музыкой Вагнера. После того как выпили, кто-то принес другие пластинки. Зашуршала иголка, и — неожиданно для всех — полилась нежная мелодия танго «Нинон».

Бургдорф поднялся, подошел к секретарше Ингмар, пригласил ее на танец. Следом за ним поднялись и другие. Кто-то запел; хлопнула пробка шампанского. Заместитель начальника личной охраны Гитлера захохотал, глядя на то, как штандартенфюрер Вайгель сыпал соль на пятна, оставшиеся на кителе от пролитого шампанского. Смех его был истеричным, он что-то говорил, но слов разобрать было нельзя.

И вдруг распахнулась дверь — на пороге стоял Гитлер.

— Вы мешаете мне спать! — крикнул он тонким, срывающимся голосом. — Прекратите, пожалуйста, эту гнусность! Сейчас всем угодна тишина, хоть немного тишины!

...Узнав об этом, Борман сразу же отправился в комнаты Геббельса. Тот сидел в своем маленьком кабинете за столом и чертил замысловатые круги, не в состоянии собраться с мыслями, хотя намерен был написать свое завещание — он действительно был единственным, кто *верил* Гитлеру. Впрочем, порою Борману казалось, что Геббельс так же, как и он, понимал *все*, однако не мог — в силу сложившихся в окружении фюрера отношений — открыто признаться себе в том, что таилось у него в сердце.

О мудрой поговорке «не сотвори себе кумира» вспоминают лишь тогда, когда кумир терпит поражение, и более всего страдают при этом те именно, которые положили жизнь на то, чтобы превратить личность Адольфа Гитлера в фюрера, мессию, кумира нации. Однако разрушить то, что было ими же создано, невыразимо трудно, ибо разрушать пришлось бы самих себя, свою духовную субстанцию, подчиненную и раздавленную кумиром, которому добровольно было отдано свое право на мысль, мнение и поступок: вне

и без его разрешения мысль и поступок могли быть квалифицированы как государственная измена — даже если речь шла о том, как лучше организовать оборону, наладить выпуск военной продукции, скорректировать высказывание пропагандистов НСДАП. Только он, кумир, есть истина в последней инстанции. Только его мнение являет собою абсолютную правду, только его слово может считаться утверждением; все замкнуто на одном, все подчинено одному, все определяется одним. Полная свобода от мыслей, свобода от принятых решений, сладостное растворение в чужой силе — только так и никак иначе!

Борман присел на краешек стула, посмотрел на часы и сказал:

— Йозеф, мы всегда грешили тем, что не договаривали до конца правды. Теперь мы лишены этой привилегии. Вы понимаете, что если завтра нам не удастся обратиться к большевикам от имени нового кабинета — все будет кончено?

— Провидение не вправе оставить нас в беде...

Борман вздохнул:

— Ах, милый Йозеф... Провидение давно оставило нас... Мы барахтаемся в грязной луже, как щенки. — Он хотел было сказать всю правду до

конца, но остановил себя: этот истерик готов на все, он совершенно раздавлен страхом, поэтому неуправляем в своем фанатизме. — Если мы не поможем фюреру, немцы никогда не простят нам позора... Подумайте, что может случиться, если сюда ворвутся большевики и захватят его живым...

— Что вы предлагаете? — спросил Геббельс, начав растирать виски длинными трясущимися пальцами. — Что, Мартин?

— То же, о чем думаете вы: помочь фюреру уйти.

— Я этого не предлагал!

— Вы думаете об этом, Йозеф, вы думаете. Как и я. Не лгите же себе наконец!

— Но это невозможно! — Геббельс заплакал. — Я не смогу себе этого простить!

— Хорошо, — сказал Борман. — Подождем еще несколько часов, а потом примем решение.

Геббельс икающе плакал, лицо его сморщилось, слезы на пепельном лице свидетельствовали о какой-то глубокой безнадежной болезни, сокрытой в этом маленьком человечке с горящими круглыми глазами.

«Наверное, у него рак, — подумал Борман поднимаясь. — Он не жилец, в нем нет жажды

продолжить радость бытия. Его нельзя оставлять одного. Если я выстрелю, он должен быть рядом, но так, чтобы не пустил мне пулю в затылок. Увидев, как фюрер, корчась, упадет, карлик может засадить в меня обойму... Я убивал во имя идеи, я знал эту работу, у меня нет содрогания перед делом, а он лишь говорил свои речи... Пусть стоит рядом. Пусть будет повязан... Если перемирие с красными состоится, я не хочу оказаться Рэмом, которого обвинят в измене...»

— До свидания, Йозеф, я должен поработать. Встретимся утром в конференц-зале, если фюрер не сможет сам уйти от нас до утра. Повторяю, время истекло. — И добавил пустое, однако же обязательное: — Нация нам этого не простит...

...Через полчаса Борман вызвал к себе помощника Цандера.

— Это — письменные полномочия Дёницу на президентство в рейхе, — сказал он, передавая ему текст. — Если вы поймете, что прорыв сквозь русские позиции невозможен, уничтожьте этот текст, подписанный Гитлером, хотя Мюллер заверил меня, что вы, Лоренц и майор Йоханмайер пройдете линию битвы, пользуясь маяками. Вы передадите текст завещания Дёницу и сделаете все для того, чтобы Лоренц и Йоханмайер были

оттерты от адмирала — не вам говорить, что Лоренц служит Геббельсу, а Йоханмайер неравнодушен к генеральному штабу. Это все. Желаю вам удачи, мой друг, счастливо!

...Первый раз в жизни Борман не закончил беседу с помощником обязательным, как отправление естественной нужды, возгласом «Да здравствует Гитлер!». Спектакль кончился, все торопились в гардероб за пальто, чтобы первыми вскочить в проходящий автобус, пока еще не выстроилась злая длинная очередь из тех, кто только что смеялся и плакал, будучи объединен воедино тем, что разыгрывалось на сцене загримированными лицедеями...

Удар Красной армии. Последствия — III

Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем...

Хрустело...

Лично и строго секретно для Маршала Сталина

1. Посланник Соединенных Штатов в Швеции информировал меня, что Гиммлер, выступая от имени Германского Правительства в отсутствие Гитлера, который, как утверждается, болен, обратился к Шведскому Правительству с предложением о капитуляции всех германских вооруженных сил на западном фронте, включая Норвегию, Данию и Голландию.

2. Придерживаясь нашего соглашения с Британским и Советским Правительствами, Правительство Соединенных Штатов полагает, что единственными приемле-

мыми условиями капитуляции является безоговорочная капитуляция на всех фронтах перед Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами.

3. Если немцы принимают условия вышеприведенного 2-го пункта, то они должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя.

4. Если Вы согласны с вышеуказанными 2-м и 3-м пунктами, я дам указания моему Посланнику в Швеции соответственно информировать агента Гиммлера.

Аналогичное послание направляется Премьер-министру Черчиллю.

Трумэн.

Через пять часов из Москвы ушла шифрованная телеграмма в Вашингтон:

Личное секретное послание Премьера И. В. Сталина Президенту г-ну Г. Трумэну

Получил Ваше послание... Благодарю Вас за Ваше сообщение о намерении Гиммлера капитулировать на западном фронте. Считаю Ваш предполагаемый

ответ Гиммлеру в духе безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на советском фронте, совершенно правильным. Прошу Вас действовать в духе Вашего предложения, а мы, русские, обязуемся продолжать свои атаки против немцев.

Сообщаю к Вашему сведению, что аналогичный ответ я дал Премьеру Черчиллю, который также обратился ко мне по тому же вопросу.

Для Маршала Сталина от Президента
лично и совершенно секретно

Сегодня я послал г-ну Джонсону в Стокгольм следующую телеграмму:

«В связи с Вашим сообщением, отправленным 25 апреля в 3 часа утра, информируйте агента Гитлера, что единственными приемлемыми условиями капитуляции Германии является безоговорочная капитуляция перед Советским Правительством, Великобританией и Соединенными Штатами на всех фронтах.

Если условия капитуляции, указанные выше, принимаются, германские

вооруженные силы должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя.

На всех театрах, где сопротивление продолжается, наступление союзников будет энергично проводиться до тех пор, пока не будет достигнута полная победа».

Трумэн.

Личное и секретное послание Премьера И. В. Сталина Президенту Трумэну

Ваше послание, содержащее сообщение о данных Вами указаниях г-ну Джонсону, получил 27 апреля. Благодарю Вас за это сообщение.

Принятые Вами и г-ном Черчиллем решения добиваться безоговорочной капитуляции немецких вооруженных сил, по-моему, — единственно правильный ответ на предложения немцев.

Информация к размышлению — XII (И снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер)

С первых дней своего прихода в Белый дом Рузвельт был окружен ненавистью не только нацистов Гитлера, фашистов Муссолини, — в самой Америке ему противостояла могущественная группа людей, готовых на все, лишь бы изменить новый курс, провозглашенный демократическим президентом.

Смысл этого курса заключался в признании политических реальностей, сложившихся в мире, — с одной стороны, и, с другой — в открытом и нелицеприятном обсуждении бедственного экономического положения страны.

Конечно же, наивно было считать Франклина Делано Рузвельта политиком левого толка; он стоял на страже интересов своего класса; однако он называл вещи своими именами, он защищал мир свободного предпринимательства от его наиболее недальновидных, догматических и алчных представителей, причем защищал в *центре*, а отнюдь не слева, как о том писал Геббельс. Но

зашоренность консерваторов такова, что всякое новое слово, хоть в какой-то мере отходящее от привычных штампов, устоявшихся десятилетиями, кажется им концом света, изменой идеалам, крахом традиций, предательством родины. Для консерваторов — всегда и везде — форма куда как важнее смысла. Слово надежнее дела, прошлое дороже будущего.

Когда Рузвельт открыто на всю страну сказал, что «труд рабочих имеет такое же право на уважение, как и собственность», правые ощутили шок. Но президент не остановился на этом, он продолжил:

— Но наши рабочие нуждаются не только в уважении к труду. Им нужна действенная защита их права получать за свой труд столько, сколько необходимо для пристойного существования при постоянно повышающемся уровне жизни... Кое-кто не умеет разобраться ни в современной жизни, ни в уроках истории... Такого рода люди пытаются отрицать право рабочих на заключение коллективных договоров, на материальную заинтересованность, просто-напросто на человеческий образ жизни. Так вот, именно эти близорукие консерваторы, а не рабочие создают угрозу распрей, которые в других странах приве-

ли к взрыву...

...Эти его слова переполнили чашу терпения; крайне правые финансисты и бизнесмены *поставили* на военный путч, на фашистский переворот.

...Джон Эдгар Гувер был великолепнейшим образом осведомлен о том, отчего генерал и кавалер боевых орденов Смэдли Батлер был уволен в отставку. История его падения уходила в прошлое, когда он в начале тридцатых годов, выступая перед прессой, рассказал, как Муссолини, сидя за рулем одной из своих гоночных машин (их у него было двадцать три), сбил мальчишку, проносясь через маленький городок под Римом. На беду, рядом с ним сидел молодой американский журналист, он-то и поведал генералу об этом эпизоде, добавив: «Диктатор повернулся ко мне. Лицо его было бледным, но полным какого-то пьяного веселья. «Никогда не оглядывайтесь, — усмехнулся он. — И забудьте то, что видели. Жизнь одного человека — ничто в сравнении с благом нации».

Генерал гремел:

— Римский диктатор — это бешеный пес, который вот-вот сорвется с цепи и бросится на Европу! Ему нечего терять! Он лишен морали, он алчет владычества!

Итальянский посол сразу же посетил государственный департамент и вручил ноту протеста.

Президент Герберт Гувер, сменивший Кулиджа, вызвал генерала и попросил его отказаться от своих слов.

— Но ведь все, что я говорил, — правда, — возразил Батлер.

— Может быть, — согласился Герберт Гувер, — но вы не можете отрицать того, что Муссолини сейчас олицетворяет собою антибольшевистскую силу Европы.

— В таком случае я готов стать на сторону большевиков, господин президент, хоть мне и очень не нравится их доктрина.

Герберт Гувер крякнул, кашлянул, уперся тяжелым взглядом в лицо генерала и заключил:

— Ну если вы так ставите вопрос, то и я позволю себе быть до конца определенным: в случае если вы не откажетесь от своих слов, мы предадим вас военно-полевому суду.

— Что ж, тогда я буду вынужден продолжать свою кампанию... Я просто-напросто обязан рассказать американцам, кто является нашим европейским союзником против России. Я открыл лишь часть фактов, имеющихся в моем распоряжении, значит, пришло время выложить все.

— Вы пожалеете об этом, генерал, — пообещал президент и кивком прекратил аудиенцию. Она была беспрецедентно короткой: шесть минут, ни секундой больше.

Из Белого дома Батлер вышел самым популярным человеком Америки. Итальянский посол, испугавшись, что генерал действительно начнет кампанию против Муссолини — рассказать про римского диктатора было что, — попросил государственный департамент *замять* дело, Батлер был уволен в отставку; когда на смену Гуверу пришел президент Рузвельт и начал свои скандальные выступления, которые были обращены к рабочим, генерала посетили два человека и сказали:

— Мистер Батлер, «Американский легион», организация, про которую враги говорят вздор и клевету, должна быть возглавлена вами, ибо вы умеете отстаивать право на особое мнение. Осенью в Чикаго будет съезд «Легиона», мы готовы поддержать вас, если вы согласитесь выставить свою кандидатуру.

— Это честь для меня, — ответил генерал, — но откуда я возьму деньги на предвыборную кампанию? Кто будет финансировать мою кандидатуру? Я польщен вашим предложением, но

вынужден отказаться...

Один из визитеров, помощник командора «Легиона» Джеральд Макграйр, достал из кармана две чековые книжки на сто тысяч долларов и положил их на стол перед генералом:

— Это первый взнос. Мы передадим вам столько, сколько будет нужно для победы.

Второй визитер, Уильям Дойл, передал генералу текст его речи в Чикаго. Помимо нападок на экономическую политику Рузвельта, помимо критики внешнеполитического курса президента, особенно признания Советской России, там было два абзаца, которые потрясли Батлера. В них прямо говорилось, что эксперимент Муссолини и Гитлера — единственно реальная альтернатива коммунизму.

Батлер понял, что его *играют*. Поэтому он сказал:

— Ну что ж, дело стоит того, чтобы за него подраться. Сводите меня с вашими боссами, продумаем, как поступать дальше.

— Вы слышали о моем боссе, — ответил Макграйр. — Это полковник Грейсон Мэрфи с Уолл-стрита, он замкнут на биржу, стоит несколько миллионов.

— Один Мэрфи мало чего даст, — сказал Батлер.

— Он сильный парень, я понимаю, но один ничего не сделает в таком сложном предприятии, какое вы затеваете.

Через три дня Макграйр устроил встречу Батлера с коллегой Мэрфи — биржевым воротилой Робертом Кларком.

— Вы хотите точности, — сказал тот, — что ж, согласен. Я стою тридцать миллионов долларов, и я готов вложить пятнадцать в «Легион», с тем чтобы солдаты сделали то, в чем заинтересованы я и мои друзья.

— А в чем вы заинтересованы?

— В сильной руке, — ответил Кларк. — В том, чтобы в Белом доме сидел *хозяин*, а не хромоногая демократическая размазня.

— Вы убеждены, что Европа поддержит вас? — поинтересовался Батлер. — Не боитесь остаться в изоляции?

— Не боимся.

— А я боюсь.

— Словом, вы отказываетесь войти в наше дело?

И генерал ответил:

— До тех пор пока я не получу сведений, как прореагируют на ваши соображения в Европе, я воздержусь от участия в предприятии.

Макграйр был отправлен в Гавр. Там он встретился с лидерами французских фашистов; кагуляры с восторгом отнеслись к предложению «легионеров» о необходимости воцарения «сильной руки» в Белом доме.

Контакты с людьми Гитлера и Муссолини были столь же обнадеживающими.

Вернувшись из Европы, Макграйр посетил Батлера и сказал ему без обиняков:

— Америке необходима срочная перемена системы правления. Вы возглавите поход ветеранов на Вашингтон. Этим мы понудим Рузвельта отойти в сторону. Если он проявит благоразумие, мы оставим его на плаву — вроде итальянского короля при Муссолини. Если он не согласится сотрудничать с молодым движением американского фашизма, мы его сбросим. Лишь одна сила способна сломить коммунизм — это национальный фашизм.

— Чтобы произвести переворот, нужна организация, — заметил генерал Батлер. — Не кидайтесь с кинжалом на горячее дерьмо, это смешно выглядит...

— Прежний командор «Американского леги-

она» Луис Джонсон[25] сильнее Мэрфи и Кларка вместе взятых, — ответил Макграйр. — Он — с нами. И не только один он. Я кооптирован на пост начальника отдела по приему почетных гостей «Легиона», я знаю, что говорю, когда заверяю вас в нашей мощи. С нами генерал Дуглас Макартур, а вам известно, какой это человек; с нами генерал Макнайдер, а вы знаете, какие банки стоят за ним... И это только пара имен из нашего военного клана...

...После этого Батлер сделал заявление для печати.

Америка *загудела*...

Однако лидер страны далеко не всегда правомочен принимать волевые решения. Ряд советников правительства, которые представляли интересы ведущих банковских и промышленных групп, были контактными фигурами, осуществлявшими связь между истинными хозяевами Америки и администрацией. Поскольку миллиардер Морган стоял за спиной «Легиона», поскольку Форд открыто симпатизировал фашизму, духу «порядка и закона, с которым не спорят», ближайшему окружению Рузвельта была *навязана* линия,

---

25 Примечания: 25

Впоследствии президент Трумэн назначил Луиса Джонсона министром обороны США.

которая определяется просто и горестно: «балансируя, спустить дело на тормозах».

Память общества коротка, особенно когда средства массовой информации ежедневно и ежечасно подбрасывают в постоянно огнедышащую топку сенсации новые скандалы, версии, сплетни, анекдоты, ужасы.

И на этот раз люди, связанные с издательскими концернами, смогли повлиять на репортеров так, что пресса сработала в нужном направлении: газеты оказались заполнены броскими сообщениями о новом любовном увлечении известного актера Хамфри Богарта; в статьях *гудели* о фаворите американских ипподромов трехлетке Стоу, который в трех забегах привез два миллиона долларов выигрыша своему хозяину; много и весело писали про то, как Чарльз Чаплин снимает новый фильм. Дело о фашистском путче забыли.

Однако заговорщики остались.

Они ждали своего часа.

Они его дождались.

Через десять часов после того, как Рузвельт умер в своей загородной резиденции, генерал Донован проинформировал Даллеса, что контакт с Вольфом — в случае если это поможет спасти Италию от коммунизма — необходимо срочно

возобновить.

Через два дня Карл Вольф имел тайную встречу с посланцем Даллеса. После этого он начал готовиться к заключительной фазе переговоров в Швейцарии; Шелленберга в известность не поставил: каждый умирает в одиночку, а уж живет — тем более.

Тем не менее Борман узнал об этом. Он не сразу принял решение, но план зрел в его голове, любопытный, смелый план. Оставалось додумать детали — этим занялся Мюллер.

Вольф получил приказ из бункера прибыть к Даллесу — без приглашения, *наскоком* — и привезти текст капитуляции всех войск рейха в Северной Италии перед западными союзниками; приказ был отправлен ему открытым текстом, надо было, чтобы русские узнали об этом немедленно.

Русские об этом немедленно и узнали...

Через пять дней Трумэн собрал свой «теневой кабинет» и сообщил, что он намерен в течение ближайшего времени освободить со своих постов ведущих министров, пришедших в Вашингтон вместе с Рузвельтом.

При этом он назвал тех, кого намерен прибли-

зить к себе в самое ближайшее время.

— Две ключевые фигуры вызовут, конечно же, свистопляску среди левых, — заметил Трумэн. — Я имею в виду Джона Даллеса и Форрестола, но именно эти люди потребуются мне, чтобы проводить твердый курс после того, как в Европе и в Азии смолкнут пушки.

Он знал, что говорил: и Даллес, и Форрестол были теми американскими политиками, которые наиболее последовательно содействовали финансированию немецкой промышленности накануне прихода Гитлера к власти; Форрестол способствовал вложению капиталов Уолл-стрита в немецкий стальной трест «Ферайнингте штальверке». Именно эта корпорация платила деньги Гиммлеру для создания СС. Даллес был не только компаньоном нацистского банкира Шредера. Он разместил в Германии займы на сумму в несколько сот миллионов долларов и помог концерну «Фарбениндустри», проводившему опыты на заключенных в гитлеровских концлагерях, открыть свои филиалы в Америке. Гитлер уйдет, но те, кто его создал, останутся. Незачем искать новых людей — старый друг лучше новых двух, да и за одного битого двух небитых дают.

Трумэн привел в Белый дом всех тех, кто ра-

ботал под его началом, когда он был сенатором от штата Миссури. Полковника Вогана он сделал своим адъютантом и присвоил ему звание генерала. Личный врач нового президента был вызван из Канзас-Сити и сразу же пожалован генералом; связь с миром бизнеса Западного побережья начал осуществлять личный друг президента нефтяной король Эдвин Поули.

Когда один из «миссурийской банды» — так в народе назвали этот его «теневой кабинет» — заметил, что такого рода крен в правительстве неминуемо вызовет нарекания на отход от курса Рузвельта, новый президент досадливо поморщился:

— Каждый президент имеет право на свой курс. А если слева начнутся нападки, обопремся на тех, кто стоит на самом правом краю нашего политического поля. Заигрывание Рузвельта с Москвой надоело. Сталина пора поставить на место, наших коммунистов надо осадить, они сделали свое дело на фронте и — хватит, пусть отойдут в сторону.

Через семь дней Джон Эдгар Гувер получил санкцию на начало работы против всех тех, кто поддерживал или поддерживает добрые отношения с антифашистскими организациями,

особенно с такими, которые открыто восхищаются мужеством и героизмом русских в их борьбе против гитлеризма.

Информация к размышлению — XIII (Еще раз о Максиме Максимовиче Исаеве)

Штирлиц лежал в кровавом тошнотном полузабытьи. Тело было чужим, ватным, даже если пробовал шевелить пальцами — в голове отдавало острым, игольчатым звоном и лицо сразу же покрывалось потом. Язык был громадным, сухим, мешал дышать. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться, мысль не *давалась* ему, она рвалась, как эрзац-шпагат, и он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.

«Заставь, — тяжело сказал он самому себе. — Заставь, — повторил он. — Заставь... А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя, я устал от этого... Нет, — возразил он, — ты должен и ты можешь заставить... Ну-ка заставь... О чем я? — теперь уже с ужасом подумал он, ибо забыл, отчего появилась мысль о том, что он должен себя заставить. — А ты вспомни. Вспомни... Заставь себя вспомнить... Ах да, я хотел заставить себя вспоминать то, что

дорого мне... Тогда начнется цепь, а она, как хороший канат в горах... Каких горах? — не понял он себя. — При чем здесь горы? Ах, это, наверное, когда папа привез меня в Сен-Готард, и была осень, межсезонье, людей нет, только прозрачный звон на отрогах, стада паслись, на шеях коров колокольчики, и такой это был прекрасный перезвон, такое бывает разве что перед новым годом, когда ты еще маленький и, проснувшись, долго не открываешь глаз, потому что мечтаешь про то, каким будет подарок папы... Но ведь я не сказал Мюллеру, как зовут папу? — испуганно спросил он себя. — Я не сказал ему, что я никакой не Исаев, а Сева Владимиров, и папа похоронен в Сибири, его убили такие же, как он, только русские... Ну а что будет, если я ему сказал об этом? Будет плохо. Он не смеет прикасаться к папиной памяти даже словом... А еще он станет обладать знанием и обернет это против меня, пошлет телеграмму в Центр, в которой сообщит, что Сева Владимиров на все согласен. А кто там помнит, что я — Владимиров? Там и про Исаева-то знают трое. Видишь, ты заставил себя, ты смог себя заставить думать, только не засыпай, потом будет трудно, снова в голове будет мешанина, а это страшно. «Не дай мне бог сойти с ума, уже лучше посох

и сума...» Кто это? Заставь, — изнуряюще нудно приказал он себе, — вспомни, ты помнишь... Это Пушкин — как же я могу это забыть... Ах, какая прекрасная была у Пушкина визитная карточка, здесь на карточке пишут все должности, звания, количество крестов, господин профессор, доктор, кавалер Рыцарского креста штурмбанфюрер Менгеле, дипломированный врач-терапевт. А нужно бы только одно слово — «палач»... А на визитной карточке Пушкина просто: «Пушкин». И хоть на конце был никому не нужный «ять», зато как прекрасна эта его карточка — сколько в ней отрицания пошлости, каково достоинство, экое ощущение личности... Пушкин... Погоди, Максим... Погоди... Почему ты вспомнил о горах? Ну так это ведь ясно, — ответил он себе, — Сен-Готард, Чертов Мост, Суворов, чудо-богатыри... А канонада отчего-то совсем не слышна... — Он вдруг ужаснулся. — А что, если прорвались танки Венка? Или эсэсовцы Шернера? Или с Даллесом сговорился Гиммлер?»

Штирлиц вскинулся с лежака, ощутив — впервые за эти страшные часы — мышцы спины; но сразу же упал, оттого что ноги были схвачены стальными обручами, а руки заломлены за спину...

«Я жив, — сказал он себе. — Я жив. Жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, а Вилли ударил в ухо тем пузатым хрустальным стаканом... Я поэтому стал плохо слышать, это ничего, пройдет, в русском госпитале мне сделают операцию, и все будет в порядке...»

Он бессильно опустился на лежак и лишь теперь почувствовал рвущую боль во всем теле. До этого боли не было — лишь тупое ощущение собственного отсутствия. Так бывает, видимо, когда человек между жизнью и смертью: слабость и гулкая тишина.

«Я жив, — повторил он себе. — Ты жив, потому что можешь чувствовать боль. А про цепь ты велел себе вспоминать оттого, что по ней, как по канату в горах, можно добраться до счастья, до вершины, откуда видно далеко окрест, словно в Оберзальцберге. Домики на равнине кажутся меньше спичечных коробков, мир поэтому делается огромным и спокойным, а ты достаешь из рюкзака хлеб, колбасу и сыр, термос с кофе и начинаешь пировать... Погоди — высшее счастье не в том, чтобы созерцать мир сверху, в этом есть что-то надменное. Нет, счастье — это когда ты живешь на равнине, среди людей, но памятью можешь подниматься к тому, что доставляет

тебе высшее наслаждение... Дает силу выжить... Погоди, погоди, все то время, пока они били меня, я вспоминал одно и то же имя... Я повторял это имя, как заклинание... Какое? Вспомни. Заставь себя, ты можешь себя заставить, не давай себе поблажки, боль — это жизнь, нечего валить на боль, ты должен вспомнить то имя...»

Грохнуло рядом; *хрустнуло*; зазвенели осколки стекла...

«Сирин! — ликующе вспомнил Штирлиц. — Ты держался за это имя зубами, когда они били тебя, твои руки были в наручниках, и ты не мог ухватиться за спасательный круг, а этим кругом был Сирин, и ты держался зубами, у тебя ужасно болели скулы не потому, что они били тебя по лицу, а оттого, что ты ни на секунду не смел разжать зубы, ты бы сразу пошел на дно... А кто такой Сирин? Откуда это имя? Погоди, так ведь это Ефрем, просветитель из Сирии, потому-то и стал на Руси зваться Сириным... Как это у него? Проходит день, по следам его идет другой, и, когда не гадаешь, смерть стоит уже в головах у тебя... Где мудрецы, которые писаниями своими наполнили мир? Где те, которые изумляли мир своими творениями, пленяли умствованиями? Где те, которые гордились дорогими одеждами и

покоились на пурпуровых ложах? Где те, которые изумляли красотою своей наружности? Где те руки, что украшались жемчужинами? Где те, которые приводили в трепет своими велениями и покоряли землю ужасом своего величия? Спроси землю, и она укажет тебе, где они, куда положены... Вон, все они вместе лежат в земле, все стали прахом... Вот за кого я держался, пока они меня мучили, и я выдержал, спасибо тебе, сириец Ефрем, спасибо тебе, человек духа... Спасибо... И про Сен-Готард я вспомнил неспроста, потому что папа именно туда взял книги, в которых были писания Сирина и Никона Черногорца... Помнишь, в пансионате, где мы ночевали, была злая хозяйка? Чистая ведьма, волосы пегие, на «доброе утро» не отвечала — такое в Швейцарии редко встретишь: они ведь добрые люди, в горах живут, там злой не выживет, и папа тогда прочитал мне Сирина, очень еще смеялся... Как это? Нет зверя, подобного жене лукавой, самое острое оружие диавольское... И аспиды, если их приласкают, делаются кроткими, и львы и барсы, привыкнув к человеку, бывают смирны; но лукавая и бесстыдная жена, если оскорбляют ее, бесится, ласкают — превозносится... Папа еще тогда предложил испробовать истинность слов Ефрема Сирина,

и мы спустились на первый этаж, и попросили кофе, и стали говорить ведьме, какой хороший у нее пансионат и как прекрасно спать под перинами при открытом окне, а она буркнула, что на всех не натопишь, проклятая немецкая привычка открывать окна, будто днем не надышитесь здешним воздухом... Папа тогда подмигнул мне, повторив: «Если ласкают — превозносится»... А последний раз я вспомнил Сирина после поджога рейхстага, когда Гейдрих собрал шестой отдел РСХА и, *плача* настоящими слезами, говорил о преступлении большевиков, которые подняли руку на германскую святыню, хотя почти все, кто слушал его, накануне были мобилизованы для выполнения специального задания, и закон о введении чрезвычайного положения был уже заранее распечатан и роздан тем, кто должен был начать аресты коммунистов и социал-демократов... А Гейдрих *плакал*...» Штирлиц тогда не мог понять, как может столь гармонично умещаться ложь и правда в одном человеке, в том именно, кто планировал поджог, а сейчас рыдал по германской святыне...

Вернувшись к себе — Штирлиц тогда жил в Шарлоттенбурге, за мостом, напротив «блошиного рынка», — он снова смог припасть памятью к

тому спасительному, что давало ему силы жить, к русскому языку, и вспоминался ему тогда именно Сирин, и слышал он голос папы, который так прекрасно читал этого веселого православного попа из Дамаска... «Кто устоит против обольщений злодея, когда увидит, что весь мир в смятении и что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, а другие истаивают, как воск, от жажды? Каждый со слезами на глазах будет спрашивать другого: «Есть ли на земле слово Правды?» И услышит в ответ: «Нигде». И тогда многие поклонятся мучителю, взывая: «Ты — наш спаситель!» Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет своих бесов во все концы смело проповедовать: «Великий царь явился к вам во славе!» Все его последователи станут носить в себе печать зверя, только тогда они смогут получать себе пищу и все потребное... Для привлечения к себе станут прибегать к хитрости: «Не беру от вас даров, говорю о зле со гневом», и многие сословия, увидав добродетели его, провозгласят его царем... И станет злодей на виду у зрителей переставлять горы и вызывать острова из моря, но это будет обман, ибо люди не смогут находить себе пищи, и жестокие надзиратели будут стоять повсюду, и начнут младенцы умирать в лонах матерей, и от

трупов, лежащих вдоль дорог, распространится зловоние...»

«Когда мы вываливались из машины, — вспомнил Штирлиц дорогу из Линца в Берлин, — запах был сладким, потому что в обочинах лежали убитые и никто не хоронил их, никому не было дела ни до чего, только до себя, однако возмездие наступило не тогда, когда должно было наступить, не сразу после того, как злодеи подожгли рейхстаг и бросили в тюрьму моих товарищей, а спустя страшные двенадцать лет; как же равнодушно время — та таинственная субстанция, в которой мы реализуем самих себя... Или не реализуем вовсе...»

— Эй! — крикнул Штирлиц и поразился себе: не говорил, а хрипел. Что-то случилось с голосом. «Но ведь голосовые связки нельзя отбить, — подумал он, — просто я держал себя, чтобы не кричать от боли — им ведь этого так хотелось, для них это было бы счастьем, видеть, как я *корчусь*, но я им не доставил этого счастья, я кричал про себя, и поэтому у меня что-то запеклось в горле. Пройдет». — Эй! — снова прохрипел он и решил, что его не услышат, а ему надо было подняться и ощутить себя всего. Может, они отбили ноги, и он не сможет подняться, не сможет ходить. Пусть

они придут сюда, пусть отведут его в туалет, а может, Мюллер приказал им не пускать меня никуда, или этот «добрый доктор» велел держать меня недвижимым, так ему будет сподручнее потом работать со мной. Они ж, наглецы, говорят: «Он работает». Вот сволочи, как похабят прекрасное слово «работа», да разве они одно это слово опохабили? Они опохабили то *слово*, за которое погибло столько прекрасных товарищей. Они ведь посмели прекрасное и чистое слово «социализм» взять себе, обгадив его собственничеством, арийской принадлежностью! Ну, прохвосты! Нет ведь национального социализма, как нет национального добра, чести, национального мужества...

— Ну, что тебе? — спросил Вилли, приоткрыв дверь. Штирлицу снова показалось, что тот и не отходил от него.

— В туалет пусти.

— Лей под себя, — засмеялся Вилли как-то странно, лающе. — Подсохнешь, морозов больше не будет, весна...

«Он ничего не соображает, — понял Штирлиц. — Пьян. Они все время пьют — так всегда бывает у трусов. Они наглые, когда все скопом и над ними есть хозяин, а стоит остаться одним, их начинает

давить страх, и они пьют коньяк, чтобы им не было так ужасно».

— Ну, смотри, — прохрипел Штирлиц, — смотри, Вилли! Смотри, собака, ты можешь меня расстрелять, если прикажет Мюллер, и это будет по правилам, но он не мог тебе приказать не пускать меня в сортир, смотри, Вилли...

Тот подошел к нему («Я верно рассчитал, — понял Штирлиц, — я нажал в ту самую точку, которая только у него и ощущает боль, я попал в точку его страха перед шефом, другие точки в нем атрофированы, растение, а не двуногий»), снял наручники, отстегнул стальные обручи на лодыжках и сел на стул.

— Валяй, — сказал он. — Иди...

Штирлиц хотел было подняться, но сразу же упал, не почувствовав своего тела; боль снова исчезла — кружащаяся звонкая ватность. Тошнит.

Вилли засмеялся. Снова взорвался снаряд — теперь еще ближе. Дом тряхануло, Вилли поднялся, чуть шатаясь, приблизился к Штирлицу и ударил его сапогом в кровавое месиво лица.

— Вставай!

— Спасибо, — ответил Штирлиц, потому что боль снова вернулась к нему. «Спасибо тебе, Вилли, зло рождает добро, точно, я убеждаюсь в этом

на себе, как не поверить. Одно слово — опыт. Ох ты, как же болит все тело, а?! Только лица у меня будто бы нет, будто горячий компресс положили; а почему так трудно открывать глаза? Может, доктор уколол в веки, чтобы я не мог больше видеть их лица? Все равно я их запомнил на всю жизнь... Погоди про всю жизнь... Не надо... Он бы не стал мне колоть веки, они б просто выжгли мне глаза сигаретами — нет ничего проще. Им, значит, пока еще нужны мои глаза...»

...Он стал медленно подниматься с пола, руки дрожали, но он все время повторял себе спасительное слово — «Заставь!». Сплюнул кровавый комок, прокашлялся и сказал своим прежним голосом, уже слыша себя:

— Пошли...

— Погоди, — ответил Вилли, выглянул в коридор, крикнул: — Кто еще не кончил работу, молчать! Я не один!

Штирлиц шел, раскачиваясь, цепляясь распухшими пальцами за стены, чтобы не упасть. Возле двери, обитой красной кожей, он остановился, снова сплюнул кровавый комок — ему доставило удовольствие видеть, как кровь поползла по аккуратным белым обоям в голубую розочку — пусть попробуют отмыть. Это ж ранит их сердце: такая

неопрятность. Сейчас, верно, ударит. И впрямь Вилли ударил его по голове. Штирлиц упал, впав в темное беспамятство...

...Мюллер принял еще две таблетки колки, которые ему подарил Шелленберг, и начал неторопливо переодеваться. Все. Конец. Исход. Жаль Ойгена. И Вилли жаль, а еще больше жаль Гешке, толковый парень, но если позволить им уйти — тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц — человек особый, он поддавок не примет, да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им простую липу не всучишь... Чтобы завершить свою коронную партию перед тем, как уйти отсюда под грохот русской канонады по *тропе* ОДЕССы, он может пожертвовать этими парнями, толковыми и верными ему, он просто обязан отдать их на закланье — так рассчитана его комбинация... Даже если в дом угодит снаряд и Штирлица прихлопнет вместе с ними, *документам*, что собраны там, будет вера. Они же станут искать Штирлица и найдут его — в крови, со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека, они скушают *его* дезинформацию, поверят ему, и он, Мюллер, именно он, сделает так, что в Москве прольется кровь, много крови, — ах как это важно

для его дела, когда льется кровь; кровь уходит — сила уходит, сила уходит — пустыня грядет...

...Мюллер снял трубку телефона, набрал номер, услышал знакомый голос: эта опорная точка ОДЕССы в порядке; только пятый абонент не ответил; наверное, попал снаряд. Шестая и седьмая *ждали*. Все, порядок, где Борман?

...Приказ о взрыве штолен в Альт Аусзее, где хранились картины, иконы и скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман — в суматохе последних часов — не знал.

...Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного, *темного* пьянства. Боязливо оглядываясь, словно ожидая, что кто-то вот-вот схватит за руку, *проталкивал* в себя рюмку коньяку — в первый же момент, как только открывал глаза. Закуривал горькую сигаретку «каро», самую дешевую (раньше всегда этим бравировал). Лишь потом одевался, выходил в комнату, где работали секретари. Затравленно интересовался последними новостями из Берлина, все еще — в глубине души — надеясь на чудо.

Здесь-то, ранним утром, ему и передали послание Геббельса.

— Где команда взрывников Аусзее? — спросил Кальтенбруннер и налил себе еще одну рюмку коньяку. — Соедините меня с ними.

Секретарь, только что приехавший вместе с Кальтенбруннером из Берлина, здешней обстановки не знавший, ответил, что он должен запросить номер, он какой-то особый; они ж засекречены, живут на конспиративной квартире, чуть ли не по словацким паспортам...

— Я соединю вас, обергруппенфюрер, я в курсе дела, — сказал Хётль. Он теперь не отходил от Кальтенбруннера ни на шаг. — С вашего аппарата. Пойдемте. — И распахнул дверь в его кабинет.

Здесь, когда они остались одни, Хётль — в который раз уже за последние дни — вспомнил Штирлица — его спокойное лицо, миндалевидные прищуренные глаза, чуть снисходительную усмешку, его слова про то, как надо *жат*ь на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого, — и сказал:

— Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.

Тот вскинул свое длинное, лошадиное лицо. Брови поползли наверх, сделав маленький лоб морщинистым и дряблым.

— Что?!

— Вы не станете этого делать, — повторил Хётль, — хотя бы потому, что американский представитель в Берне Аллен Даллес только что сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом, потому что тот гарантировал спасение картин галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный *поступок*: вы ослушались Геббельса, вы спасли для мира непреходящие культурные ценности — это усилит ваши позиции, особенно после измены Гиммлера, — во время предстоящих переговоров с западными союзниками... Если же вы не сделаете этого, то...

— То что?! Что?! Я сейчас сделаю другое: я сейчас же прикажу расстрелять вас...

— Ну что ж, приказывайте, — ответил Хётль, стараясь отогнать от себя постоянное видение: лицо Штирлица, измученное, с черными тенями под глазами. — Только вы убьете ваш же последний шанс... Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня...

— Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?!

— Станет, — ответил Хётль. — Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним — с вашей санкции... Это — в вашу пользу... А спасение Альт Аусзее еще более укрепит ваши позиции... Карл Вольф это понял первым и сейчас отдыхает на своей вилле в Северной Италии под охраной американских солдат...

— А что мне делать с телеграммой Геббельса? — растерянно спросил Кальтенбруннер. — Что я ему отвечу?

— Вы думаете, он еще ждет вашего ответа?

Хётль снял трубку и, прежде чем набрать номер, снова вспомнил Штирлица, когда тот говорил: «Навязывайте Кальтенбруннеру действие, они сами не умеют *поступать*. Они раздавлены их же кумиром, Гитлером. В этом их трагедия, а ваше спасение...»

— Алло, «Ястреб», — услышав ответ эсэсовского взрывника, сказал Хётль, — говорит «Орел» по поручению «Высшего»: без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена...

«Ястреб» рассмеялся — пьян. Что-то сказал напарнику, потом просипел:

— Слушайте, вы, «Орел», у нас существует приказ «Высшего» провести «Обвал», и мы его проведем, если он лично его не отменит! Тем

более что танки американцев совсем рядом... Мы уже собрали рюкзаки... После работы, когда мы ее закончим, приглашаем вас на альпийские луга, там загар хороший и коровы недоеные...

Хётль понял, что гестаповец сейчас положит трубку, поэтому он — невольно подражая Штирлицу — *нажал*:

— Послушайте, вы меня, видимо, неверно поняли... «Высший» сейчас отдаст вам личный приказ, он у аппарата...

Хётль протянул трубку Кальтенбруннеру. Тот грыз ноготь на мизинце, ловко, как белка орех, смотрел на Хётля красными ожидающими глазами. Штурмбанфюрер зажал мембрану ладонью, шепнул:

— Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса: до особого приказа из Берлина не взрывать... Ну, говорите же!

— А если он меня не послушает? — спросил Кальтенбруннер, и Хётль с ужасом понял, какой идиот правил им все эти годы, чьи приказы он выполнял, кому поклонялся, кто *разложил* его, сделав бесхарактерным, мелким и подлым трусом, не способным быть человеком — только исполнителем чужой воли...

— Пригрозите расстрелом, — сказал он. — Тогда

послушает.

Кальтенбруннер взял трубку, откашлялся; лающим, знакомым всем в РСХА голосом с ужасным венским акцентом отчеканил:

— Здесь «Высший»! Указание, переданное вам «Орлом», исполнять беспрекословно! Этого требуют высшие интересы рейха! Ослушание поведет к расстрелу! До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать!

...Воистину связь случайного и закономерного является проявлением диалектического закона человеческого бытия.

Случайность поездки Штирлица в Альт Аусзее, закономерность его анализа Хётля, точное предсказание им поведения Кальтенбруннера в кризисной ситуации, основанное на *знании* механики, морали нацистского рейха, глубокое понимание безыдейности, изначальной безнравственности гитлеризма — все эти компоненты закономерности и случайности привели к тому, что именно он, полковник советской разведки, русский интеллигент Максим Исаев, внес свой вклад в то, что сокровища мировой культуры, похищенные нацистами, не оказались погребенными на семисотметровой глубине штольни Альт Аусзее.

Пауки в банке — III

...В ночь на 30 апреля Гитлер так и не смог покончить с собою. Утром он вышел в конференц-зал, как и обычно, в девять часов. Был гладко выбрит. Рука тряслась меньше обычного.

Первым докладывал командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг:

— Бои идут между Кантштрассе и Бисмаркштрассе. По-прежнему напряженное положение на Курфюрстендам... Русские танки находятся в семистах метрах от рейхсканцелярии... Надежды на прорыв армии Венка к центру города нет, фюрер... Я снова и снова обращаюсь к вам с просьбой согласиться на то, чтобы верные части обеспечили ваш выход из бункера. В моем распоряжении есть люди, которые смогут организовать прорыв к Потсдаму — там мы попробуем соединиться с Венком...

Борман не дал ответить Гитлеру, задал вопрос:

— Какова гарантия того, что фюрер не попадет в руки врагов? Вы берете на себя ответственность за то, что не случится самой страшной трагедии, которая только возможна?

— Абсолютной гарантии я не могу дать, — пожевав губами, ответил Вейдлинг, — но люди будут сражаться до последнего во имя спасения фюрера...

Гитлер молчал, смотрел пустыми, круглыми глазами то на Бормана, то на Вейдлинга.

И — наконец — *помог* Геббельс.

— Генерал, — сказал он, — мы ждем определенного ответа: вы, лично вы, Вейдлинг, гарантируете нам, что жизнь фюрера во время прорыва будет вне опасности? Он не попадет в плен? Если это случится, отвечать вам придется перед судом истории, и не только вам...

— Господин Геббельс, на войне, как на войне, — ответил Вейдлинг, — помимо законов сражений большую роль играют досадные факторы случайности...

Борман скорбно и понимающе посмотрел на Гитлера. Тот как-то странно улыбнулся и тихо сказал:

— Я благодарю вас, генерал Вейдлинг. Признателен вам за верность и заботу обо мне... Я останусь здесь...

В два часа фюрер пригласил на обед своего повара фрау Марциали, личного секретаря фрау Гертруду Юнге, стенографисток Лизе и Ингеборг;

Гитлер внимательно наблюдал за тем, как Ева, теперь уже не Браун, а Гитлер, разливала вино по высоким, тяжелого хрусталя, рюмкам. Вино пузырилось, и в гостиной был ощутим аромат винограда, схваченного первым ночным заморозком. Такие игольчатые, легкие заморозки бывают в Вене в конце октября.

Фюрер попробовал суп, заметил:

— Фрау Марциали превзошла себя в кулинарном искусстве: эта протертая спаржа совершенно изумительна... В молодости я подолгу любовался на базаре в Линце горами овощей, но никогда моя кисть не рискнула запечатлеть буйство природы, дарованной нам землею...

Он привык к тому, что во время застолья, когда он начинал говорить, все замирали. Борман подавался вперед, внимая каждому его слову, иногда делал быстрые пометки маленьким карандашиком в таком же маленьком — величиною со спичечный коробок — блокнотике, однако сейчас Бормана за столом не было. Не было Геббельса, Геринга, Гиммлера, Кейтеля, Шпеера — не было всех тех, к кому он привык, а секретарши, приглашенные им в первый раз за те годы, что работали в ставке, продолжали поедать спаржевый суп, и звяканье серебряных ложек о тарелки показалось

ему до того кощунственным и противоестественным, что он жалобно сморщился, посмотрел на Еву, одетую в роскошный серый костюм, глубокий цвет которого особенно подчеркивался бриллиантами, что украшали платиновые часы, вздохнул и, нахмурившись, замолчал.

После того как подали фаршированного кролика, а ему положили яичные котлеты с цветной капустой, Гитлер, услыхав бой высоких часов, стоявших в углу столовой, вздрогнул, пригнувши голову.

И сразу же заговорил. Слово сейчас было для него спасением, надеждой, тем, что позволяло ему быть здесь, среди этих женщин, живых еще, красивых, милых. Боже, насколько же они мягче мужчин, вернее их, тоньше!

— Вчера во сне я видел мать, — начал Гитлер, чуть покашливая, словно проверяя голос. В последние дни после инъекции голос садился. Он обратил на это внимание нового врача, но тот сказал, что это обычная реакция организма на отсутствие свежего воздуха — ничего тревожного. — Я увидел ее совсем молодой, в те дни, когда жил в Браунау. Каждый день, пугая самого себя невидимыми стражами, я миновал ворота старого города и — несчастное дитя окраины —

оказывался на центральной площади, где были открыты рестораны и кафе, звучала музыка, слышался смех избалованных детей, наряженных, словно куклы... Я смотрел на них, остро смущаясь своих стоптанных башмаков и старого, кургузого пиджака, в котором моя фигура казалась мне самому убогой... Я начинал чувствовать изнуряющую ненависть к тем, кто благоухал и радовался жизни, ибо...

Гитлер снова нахмурился, потому что забыл, с чего начал, чему хотел посвятить эту свою тираду. Он мучительно вспоминал первую фразу, но то, что женщины деловито резали мясо, продолжая сосредоточенно есть, показалось ему до того обидным, что он едва сдержал слезы.

Когда Ева посмотрела не на него, а на дверь, что вела в конференц-зал, Гитлер вздрогнул и вжал голову в плечи — ему показалось, что там стоит Борман и молча глядит на его затылок, показывая всем своим видом, что *пора*, время настало, более ждать нельзя, нации угоден его уход, это вольет силы в сердца тех, кто будет продолжать борьбу за его дело. Как страшна жизнь, как жестокосердны те, кто окружал его, почему они не сделают что-нибудь, они могут, они обязаны смочь, это ведь так страшно — переход в небытие, когда

рвущая боль разорвет череп и его мозг, полный великих мыслей, концентрат надежды арийцев, превратится в кровавое месиво...

«Нет, я не хочу, я не могу, мне так спокойно сидеть среди этих женщин, пусть они едят, ничего, я прощаю им их беспечность. Только бы говорить, продолжать *быть*, только бы не страшная тишина, которая настанет после выстрела. Я не смогу нажать на курок, я ни в чем не виноват, виноваты те, которые были рядом, они могли бы подсказать мне, а они трусливо молчали, думали только о себе, о своей выгоде, маленькие мыши, кем я окружал себя, бог мой?!»

Ева вдруг поднялась, и Гитлер еще сильнее пригнулся, затравленно оглянувшись.

— Мой дорогой, — сказала Ева, и это обращение шокировало его, он обвел взглядом секретарш, но никто не обратил на это внимания — пили вино и вкусно ели, Ева — законная жена, она вправе обращаться к нему так, как обратилась, отчего нет. — Я сейчас вернусь, я забыла отправить телеграмму сестре, прости меня...

— Если это касается изменника Фегеляйна, ты не вправе посылать ей ни слова соболезнования! — сказал Гитлер.

— Мой дорогой, — ответила Ева уже возле две-

ри, — это касается нас с тобою...

Гитлер подумал, что Ева сейчас сделает нечто такое, что принесет спасение, он ждал чуда от кого угодно, только б теплилась надежда, только б прошла минута, вторая, час, сутки, а потом что-нибудь произойдет, обязательно произойдет нечто такое, что принесет спасение...

А Ева пошла в радиорубку и попросила отправить телеграмму в Оберзальцберг сестре: «Пожалуйста, срочно уничтожь мои дневники!»

Она знала, что делала. Она вела дневники в тридцать пятом году, когда их роман с Гитлером только-только начинался. Она описывала тот февральский день, когда он приехал к ней и сказал, что решил подарить ей дом. И какое это было для нее счастье! Как она потом сходила с ума от ревности, когда он ездил к Геббельсу, этому мерзкому своднику, и проводил там долгие часы с певичкой Ондрой, с женою тяжеловеса Макса Шмелинга... Ева сильно любила его тогда, потому что он был ее первым мужчиной... О, как это было ужасно, когда она отправила ему письмо, решив принять снотворное, если он ей не ответит! И как искренне переживала она, ожидая письма, чего только не передумала она в те дни! Может быть, ее письмо попадет ему в тот момент, когда он

будет не в духе, может быть, вообще не надо было писать ему... «Мой бог, помоги мне поговорить с ним, завтра будет слишком поздно...» — шептала она тогда поминутно и приняла тридцать пять пилюль снотворного...

Ева Гитлер сидела возле радиста, передававшего ее телеграмму сестре, и вспоминала то звонкое ощущение горя, которое она испытала, когда доктор кончил промывание... Ей было так хорошо, когда она уснула, такие чистые мелодии слышались ей, а потом наступила тишина, спокойная, глухая тишина...

...И снова Гитлер обошел строй людей, стоявших перед ним, и снова пожал руку каждому, произнеся слова сдержанной благодарности, и снова ищуще заглядывал в глаза, и снова прислушивался к шуму, доносившемуся из других комнат: там был слышен смех, музыка, хлопанье пробок шампанского...

Когда он затворил дверь кабинета, в прихожей что-то звякнуло.

— Кто?! — спросил Гитлер испуганно. — Кто там?

— Я, — ответил Борман. — Я подле вас, мой фюрер...

Он стоял в тамбуре вместе с Геббельсом. Звяк-

нула канистра с бензином, которую он принес с собою. Геббельса трясло мелкой дрожью. Лицо пожелтело, виски поседели.

Ева приняла яд спокойно, сидя в кресле. Раздавив ампулу зубами, она только чуть откинулась назад и беспомощно опустила руки.

Гитлер долго ходил вокруг мертвой женщины, бормоча что-то, потом потрепал Еву по щеке, достал пистолет и приставил дуло ко рту.

Ужас объял его.

«Нет, — прошептал он, — нет, нет, я не хочу! Это неправда! Все это ложь! Я не хочу! Мне надо заставить себя проснуться, я просыпаюсь, мамочка!..»

А потом мысли как-то странно смешались в его голове, и он начал быстро ходить вокруг кресла, где лежала мертвая Ева, быстро и усмешливо бормоча что-то под нос...

Борман посмотрел на часы. Прошло уже двадцать минут.

Он погладил Геббельса по плечу и отворил дверь кабинета.

Гитлер, не обращая на него внимания, быстро и сосредоточенно ходил вокруг кресла, где лежала Ева. В правой руке его была зажата рукоять пистолета.

Борман разомкнул холодные пальцы фюрера, взял его вальтер и, приставив к затылку, выстрелил...

...Через несколько минут комната заполнилась людьми. Геббельс трясся от рыданий, Борман успокаивал его...

Затем Борман пригласил Вейдлинга в конференц-зал и сказал:

— Вы не смеете никому и ни при каких обстоятельствах говорить о кончине фюрера. Даже Дёниц не будет знать об этом. Ясно?

А потом он пригласил к себе генерала Кребса и вручил ему запечатанный конверт.

— Это письмо вы передадите лично маршалу Жукову. Вы вернетесь сюда с мирными предложениями красных. На Западе никому не известно о кончине фюрера. Там никто не знает о составе нового кабинета. Мы сообщаем о завещании Гитлера лишь одним русским. Этого нельзя не оценить. Мы идем к ним с тем, о чем вы говорили еще в сорок четвертом году. Тогда вас не послушали. Теперь вам и карты в руки. С богом, генерал, мы ждем мудрого ответа красных.

Исход

...Мюллер задумчиво сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной — бои шли где-то совсем рядом. Пора уходить.

Его лицо было сейчас другим: свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным — подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии, подбородок зарос седой щетиной, волосы перекрашены в пего-седой цвет, пострижены коротко, под «бобрик». В кармане поношенного, не по росту, пиджака документы на имя Вернера Дрибса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря «Ортс» Красной Армией, — просьба ко всем союзным властям оказывать ему содействие. На руке наколоты цифры — номер заключенного.

Он смотрел на свое отражение в зеркале, прислушивался к канонаде и вспоминал тот день, когда Гиммлер вручал ему руны бригадефюрера. Он почти слышал сейчас те овации, которые гремели в дубовом зале мюнхенского гестапо, видел сияющие лица друзей и врагов — они стоя

приветствовали его. Он помнил, как потом, когда кончился официальный церемониал, Гиммлер пригласил новых генералов СС в банкетный зал и поднял за них бокал с шампанским, а Мюллер мечтал, чтобы весь этот цирк поскорее кончился и можно было бы уехать к Лотте. Девушка любила его — он верил, любила по-настоящему, и он ее обожал. Однако в зале начались спичи, каждый хотел покрасоваться перед рейхсфюрером: тот любил слушать, как говорят подчиненные, поэтому Мюллер только в десять остановил свою машину возле маленького особнячка, где жила подруга. Света в окнах не было. «Уснула, моя хорошая», — подумал он с нежностью, отпирая дверь своим ключом, но в комнатах было пусто...

Только спустя три года он узнал, что Лотта была агентом Гейдриха, *освещала* тех, кого готовили к большому повышению, *играла* любовь. Боже, как играла, пусть бы продолжала, он бы и это ей простил, но ему объяснили, что рейхсфюрер никогда не разрешит ему развода, это повлияет на карьеру, а Мюллер уже тогда знал, что рейхсфюрер имеет ребенка от любовницы и содержит ее в замке под Мюнхеном, покупает ей самые дорогие автомобили, а его лишил единственной в жизни радости. Разве такое забудешь?!

Позвонил Борман:

— Держите пальцы на пульсе нашей линии?

— Пока да. Вы скоро?

— Видимо. Ваши люди смотрят за «сорок седьмым»?

— Он в порядке.

— Будем на связи постоянно.

— Только так.

Потом позвонили из отделения гестапо, которое отвечало за район той конспиративной квартиры, где был Штирлиц:

— Русские танки заняли рубеж в двух километрах от нас, группенфюрер! Мальчики из «гитлерюгенда» пустили в ход фаустпатроны, красные остановились...

— Спасибо. Всю документацию уничтожили?

— Да, совершенно.

— Хорошо, ждите указаний.

Мюллер осторожно положил трубку, посмотрел на часы и удивился совпадению. «Чему я удивляюсь, — подумал он, — часы ведь в каждом из нас. Я постоянно слышу свои внутренние часы, черт меня дернул связать себя с Борманом, он же слеп, как и его хозяин! Мой, наш хозяин — не оттирай себя, ты ж был в доле, нечего теперь на кого-то пенять! Но ведь Борман действительно

слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить, это азбука! А вдруг станут? Ведь в августе тридцать девятого, когда англичане начали свою волынку, а в небе пахло порохом, Сталин сел за стол с Риббентропом? И сейчас в Москве знают от меня про то, как Геринг и Гиммлер ведут переговоры с англосаксами, Сталину не могли не докладывать радиограммы Штирлица. Борман верно сказал, что Кремль знал о миссии Вольфа в Берне — Штирлиц выходит у них на самый верх... Нет, — уверенно повторил себе Мюллер, — Сталин не сядет за стол с Борманом».

Он — в который уже раз! — подумал, что сделал ошибку. Еще есть время, чтобы уйти по цепи ОДЕССы одному. «Это моя цель в большей мере, чем Бормана, хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны, но еще не поздно, еще есть верные «окна» на Запад... А если Борман все-таки уйдет? Или договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же? Тогда мои дни сочтены, Борман мне никогда этого не простит, меня уберут, это очевидно... Но то, что Штирлиц *должен*, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собою Штирлиц. *Правда* Гелена с заложенной в нее

ложью, сработанной мною, — такое страшнее любой бомбы. Верно я обещал Борману — это взорвет их и вызовет такой шум в России, что они его не переживут, это раскачает их, брат восстанет против брата, кровь польется, головы полетят... А когда безлюдье и страх, тогда привольно соседям, дожить бы, ах как хочется дожить!»

...Йозеф Руа пришел через десять минут после звонка. Он ждал вызова в двух блоках от конспиративной квартиры Мюллера.

— Браток, — сказал Мюллер, — возьми этот саквояж, в нем мина... Ты работал с такой в Мадриде...

— Это когда ты даешь к ней маленькую штучку, которую надо повернуть?

Мюллер улыбнулся:

— Именно так.

Он достал из стола плоское портмоне, протянул Руа:

— Положи в карман. Портмоне надо открыть и закрыть пять раз подряд, на шестом все разнесет в щепы... Запомни адрес...

Руа полез за блокнотом. Мюллер взялся за виски:

— Ты сошел с ума?! Нет, все-таки уголовники даже твоего уровня рождены детьми! Я говорю

тебе адрес на всякий случай, мало ли что, запоминай, записывать нельзя. Пробирайся дворами, у тебя есть час, от силы два...

Он продиктовал адрес, попросил, чтобы Руа повторил дважды, показал ему дом и улицу на раскладной карманной карте, потом сказал пароль, попросил несколько раз повторить.

— Не забудь закончить словом «распишитесь». Тот парень — его зовут Ойген, — к которому я тебя отправляю, вроде машины. Если ты спутаешься хоть на йоту, он тебя прошьет из пистолета. Отдай ему саквояж, дождись, пока он проведет мимо тебя Штирлица в туалет. Ты помнишь Штирлица? Ты убирал у него в особняке моего шофера, Ганса. Я тебе сто раз показывал его фото. После этого быстро уходи и, никого не дожидаясь, начинай хлопать портмоне. Как только раздастся взрыв, убегай — там рядом русские, их пока держат, но долго это не продлится, конец, брат... Потом ляг на грунт, твои явки у меня в голове, жди связи... Ты абсолютно чист, в партии, слава богу, не был, а все наши с тобою дела я сжег — так что лепи из себя страдальца, таких любят. Особенно-то не лезь, опасно, но помогай русским, в чем только сможешь. Пригодится на будущее. Ну с богом...

Они обнялись. Руа ушел, а Мюллер начал

ходить по комнате, разучивая новую походку — легкая хромота и слабость в движениях...

...Роберт (тоже из мюнхенских уголовников, именно он убирал сына, Фрица), следивший из окна соседнего дома за всем, что должно было произойти, позвонил Мюллеру сразу же после того, как красное пламя вырвалось из окон конспиративной квартиры. Тугая сила выбросила на мостовую верхнюю часть туловища Ойгена. Левая рука была оторвана — только голова и правая рука, словно бы поднятая в приветствии...

...А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером.

Взрывной волной сорвало дверь туалета; его бы убило на месте, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть — кисть сделалась как плетка. В ушах звенело тонко-тонко, будто летом на севере, возле фиордов, когда тьма комаров. Он вышел в коридор. Пахло жженым. Все было в известковой пыли. Она клубилась как в киносказках — тяжело, дымно, — дышать трудно.

Штирлиц споткнулся обо что-то, нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его па-

рабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще недавно он слышал голос... Именно там должны быть архивы Гелена. В комнате обвалилась стена, пыль не садилась, но он начал на ощупь, вытянутой правой, которая только и действовала, шарить перед собою. Ощутил металл. «Да, точно, — сказал он себе, — ты верно ищешь, здесь был сейф, он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. А может, дожидаться здесь наших? Ведь они рядом. Бой идет совсем неподалеку. А что, если Мюллер пришлет своих? Он пойдет на все, только бы спасти эти материалы. Ты должен взять все, что сможешь унести... Два портфеля, и больше ничего. А как ты их ухватишь, если левая рука не работает? Ничего, зубами, как хочешь — так и ухвати. Попробуй взять в одну руку. Ну и что! Конечно тяжело, но ты донесешь, это ж ерунда... Это все пустяки в сравнении с тем, когда тебе выворачивают уши и спрашивают, как звали папу, а потом начинают бить ногами в лицо — оно у тебя сейчас как после пьяной драки, а в этой пыли ты станешь похож на клоуна — немцы любят, когда лица клоунов намазаны ярко-белой краской. Тогда особенно смешным выглядит красный колпак. Нет, в сейфе есть что-то еще... Беги,

беги скорее, Максим, ты должен успеть добежать и вернуться сюда, пыль осядет, ты вернешься, только сейчас будь самим собою, торопись, не сдерживай себя — нельзя ждать, Максим, хватит ждать, беги!»

Он спустился по лестнице, раскачиваясь, как пьяный, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли, и было это совсем рядом. Рука занемела от тяжести, но он шел, склонившись вперед, ничего не замечая вокруг, в голове по-прежнему звенело, и виски то стягивало какой-то глубинной, рвущей болью, то отпускало, и тогда все перед глазами кружилось. Он ощущал дурноту и больше всего боялся упасть...

...А навстречу ему по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел восемнадцатилетний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фаустпатронами. Командир сказал, что жаль пацанов, велел посмотреть, как их можно обойти... «Пусть живут, сопляки. Пятнадцать лет — что они понимают? Обмануты. Перевоспитаем после победы». Он шел, мягко ступая, и думал, что из-за этих чертовых детей может схлопотать пулю в живот — слишком уж пусто здесь. «Ох, не люблю я, когда

с одной стороны грохочет, а с другой тихо, — неспроста это. И правда — неспроста...» Выглянув из-за угла, он увидал немецкого офицера в черном. «Ну, иди, иди, фриц, иди. Пьяный, видно, гад, со страху нализался, а в портфеле-то небось что-то тащит — наверняка часы и кольца. Ну, давай, ближе, еще ближе, я тебя по башке оглоушу...»

...И в этот момент Штирлиц тоже заметил его — в кожушке, одетом поверх гимнастерки, в пилотке с красной звездой, лихо сдвинутой на левую бровь, в приспущенных сапожках — в армии Иеронима Уборевича так приспускали сапожки те, кто отменно плясал. Это было в двадцать первом. Особый шик. Помнят былое и нынешние мальчики, спасибо тебе, что помнишь, солдат. Нельзя жить без памяти...

Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться — рваные раны на лбу и подбородке кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки...

«Ишь, щерится, сволочь, — подумал Прошляков, — вся морда в крови, задело небось гада. Ну и рожа, ну и злоба в ней, зверь фашистский...»

...Штирлиц поднял руку навстречу мальчику в пилотке с красной звездой. Он хотел поднять обе

руки, но левая не работала — висит как плеть. Минута, две, и я обниму тебя, сынок, родной ты мой...

«А ведь в портфеле-то у него может быть мина, — в ужасе подумал Прошляков. — Фанатик, может, какой псих, он мне в ноги метнет, воронка останется...»

«Дзынь!» — ввернулась в стену дома над головой Прошлякова пуля. «Дзынь!»

Прошляков упал на колени и, вскинув автомат, прошил немца в черном от живота. Тот закричал что-то. Прошлякову даже показалось — по-русски. Прошляков дал еще одну очередь, а тот, черный, эсэсовец, все бежал на него, захлебываясь криком... «И впрямь по-русски вопит, вот гад, а?!»

...А третью пулю Прошляков не слышал — она ударила его в сердце. Наповал...

...Клаус Борхард, член «гитлерюгенда», который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросил ее себе на шею, втащил во двор, спустил в подвал. Здесь, у телефона — связь была подземной и работала бесперебойно, — замер

блокфюрер партии партайгеноссе Зиберштейн. Увидав знаки отличия раненого, он крикнул мальчишкам:

— Тащите штандартенфюрера через подвалы на командный пункт! Скорей!

...На командном пункте в репродукторе гремел голос Геббельса: «Армия генерала Венка, прорвав позиции большевиков, идет в Берлин, сокрушая все на своем пути! Настал час победы!»

Раздев, Штирлица перевязали, отправили на носилках — по системе подземных коммуникаций — к центру: там готовился очередной прорыв через последнее «окно».

Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки отличия Штирлица. Склонился к человеку в штатском штандартенфюреру Гаусу:

— Наш...

Тот сказал:

— Свяжитесь с Крузе, он отвечает за каналы ОДЕССы, а пока пусть этого несчастного переоденут...

— Он не жилец...

Гаус резко ответил:

— Вот когда умрет, тогда только он и перестанет быть жильцом... Пока человек СС жив — он жив!

...Через два часа танк Т-34 номер «24-9» под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек «гитлерюгенда» на Ванзее и разворачиваясь, перепахал левой гусеницей портфель, где лежали те «документы» Гелена — Мюллера, которые должны были оказаться в руках русских...

Случай есть проявление закономерности: Красная Армия решила судьбу спланированной провокации Мюллера просто и однозначно, превратив бумаги Гелена в коричневое, бесформенное крошево.

Командарм восьмой гвардейской Василий Иванович Чуйков говорил обычно тихо, медленно, словно взвешивая каждое слово. Поэтому, услышав ранним утром 1 мая по телефону его звенящий, быстрый говор, Жуков удивился — так незнакомо звучал голос Чуйкова:

— Ко мне пришел генерал Кребс, товарищ маршал! — докладывал Чуйков. — Как парламентер! Мне сейчас перевели письмо, которое он привез, зачитываю: «Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера, мы уполномочиваем генерала Кребса в следующем: мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня, в пятнадцать часов трид-

цать минут, добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права, фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Дёницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс». И завещание нам передал, товарищ маршал, а в нем — список нового правительства...

Жуков почувствовал легкий озноб. Он не сразу смог ответить Чуйкову, сглотнул комок, мешавший дышать, прокашлявшись, сказал:

— Сейчас к вам выедет Соколовский, ждите его.

...Отправив к Чуйкову генерала армии Василия Даниловича Соколовского, Жуков посмотрел на часы, снял трубку ВЧ и попросил соединить его со Сталиным.

— Товарищ Сталин только что лег спать, — ответил генерал Власик.

— Прошу разбудить, — повторил Жуков, по-прежнему то и дело откашливаясь. — Дело срочное, до утра ждать не может...

...Сталин вздрогнул во сне, услыхав мягкий, осторожный стук в дверь. Медленно поднялся

с большого низкого дивана — на кровати спать не любил, привычка спать на чем-то низком осталась с давних лет, еще со времени подполья. От резкого движения гулко застучало сердце. Мельком взглянул в окно — увидел пепельное, еще только чуть-чуть занимавшееся голубизной небо, подумал, что, верно, случилось то, о чем накануне говорил начальник разведки, и начал торопливо одеваться.

...Взяв трубку телефона, сказал коротко и глухо:

— Сталин...

Жуков, чувствуя, как от волнения першит в горле, доложил:

— Товарищ Сталин, к Чуйкову только что прибыл парламентер из рейхсканцелярии...

— Генерал Кребс? — глухо поинтересовался Верховный Главнокомандующий и как бы пояснил: — Новый начальник немецкого генерального штаба?

Жуков тогда не обратил внимания, что Сталин уже знает фамилию нового начальника штаба — он был полностью под впечатлением новости: Гитлера нет более, — поэтому, не ответив на вопрос Верховного, сразу же начал зачитывать текст завещания фюрера и обращение к нему, к

Сталину, вождю советского народа, нового канцлера рейха доктора Йозефа Геббельса.

Верховный сразу отметил, что в письме Геббельса определенно указано, что именно Борману поручено установить связь с ним. Вспомнил давешний разговор с начальником разведки, который сообщал, что, по данным его человека из Берлина, именно Борман будет тем, кто предложит немедленный мир...

Подумал, что, видимо, был излишне резок, когда подвергал сомнению информацию от некоего «девятого», потом вдруг представил себе лицо Гитлера, которое он часто видел в кадрах кинохроники, которую привозил ему на дачу председатель кинокомитета Большаков, и сказал, сдерживая волнение:

— Доигрался, подлец! Жаль, что живым его взять не удалось... Где труп?

— Генерал Кребс сообщает, — ответил Жуков, — что труп сожжен на костре во дворе рейхсканцелярии.

Все то время, что Жуков читал ему обращение Геббельса и завещание фюрера, Сталин стоял возле столика, на котором были установлены телефонные аппараты. Немного помолчав, сказал то, что было уже заранее отлито в его мозгу в

точную формулировку:

— Вы передайте Соколовскому, чтобы он никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вел. Если ничего чрезвычайного не будет, не звоните до утра, хочу немного отдохнуть... Устал...

...Кребс вернулся в рейхсканцелярию, Борман и Геббельс ждали его в конференц-зале, Бургдорф был здесь же — бледный до синевы, глаза красные, на лице отрешенная, ожидающая улыбка. Даже сквозь запах сухого одеколона пробивался тяжелый похмельный перегар.

— Безоговорочная капитуляция, — сказал Кребс. — Они требуют безоговорочной капитуляции. Никаких переговоров... Ответ должен быть дан к десяти утра.

— Ну вот, — сказал Геббельс, обернувшись к Борману. — Вот и все. Все кончено! Я же говорил вам, Борман!

Он повернулся и медленно, припадая на короткую ногу, пошел в свой кабинет.

Через полтора часа его жена Магда затеет игру со своими пятерыми детьми: «Кто скорее выпьет стакан горького лекарства, зажмурив при этом глаза? А ну, раз, два, три!» После того как дети

повалятся на пол, она застрелится. Чуть позже Геббельс вожмется грудью в дуло пистолета и, тонко закричав, нажмет курок.

Бургдорф застрелится в своем кабинете, предварительно тщательно побрившись и надев чистое белье. Он ощутит какое-то странное наслаждение от того, как острая золингенская бритва скребет щетину на подбородке, и ему все время будет слышаться перезвон колокольчиков на альпийских лугах возле швейцарской границы, где он совершал далекие прогулки во время своих коротких отпусков.

Кребс покончит с собою после того, как выпьет бутылку вермута и съест бутерброд, намазанный русской красной икрой. Эту банку хранил давно — деликатес закупили офицеры из военного атташата рейха в Швеции и прислали ему ко дню ангела.

...А после этого Борман вызовет фюрера «гитлерюгенда» Аксмана и скажет ему:

— Готовьтесь к прорыву. Через полчаса я присоединюсь к вам, ждите. — И — позвонив куда-то по телефону от радистов — выйдет в сад рейхсканцелярии, сопровождаемый двумя офицерами СС, присланными Мюллером еще прошлой ночью.

...Через сорок минут Борман вернется, Аксман удивится, отчего рейхсляйтер не говорит ни слова, скован в движениях, кажется даже чуть меньше ростом.

— У меня сел голос, — глухо пояснил Борман. — Все приказы будете отдавать вы.

Этим двойником Бормана был Вернер Краузе, «сорок седьмой». Пластическую операцию ему сделал доктор Менгеле. Особенно мучался со шрамом на лбу, но тем не менее выполнил блистательно... Только вот голос разнился.

Прорыв прикрывало двадцать танков. Они смогли пробиться сквозь боевые порядки 52-й стрелковой дивизии, взяли курс на северо-запад, в направлении Гамбурга. Их настигли лишь на рассвете 2 мая. Расстреляли в упор из орудий. Двойника Бормана среди обгоревших, изуродованных трупов обнаружено тогда не было.

...5 мая, ранним утром, подводная лодка особого назначения отошла от пирса Фленсбурга, погрузилась в море и взяла курс на Аргентину.

...13 мая Штирлиц очнулся.

Тишина была осязаемой. У нее даже запах был — особый, морской, йодистый, когда волны разбиваются на миллионы холодных белых брызг и

медленно оседают в самое себя, и чайки кричат истошно, и стрельчатая листва пальм трещит на ветру, словно плохая декорация в оперном театре. Где-то вдали перемигиваются огоньки на берегу, и в них заключено такое спокойствие и надежность, что щемит сердце, и прошедшие годы кажутся нереальными, словно сказка с хорошим концом.

Штирлиц поднялся на кровати. Стены комнаты были белыми; похоже на Испанию; там такие же беленые стены, как у нас на Украине. Только испанцы любят некрашеную деревянную мебель, слегка проолифленную, а украинцы красят свои стульчики и шкафы. Окно было закрыто деревянными ставнями, хлопавшими на ветру. Действительно, пахло морем. Сидеть он не смог — боль в груди была постоянной, режущей.

Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку.

В комнату вошел пожилой, седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом, прошептал:

— Тише... Мы у своих... Вы на явке ОДЕССы, все хорошо, вы уже в Италии, завтра вас отправят в Испанию... Опасность позади, спите, вам сейчас надо отдыхать.

...27 октября 1945 года, заново научившись ходить, Штирлиц отправил письмо из Мадрида по известному ему адресу в Стокгольм.

Ответа оттуда не поступило. Война кончена — опорная база советской разведки ликвидирована.

...12 октября 1946 года в Мадриде на авениде Хенералиссимо к нему подошел невысокий человек в тяжелых, американского кроя, ботинках и сказал:

— Я представляю организацию, которую возглавлял Аллен Даллес, вам, видимо, известно это имя. Не согласились бы вы пообедать вместе со мною? Нам есть о чем поговорить — не только помянуть былое, но и подумать о совместной работе в будущем...

Ялта — Берлин — Цюрих
1982